В. Н. КАРПОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

НИК. ШИПОВ

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

Academia

1933

Воспоминания Н. Шипова и В. Карпова рисуют мало затронутые мемуарной литературой стороны русской жизни эпохи Николая I.

Записки Н. Шипова, этого буржуа из крепостных, замечательны рассказом о незаурядной и драматической судьбе автора, долгие годы неустанно боровшегося за то, чтобы жить и торговать, не чувствуя себя рабом, отданным во власть помещику-крепостнику.

Воспоминания В. Карпова рисуют быт большого провинциального города царской России — Харькова, ярко отражая азиатчину русской дореволюционной жизни, ее душный и жестокий уклад.

Цена Р. 7.—
Переплет Р. 2.—

ACADEMIA

РУССКИЕ МЕМУАРЫ, ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА
И МАТЕРИАЛЫ

В. Н. КАРПОВ

НИК. ШИПОВ

ACADEMIA
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

В. Н. КАРПОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

НИК. ШИПОВ

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ

ПОДГОТОВКА ТЕКСТА К ПЕЧАТИ
П. Л. ЖАТКИНА
ПРЕДИСЛОВИЕ Н. В. ЯКОВЛЕВА

ACADEMIA
1933

Переплет и суперобложка
по рисункам Б. В. Шварца.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1

Есть мемуары, значение которых измеряется либо громким именем автора, либо событиями, в них затронутыми, либо описываемой в них культурной средой, либо, наконец, и тем, и другим, и третьим.

Ни громкого авторского имени, ни важных исторических описаний, низкий культурный и бытовой уровень описываемой среды — таковы предлагаемые читателю мемуары Карпова и Шипова. В таком случае не блещут ли эти страницы тонкой прелестью стиля или психологическим анализом, исполненным наблюдательности и остроты? Нет, они лишены и этих художественных достоинств. Стиль Шипова прост, сух, деловит; характеристики его хотя и не лишены выразительности, тем не менее далеки от живой многогранности и подвижности, которые делают словесный образ наглядным подобием жизни.

Что касается Карпова, то вся его склонность к витиеватым оборотам, кудрявым сравнениям, философским размышлениям обо всем, что бывает на свете, и все его пристрастие к меланхолической, облеченной в стихотворную цитату позе не делают его художником слова. Слишком поверхностны эти экскурсии в область «высокой» поэзии из пределов «презренной» прозы, слишком наивно-кустарными, провинциальными средствами они осуществляются. Их присутствие ведет лишь к тому,

что еще яснее выступает главная цель повествования, которая у Карпова, в сущности, тождественна с шиповской: точно передать, а не изобразить, поведать, а не воплотить. И все воплощающие изобразительные усилия этого мемуариста — даже самые удачные (а есть у него и такие) — клонятся все к той же сообщающей цели.

Нужно прямо сказать, оба мемуара, будучи измерены по линии духовного роста их авторов, в достаточной мере приземисты, terre à terre. И вот эта-то общая им обоим особенность, обычно выступающая как недостаток, и составляет главную ценность обоих. Относительная узость жизненного кругозора делает авторов типичными для своей среды, в то самое время как их жизненная талантливость вздымает их над нею. Это как раз и позволяет нашим мемуаристам выразительно сообщать нам подлинные данные о столь невыразительном, сером, убогом, уходящем в тень, но в то же время столь социально-содержательном житье-бытье российского обывателя во второй четверти прошлого века.

Мемуары Карпова и Шипова — ценные вклады в наше познание общественной физиологии той эпохи. Речь идет именно о физиологии, о тайных, подспудных и притом мелких, клеточных явлениях. Перед нами не штрихи к портрету, не выступающие наружу черты внешней характеристики социального организма, а поперечный разрез, произведенный искусно и потому позволяющий видеть обмен веществ и работу внутренних органов.

И при этом сами авторы суть не что иное, как клеточки того же социального организма, который они описывают. И это обстоятельство приводит к тому, что их показания, далеко уступая свидетельствам художника в

отношении впечатляющей яркости и красноречивого лаконизма образов, дают сильное ощущение подлинной, документальной жизненной правды. Все ими сообщаемое — мы это видим — было подлинно так, как о том сообщается.

2

Одна и та же эпоха, одинокая нивеллировка под ее средний уровень — это у наших авторов сходно. Далее идут особенности — личные и общественные, которыми определяется своеобразие каждого.

Карпов — художник, интеллигент, оппозиционно настроенный к крепостническому обществу из сочувствия к крупной буржуазии, купечеству, уже созревшему для того, чтобы заменить помещичью эксплоатацию эксплоатацией буржуазной.

Шипов — коммерсант, выдвинувшийся из недр крепостной крестьянской массы.

Оба они — продукты обуржуазивания дореформенной России, выдвиженцы созревающего в ее недрах, но встречаемого ожесточенным сопротивлением капитализма. Отсюда острый драматизм их общественного положения и — в виду несомненного наличия у обоих талантливой, инициативной натуры — драматизм их восприятия окружающей действительности.

При всем том разница между ними очевидна. Карпов — созерцателен, благодушен, колоритен; Шипов — стремителен, желчен, сух. На этом обстоятельстве не нужно было бы останавливаться, если бы оно было проявлением одних лишь человеческих темпераментов или даже писательских обликов, если бы из-за этих индивидуальных различий не выступал выразительный социальный контраст.

Нет сомнений, и Карпову приходилось гнуться перед

истуканом крепостничества. Об этом красноречиво свидетельствует его столкновение с помещиком-генералом Тарасовым — по поводу нарисованных Карповым по заказу Тарасова икон. Сановитый генерал распек художника за употребление охры, которая годна для полов, а не для лика божьей матери и Иисуса Христа, за недостаточно воинственный вид архангела Михаила и другие несоответствия замыслов художника генеральским представлениям об искусстве. А когда Карпов, возмущенный угрозами этого фронтового мецената, захотел посоветоваться с местным священником, как быть, то услышал в ответ назидательную повесть о землемере, который был высечен бравым воякой за невыгодный для последнего промер земли.

Еще больше гнуло Карповых крепостничество тем, что, идеологически сковывая творческие возможности буржуазной интеллигенции, оно тормозило развитие культуры.

Не даром Карпов скорбит:

«Художники всех специальностей, для того чтобы как-нибудь существовать, должны были приниматься за иконописное мастерство, отбросив, как ненужный хлам, все приобретенные в академии приемы композиции, письма, колорита, перспективы, пластической анатомии и даже экспрессии лиц, так как в иконописной живописи над всеми состояниями человеческого духа царит неизменно одно благоговейно-созерцательное настроение».

«Социальный заказ» на святость предъявляется закостеневшим крепостническим обществом к молодой буржуазной интеллигенции очень жестко; неисполнение каралось чувствительно, что видно из следующих слов Карпова:

«И вот художник, насидевшись вдоволь без зака-

зов и без продажи картин, начинает хлопотать о месте и, пристроившись в гимназию учителем чистописания и рисования, складывает свои художнические доспехи и начинает выводить прежде элементы буквы, а потом отдельные буквы и, наконец, целые слова. А впереди... старость, со слабостью зрения, и пряжка за сорок лет службы, без пенсии».

Противоречие между упорствующим крепостничеством и шагающим ему на смену капиталистическим строем и на фронте искусства ощущалось очень болезненно:

«И для того чтобы заполучить такие великие блага мира сего, — горестно заканчивает Карпов свои рассуждения, — нужно было строить громадное здание Академии, с завидным штатом служащих, а учащимся — пробыть на скамьях не менее шести лет, а затем художникам с выдающимися способностями ехать на три года пансионерами за границу для приобретения высших знаний по искусству и высшего звания по академическому уставу».

3

Идеологическое и организационно-общественное ущемление, которому подвергалась буржуазная интеллигенция, толкало ее на более или менее резкое противоречие с крепостнической действительностью. Ущемление это делало дореформенную интеллигенцию чувствительной к социальной несправедливости, где бы она ни проявлялась.

У Карпова мы найдем резко выраженную защиту буржуазных порядков против произвола крепостнически-бюрократического государства. Однако справедливость требует признать, что и противоречия внутрибур-

жуазных отношений не оставлены у него вне поля зрения. Если негодование его возбуждено харьковским генерал-губернатором Кокошкиным, обращающимся с промышленниками, имевшими неосторожность взять у него казенный подряд, как со своими крепостными, то судьба «второй половины города Харькова» волнует его не меньше:

«Имея самые скудные права на благо жизни, а некоторые даже и менее того, мещане, цеховые, государственные крестьяне и, наконец, оброчные и на выкуп взятые купцами крепостные люди всегда должны были быть настороже, так как привилегированные сословия — дворяне, чиновники и купцы — безнаказанно могли издеваться над ними, эксплоатировать их труд и даже подвергать побоям и телесному наказанию».

Автор ввел в свои мемуары, на ряду с яркими эпизодами борьбы между бюрократией и капитализмом, также случаи угнетения труда.

Точнее, эти два момента выступают у него слитно, как это и было в жизни. Ибо бюрократическое государство, служа орудием классу крепостников в их борьбе с капиталом, становилось общим орудием крепостничества и капитализма всякий раз, как эти два полуврага-полудруга объединялись против своего общего противника — труда.

В этом смысле очень характерно, что Карпов выделяет прямое насилие «первой половины» обывателей города, т. е. людей, одаренных то знатностью рода, то привилегиями сословий, то богатством, над «второй половиной», т. е. мещанами, цеховыми, государственными крестьянами, оброчными и взятыми на выкуп крепостными.

Крепостническое насилие проникает во все поры описываемого им социального организма — сверху донизу.

Об этом Карпов повествует очень ярко. Но он не ограничивается повествованием, а идет дальше, объясняя источник насилия. Он объясняет его не только бесправием крепостнического строя, но также ущербленностью капиталистических отношений в недрах крепостнического государства:

«В те годы... не было банков, куда бы можно было скромному труженику положить на хранение сбереженные им рубли. Не было и кредита для тех, которые нуждались в нем для расширения своего торгового дела или для оборота вообще. Но при всех насущных и неотложных потребностях жизни, если нет настоящего жизненного материала, то взамен его является суррогат, который, как известно, не всегда полезен, но почти всегда вреден».

Как на такой суррогат кредитных и сберегательных учреждений Карпов указывает на ростовщичество. Он проводит перед читателем целую вереницу ростовщиков, яркими штрихами обрисовывая их метод, и читателю предоставляется решить, где тут кончается коммерческая сделка и начинается прямое насилие, — чаще всего в форме шантажа.

4

Подобных черт, выражающих основное противоречие той эпохи, читатель найдет в воспоминаниях Карпова множество. Без преувеличения можно сказать, что из-за каждого факта, им сообщаемого, выглядывает все то же противоречие. Помещичий, крепостнический и самодержавный строй, повидимому, еще незыблемо крепок. Новый ветер еще не долетает не только в захолустье, но и в такой крупный торгово-промышленный центр, как Харьков.

Еще цельные натуры кобянятся во-всю. Еще раньше выдвиженцы технической интеллигенции, несущей столь нужные капиталу изобретения, кидаются под колеса экипажей, неоцененные, отвергнутые, травимые. «Луч света» еще не проникал в это «темное царство», нашедшее свое образное воплощение под пером Писемского и Островского. «Только на востоке, — осторожно и мимоходом замечает Карпов, — едва заметной полосой занималась между разорвавшимся пластом нависшей тучи светила отрадная заря новой жизни. Севастопольская война была в полном разгаре».

Но сквозь всю эту неподвижность, незыблемость, монолитность быта, нравов, управления, культуры во всех слоях населения раздвоение проступает отчетливо. Каждое явление, каждое лицо, каждое событие как бы раскалывается надвое, пронизанное невидимой трещиной. В старой скорлупе уже проросло новое ядро: вот-вот оно прободает затверделую оболочку и пустит к свету зеленый росток.

И это предчувствие наполняет напряженным социальным драматизмом столь спокойные по тону, эпические по ритму сменяющих друг друга разнообразных картин страницы воспоминаний.

Но драматизмом этим полны не только факты, сообщаемые в воспоминаниях Карпова: ими полон и сам автор воспоминаний. В нем самом гнездились противоречия его класса и эпохи.

И здесь начинается резкое различие между Карповым и Шиповым.

Отмеченные нами созерцательность, благодушие, колоритность Карпова — не только черты его личного стиля, но и принадлежность его мироощущения.

Карпов рисует много отталкивающего. В сущности он рисует мир обреченный и самой обреченностью своей

утеснительный. Но, отрицая этот мир в качестве одного из тех, кто не мало от него страдает, Карпов в то же время любит его как человек, им порожденный и сродный ему внутренно, органически. Противоречивое положение буржуазного интеллигента, вскормленного крепостническим обществом, приводит Карпова к тому, что и мироощущение его противоречиво: протестуя против старого мира, он в то же время не может ему не сочувствовать.

Разве не сквозит это сочувствие в описаниях барского и купеческого раздольного житья-бытья, того самого, которое страницей выше беспощадно заклеймено пером? Разве не брошен луч сочувствуя на изображение тех самых «цельных натур», которые только что встретили суровое и столь обоснованное осуждение?

Нужно ли после этого добавлять, что при имени Николая I в тоне повествования ощущается вполне определенно, хоть и весьма непоследовательно, подобострастная верноподданническая дрожь, уместная не столько в устах буржуазного интеллигента-оппозиционера, сколько в устах без лести преданного помещика Животовского, который за свое усердие удостоился от монарха лестной оценки в виде снисходительного напутствия: «Пошел вон, дурак!»

Эта верноподданническая дрожь, находящаяся в решительном несоответствии с отрицательной позицией Карпова к крепостническому обществу в целом, заглушает трезвый голос сознательной мысли даже в тот момент, когда повествование доходит до Крымской войны, которая резко двинула вперед дело ликвидации крепостного права и решительно толкнула Россию на путь обуржуазивания. И здесь оценка события с точки зрения буржуазных интересов — или хотя бы с точки зрения

цеховых интересов буржуазной интеллигенции — уступает место восхищению патриотическими подвигами и «чудодейственной храбростью Корнилова, Тотлебена, Хрулева» да «титанической мощью легендарного богатыря земли русской».

Нет сомнения, что эти и подобные им проявления противоречивости классового бытия Карпова значительно снижают ценность его воспоминаний там, где речь заходит о выдающихся исторических явлениях, которые требуют четкой, недвусмысленной, вытекающей из всего миросозерцания оценки. Гораздо меньше вреда это противоречие причиняет там, где — как почти всюду у Карпова — речь идет о бытовой структуре общества. Хотя и тут контрасты сглаживаются, а многое горькое получает некий слащавый привкус.

5

Шипов представляет резкий контраст такому мировоззрению и, повторяем, не только психологический и стилевой, но, в конечном счете, контраст социальный. И он отнюдь не революционер. И у него найдем мы патриотические, верноподданнические строки. Но характерно: сочувствие его направлено — и то однажды во всем повествовании — на наследника, т. е. будущего Александра II, а Николай I вызывает в нем ужас. Невольно возникает вопрос: «освободитель» восхищает нашего автора или, быть может, самое «освобождение»? А когда мы слышим от него пожелания, чтобы богатые области Кавказа поскорее перешли под власть русского царя, буржуазный пафос промышленника, предпринимателя, колонизатора уже окончательно заглушает здесь традиционную интонацию крепостного права.

Дело в том, что менее всего двойствен и противоре-

чив этот волевой, подвижный, целеустремленный выходец из той среды, которая в устах Карпова получила название «второй половины населения». Самым положением своим, незыблемой, укорененной принадлежностью к этой второй половине, он лишен тех соблазнов компромисса, которые проявлялись во всей силе по отношению к ущемленному, униженному, но все же законному обитателю первой, привилегированной половины общества, каким несомненно был Карпов.

Поэтому-то Шипов односторонней Карпова, но и монолитней, цельней. Патриотические фразы не проникают у него в глубь мировоззрения, как у Карпова, но остаются фразами, прикрывающими иное социальное содержание.

Впрочем, положение Шипова тоже противоречиво и притом не менее, если только не более, чем положение Карпова: ведь он — крепостной буржуа. Но легко видеть, в чем разница: противоречивость эта чисто внешняя, не только не препятствующая внутренней цельности, но, напротив, обусловливающая ее, тогда как противоречивость буржуазного интеллигента — чисто внутреннего порядка, приводящая личность к двойственному взгляду на мир.

Шипов сам по себе целен; он — буржуа, предприниматель, организатор, делец. Его крепостное положение создает внешнее препятствие для его деятельности, которое он не может преодолеть законным путем (выкуп на волю невозможен вследствие нежелания помещика отпускать предприимчивых, способных, а следовательно доходных, рабов). Таким образом, Шипов лишен возможности какого бы то ни было соглашения с угнетающим, коверкающим его жизнь крепостным строем. Он вынужден обратиться к незаконным средствам, законспирироваться, бежать за границу, потом жить и рабо-

тать под чужим именем, попасть в тюрьму и снова выйти из нее, затем пойти на обход обстоятельств, отдавшись в плен к кавказским горцам для того, чтобы таким путем получить вольную и зажить, наконец, свойственной ему буржуазной жизнью.

Жизнь Шипова, предпочитающего присоединиться к бегствующей Руси, еще со средних веков убегавшей от утеснений самодержавной и крепостнической власти в степь, к казакам, киргизам, к хивинскому хану и турецкому султану, предпринимавшей хождения ко святым местам или кровавые восстания против помещичьего сословия со своим царем во главе, подымавшей раскол или уклонявшейся в секты, — эта жизнь не легка. Она гораздо труднее и опасней, чем жизнь оседлого провинциального художника Карпова. Но в то же время она гораздо цельнее, гораздо менее разорвана внутренними противоречиями — неизбежными плодами общественного компромисса. Все дело в том, что в лице Шипова мы имеем представителя нарождающихся капиталистических отношений на самой низшей ступени социальной лестницы. Это потом уже, на высших ступенях богатства, человек превращается в «цельную натуру», т. е. самодура по отношению к зависимым и низшим и в принципиального соглашателя по отношению к крепостнической власти. На том уровне, на котором мы застаем Шипова, соглашательствовать не с кем и, значит, не над кем куражиться: «не до жиру — быть бы живу».

Эта народная поговорка могла бы служить эпиграфом к воспоминаниям Шипова. Перед нами, воистину, страстотерпец первоначального накопления, его вдохновенный и верный служитель.

Бесспорно, что Шипов — авантюрист. Нередко не останавливается он и перед затеями не слишком чисто-

плотными, в роде способствования своему патрону выжать отступные у претендентов на эксплоатацию кавказской почты.

Но за всем этим внешним беспокойством и непоседливым метанием с места на место скрывается подлинное стремление утесненного и тянущегося к свободе человека. Объективно выражая тенденцию нового, поднимающегося к экономическому господству класса, Шипов субъективно справедливо характеризует свою жизненную установку:

«...я желал вольности до последнего своего издыхания; искал не чести, славы и богатства, а только независимости себе и своему потомству от жестокосердого помещика».

И разве пустою фразою звучат в его устах порывы к свободе:

«О свобода, свобода! Где те люди счастливые, под какою планетою родились, которые не видели и не видят никакого гонения, никакого стеснения? Живут они по своей вольной волюшке и ничего не боятся. А я?»

Конечно, он шел к свободе своим путем — путем одиночки, как и подобает представителю индивидуалистического, хищнического, основывающегося на конкуренции класса. Но тем не менее жажда накопления выступала в его мировоззрении не обнаженно, а в облачении искреннего и по-своему глубокого порыва к независимости. И это-то обстоятельство делает его записки социально-ценными документами.

К тому же именно оно сообщает автору остроту взгляда и свежесть восприятия действительности, которые приводят его к созданию ряда выразительных картин. Торговля скотом с киргизами и уральскими казаками, пребывание в румынской эмиграции, встреча со старообрядцами, сцены из русско-турецкой войны, в ко-

торой автор принимал участие в качестве маркитанта, и в особенности пребывание в плену у кавказских горцев, — все это описано с той степенью живости, которая, сама того не зная и не стремясь к этому, приближается к искусству. Такими зарисовками — сухими и четкими — полны мемуары этого крепостного крестьянина.

6

Подобно тому как русская буржуазия и в национальном вопросе шла по стопам «великороссийского держиморды», так и в воззрениях Шипова и Карпова сказывается влияние царистской политики угнетения национальных меньшинств.

Шипов сам сталкивается с крепостничеством в наиболее жестоких его проявлениях, сам был угнетенным и преследуемым, и, несмотря на это, чуваши, калмыки, кавказские горцы характеризуются в его воспоминаниях почти исключительно как разбойники и хищники. «Чуваши — народ зловредный», — говорит, например, Шипов, и у него мы не встретим и намека на понимание национально-освободительной борьбы народов Кавказа. Хотя непосредственными виновниками злоключений и бедствий Шипова были крепостнический строй и царский закон, хотя в плен к горцам наш мемуарист попал только потому, что путь через плен был для него единственно возможным, дозволенным царским законодательством путем к свободе, тем не менее и в чеченском ауле, среди людей, борющихся с русским царизмом, Шипов желает мысленно успеха именно Николаю I: «Дай бог нашему царю скорей покорить Шамиля с его хищными народами и завоевать эту мятежную землю, в которой можно найти не мало богатства и изобилия».

Аналогичные, хотя и менее обнаженно проявляющиеся, шовинистические ноты встречаем мы и в воспоминаниях Карпова. Ему довелось столкнуться в жизни с П. И. Середой, с человеком идейно близким к Т. Г. Шевченко и, в той или иной мере, прикосновенным к украинскому национально-освободительному движению. Но, говоря о «благородной душе» Середы, отдавая дань личным его качествам, Карпов вместе с тем характеризует его как «поборника идей, которые не имели под собой никакой серьезной почвы». Так и у Карпова проявляется подчинение официальной идеологии царизма.

Карпов и Шипов вспоминают о своем вчерашнем дне. Для советского читателя этот день не вчерашний, а давно прошедший. И это не только потому, что с тех пор прошло много времени. Вчерашний исторический день может ведь задержаться, историческое время течет неравномерно. Эпоха Карповых и Шиповых стала далеким прошлым сразу, — в одно историческое мгновение была отодвинута из области вчерашних воспоминаний в глубь российского, столь задержавшегося на исторической сцене и наконец сброшенного с нее средневековья. Пролетарская революция растоптала у нас пережитки крепостничества до конца.

С тем большим вниманием прислушаемся к замирающим голосам этой навсегда отошедшей эпохи. Не для того, чтобы любоваться ею, конечно. Нам нечем любоваться в ней. Но чтобы, познав ее, господствовать над нею.

Н. Яковлев.

Воспоминания В. Карпова впервые были изданы в Харькове в 1900 г. («Харьковская старина. Из воспоминаний старожила»), записки Н. Шипова впервые появились в «Русской старине» за 1881 г. (т.т. 31 и 32).

В. Н. КАРПОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

Где бы я ни проходил по г. Харькову, куда бы ни обратился мой взор — везде и на всем я вижу образы давно уже прошедшей жизни. То тихою чередою проходят мимо меня когда-то жившие люди, спутники моего детства; то бурным вихрем мчатся и спешат жить люди моей юности; то робко и неуверенно, шаг за шагом, проходят мимо меня люди зрелых лет, с которыми я жил, которых слушал и о которых остались в душе моей неизгладимые воспоминания Где все они теперь? Куда ушли, зачем не продолжали жить, не остались вместе со мной доживать свой век?

Быть может, забыты они всеми, но не забыты они мною, и я ими живу, и они живы в моей памяти, где, как в заветной книге бытия, все мною прожитое хранится отпечатанным и не бледнеет его ясный контур.

———

И вот в моей памяти восстает с изумительной ясностью образ одной простой крепостной женщины, лет семидесяти. Она была всем нам известна под нарицательным именем Петровны. Петровна по крепостным актам принадлежала помещице Смоленской губернии Слюзовой и была отдана купцу Чунихину на выкуп. В то время купец или разночинец, не имевший права владеть крестьянами, по обоюдному соглаше-

нию с помещиком, брал нередко целую крестьянскую семью на выкуп. Семья, взятая на выкуп, должна была прослужить своему господину десять-пятнадцать лет, без всякого с его стороны вознаграждения. По прошествии условного времени она получала вольную и переставала быть крепостною и не имела ничего за душою, кроме права итти на все четыре стороны.

Анна Петровна, или, как в детстве ее звали, Анька, поступивши девяти лет к купцу Чунихину на выкуп в качестве девочки для игр и забавы к двум дочерям богатого купца, а через пятнадцать лет сделавшись свободною, на двадцать пятом году своей жизни пошла мыкаться по белу-свету, переходя из дома в дом, из семьи в семью. К тридцати годам своей жизни она была уже матерью, приобретя вне брака ребенка, а с ним и неразлучный срам и позор. Но ребенок на чужих руках умер, а сама она, поступивши в мамки, начала занимать места няни при детях и на этой профессии умерла в Харькове на семидесятом году своей жизни.

Проживая по домам в качестве няни, Петровна где-то сумела выучиться читать и писать, что в то время составляло большую редкость даже между мужчинами. Уже в преклонных ее летах я встретил ее в семье купца Дунина, где был ее питомцем мой товарищ по гимназии Гаврюша Дунин. Каждый раз при воспоминании о нем у меня возникает вопрос о странной судьбе этого прекрасного юноши, дорогого сердцу товарища. Семья Дуниных была небогатая, но жила с достатком и не нуждалась ни в чем необходимом. Дунин вел торговлю игольным

товаром. Как сам Дунин, так и жена его были люди добрые, ласковые и богобоязливые. Да и вся семья, состоявшая из двух дочерей и одного сына — Гаврюши, тоже была очень добрая. Но у членов этой семьи как-то особенно уживались совместно и человек и зверь и шли в жизнь рука об руку. Пока жизнь в своем обыденном течении не касалась их личного интереса, зверь спал, а человек бодрствовал. Но едва заходила речь о личном интересе, человек куда-то удалялся, и на арену жизни выступал зверь во всеоружии. Загребущие когти и яростные глаза зверя делали Дунина и его супругу неузнаваемыми. А проходил порыв гнева, зверь куда-то прятался, и человек вновь выходил, полный любви и милости ко всем.

Когда Гаврюша был ребенком, нередко, не вследствие черствой души своей, а скорее от легкого взгляда на жизнь, он подпадал под серьезные замечания своих родителей за то, что безучастно, а иногда и грубо относился к бедности и нищете. Ему каждый раз ставилось на вид евангелие и особенно нагорная проповедь, на основании которой твердили ему о милосердии. И Гаврюша всякий раз сознавал свою вину, даже плакал о ней и делался лучше. Доброе семя падало на хорошую почву. Влияние на него родителей было так благотворно, что он нередко в гимназии и нас наделял советами вести себя лучше. В развитии Гаврюши в этом направлении, конечно, принимала участие и няня его, Петровна, которая любила его как родного сына.

Гаврюша был мальчик весьма талантливый. Он учился в числе первых и был весьма энерги-

чен, но с пятого класса с ним что-то произошло неладное. Он начал задумываться и задавал вопросы, несвойственные его летам. Причина такой перемены таилась в происшедшем с ним случае, для всех нас неожиданном.

Один из наших товарищей, Ваня Дробушев, весьма бедный юноша, перейдя вместе с нами в шестой класс, не имел возможности сшить себе новый форменный сюртук и являлся каждый раз в класс в очень поношенной форме. Ему уже было сделано несколько замечаний и, наконец, в присутствии всех товарищей, ему было объявлено, что если он завтра явится в таком жалком виде, то не будет допущен в класс и будет исключен из гимназии. В то время не было при гимназии ни сумм для бедных, ни вспомогательных касс, ни благотворительных сборов в пользу бедных учащихся. Мы все, выслушавши такой жестокий приговор, крепко призадумались и тут же начали толковать о том, как и чем помочь горю. Но Гаврюша Дунин распорядился иначе, опередивши всех нас. У него дома висела новая форма, только что сшитая. По окончании занятий Гаврюша подзывает Ваню Дробушева, снимает с себя форму и надевает на него, а сам без сюртука, в одном форменном пальто, уходит домой. Казалось бы, что в его поступке не было ничего дурного, и мы все за такой подвиг отнеслись к Дунину со всею признательностью открытой детской души. Родители Гаврюши на его поступок взглянули несколько иначе. Мать Гаврюши была поражена, когда увидела, что он пришел из гимназии в одном пальто. Когда же пришел из лавки отец, то он привлек Гаврюшу

к строгой ответственности и, не задумываясь, жестоко его высек. Но едва отец начал сечь Гаврюшу, как Петровна подбежала к нему и вырвала у него из рук своего питомца.

— Что это ты, батюшка, очумел, что ли, что бьешь свое детище? Убей меня, коли у тебя руки свербят, а его не дам тебе бить!

И Петровна увела Гаврюшу в детскую комнату. Дунины за ее дерзкое вмешательство в их права немедленно рассчитали ее.

— Не только рассчитай меня, а убей меня, а его бить я тебе не дам. Грех, великий тебе грех за него будет, батюшка! — ответила Петровна и вышла из его дома.

Так как в то время всех били и, по общепринятому мнению педагогов, ни одного мальчика нельзя было выучить без побоев, то ни нас, ни Гаврюшу не удивило то, что его побили. Но за что, за какую провинность его побили, оказалось для Гаврюши неразрешенным вопросом. И потому такая неожиданная расправа на него повлияла настолько, что он сразу изменился и сделался неузнаваемым. Он, как я уже сказал, начал задаваться вопросами, которых решить ни он, ни мы не могли. И, наконец, он решился рассказать свой проступок в классе священнику Лебедеву, преподавателю закона божия. Лебедев, выслушавши Гаврюшу, сказал, что он обязан попросить прощения у родителей и обещать им впредь так никогда не поступать.

— Да что же я сделал, батюшка, нехорошего? — спросил у Лебедева Гаврюша. — Ведь Христос сказал, чтобы мы помогали ближнему?

— Тише, тише, — строго прервал его Лебедев, — лучше тебя знают, что сказал Христос. А ты иди и не смей в другой раз так поступать.

После таких внушительных объяснений Лебедева Гаврюша словно помешался. Он сделался угрюм, перестал готовить уроки и нередко некстати повторял неоднократно один и тот же вопрос:

— Чему меня сами же учили, за то меня и побили. Что же это такое?

Стоял давно уже сентябрь на дворе. В этот год он был особенно жаркий и теплый. Многие еще продолжали купаться. А купаться в те годы было где, не то что теперь. Где в настоящее время перекинут через реку Кузнечный мост, там в то время была гребля, у которой, под сенью развесистых верб, стояла мельница, принадлежавшая помещику Барабашеву. А вверх по течению р. Харькова, за теперешним садовым заведением Грикке, была кузинская мельница-крупчатка, которая имела весьма солидных размеров плотину, известную под именем «Сомовой гребли». Левый берег реки был особенно возвышен и глубок. Но, тем не менее, это было самое любимое место для купающихся, умевших плавать. Гаврюша Дунин был большой охотник купаться и при этом был хороший пловец. В фатальный для него день, очень поздно вечером, он пошел купаться, никому не сказав об этом из домашних. Домой он не возвратился. На другой день мельники нашли его труп, всплывший у основания лотка плотины, а на крутом берегу реки его платье. Труп был одет в рубаху и брюки, но без сапог. Все ре-

шили, что Гаврюша Дунин задумал выкупаться, но оступился, попал в воду и пошел ко дну.

На погребении его была, но к родным не подходила, няня Петровна. Она подошла к гробу Гаврюши, поклонилась ему «в самую землю» и вышла из храма.

Через три года я встретил Петровну. Она жила у купца Белина и смотрела за его дочерью.

Разговорились мы с нею и вспомнили о Гаврюше Дунине.

— Да что и говорить! — горячо ответила мне Петровна, — грех отцу его, вот что я скажу! Ты думаешь, как и все, что он оступился да упал в воду? Такой пловец, как он, да и не выплыл бы! Верь мне, он нарочно утонул, вот что я тебе скажу! Потому он не мог перенести такого «супротивления» речи: говорят одно, а делают другое. Говорят по-божески, а делают, как сатана велит, — вот оно что, мой милый! От этого от самого у моего Гаврюши, божьего человека, головушка кругом пошла, душа изболелася, он и утонул! . .

— Да разве, Петровна, он говорил тебе, что утонуть хочет?

— Да уж коли говорю, значит, знаю. Вот тебе и весь сказ от меня! . .

Расстался я с Петровной, и в моей юной и пылкой голове много мыслей пробежало, и вопрос за вопросом просили ответа. А смерть Гаврюши и теперь осталась для меня загадкою, хотя я очень склонен думать, что Петровна была права. . .

Вскоре после Гаврюши умерла и Петровна, и умерла, исполняя самоотверженно свои обязан-

ности до конца жизни, которую положила за питомицу свою.

Как я уже сказал, Петровна была няней у купца Белина, которому принадлежал дом, где в настоящее время помещается Северная гостиница, в Горяиновском переулке.

Однажды Петровна гуляла с своей девочкой, которая, как резвый ребенок, побежала на середину улицы за уходившей от нее собачкой.

В то время из-за угла вылетел парный извозчик-лихач — и, если бы не находчивость Петровны, девочка была бы раздавлена. Петровна мгновенно бросилась к своей питомице, повалила ее и сама легла на нее всем своим телом. Лихач переехал ее всем экипажем, а лошади копытами повредили ей затылочную часть черепа. Ее подняли без чувств, но ребенок был без единой царапины.

Памятно мне то время, когда наш Харьков ежегодно был посещаем в конце августа месяца Николаем I, проездом в г. Чугуев, для маневров и смотра войск. Город чуть не за месяц начинал преобразовываться из замарашки в чистенький городок, с запасом грязи на будущее в побочных улицах и переулках своих. Так как в то время не только в предводители дворянства, но и в представители думы городской избирались люди богатые, не имевшие нужды в жалованье и готовые нести службу ради почестей и знаков отличия, то не только предводитель дворянства был занят, не жалея собственных средств, исправлением дорог и мостов по украшения зала дворянского собрания для пред-

стоящего царского бала, но также и городской голова со своими сослуживцами, бургомистрами и ратманами раскошеливались и заказывали вензеля, декоративные щиты, триумфальные арки, и даже исправлялись и чистились фонари и тротуары по протяжению главных улиц города, которыми должен был проезжать император. Целый год жители, утопая в грязи, теряя калоши в лужах и ломая свои ноги на тротуарах, не протестовали, веря крепко, что к проезду государя и грязь свезут с мостовых, и лужи засыплют, и тротуары где залатают, где вновь перестелют. Все суетились, хлопотали и радели о торжественной встрече. Все время употреблялось на благоустройство города и на обсуждение, что лучше бы замостить такое-то «багно»[1] мостовою или засыпать его песком, так как по песку легче будет ехать...

Квартальные и вся полиция в своей форме, точно красные с позолотой мухи, летали по городу и, как высокие эстетики, не жалея ни рук своих, ни пальцев, от усталости сжимавшихся в кулаки, осматривали побелку домов и окраску нескончаемых заборов, пересекаемых на Сумской улице домиками счастья в три окошечка. Как педанты-эстетики, критически относясь к произведениям искусства, они, не жалея своего драгоценного здоровья и крови, кричали, топали ногами и внушительными движениями рук указывали недостатки в искусстве белить стены или красить заборы. Помнится мне, более

[1] Топкое место, вязкое болото.

других выделялся по строгости оценки и как знаток дела квартальный Стуколкин, который всегда жестоко бранился, давал волю рукам и доказывал, что хороший вкус могут иметь только богатые купцы.

— Уж эта мне бедная шваль! — говорил он. — Одно невежество и необразование! Забора не умеют окрасить как следует! А почему? Вкуса нет. Грубая душа!.. Они не могут понять, что хорошо окрашенный забор — та же картина и может привлечь к себе внимание высокопоставленного лица. А там, смотришь, месяца через три Петр Иванович идет по городу с медалью на шее. А почему? Забор, красота, вкус!.. Вот оно что!..

В Чугуеве государь по окончании маневров делал смотр войскам и торжественную зарю при слиянии всех оркестров музыки, в то время бывших при полках. Помещики Харьковской губернии и богатые купцы за месяц вперед закупали у обывателей Чугуева места на время парада и зари и в самых пышных костюмах привозили своих дочерей посмотреть эту величественную картину. Затем, на возвратном пути государя, в Харькове дворянство и купечество давали бал и просили его оказать им милость своим присутствием. Девицы, получившие приглашение на царский бал, приобретали костюмы в магазинах m-me Саде и Каппель, а также выписывали платья из Москвы, от лучших модисток. Таких девиц-счастливиц обыкновенно безапелляционно называли красавицами, и они

приобретали в обществе престиж обаятельных. Если же случалось, что бывшая на балу девица по общему приговору оказывалась не особенно красивой, то обзывать ее некрасивой считалось невежеством, так как на этот случай имелось особое слово.

В любое время и у всех народов язык приобретает новые названия и новые слова. Есть в текущее время не мало таких слов в обороте, которые совсем не были известны нашим отцам и дедам. Интеллигент, коммунатор, телефон — всё это слова нового времени, вызванные к жизни новыми ее явлениями. Еще так недавно дворник у французов назывался portier, а в настоящее время этим словом можно обидеть самого непритязательного дворника, так как он уже более не portier, а concierge.[1] В сороковых годах также было не мало слоз, которые в теперешнее время совсем изъяты из употребления. Было в то время слово «вывозить»; в настоящее время слово это употребляется преимущественно в обиходе дворовой прислуги. В описываемое мною время слово «вывозить» употреблялось в семье, когда дочь достигала семнадцатилетнего возраста.

— Няня, няня! Папа и мама сказали, что меня пора «вывозить»! Ах, как это весело! Ах, как я счастлива! Мне теперь будут шить длинные платья с кокеткой на груди. Я теперь буду надевать трибушоны и тюлевые modestie;[2] я буду бывать на балах и в концертах. За меня будут свататься. А я буду говорить: «он мне не

[1] Portier, concierge — швейцар, привратник.
[2] Скромность; здесь — фасон платья.

нравится». А меня будут уговаривать. Ха, ха, ха! Как это весело, как это мило!!! Comme je suis heureuse! [1]

Французская фраза втиснулась в русскую речь совершенно механически, вследствие привычки постоянно говорить по-французски. Быть образованным человеком в то время — значило хорошо говорить по-французски.

А кто желал услышать речь родную,
Тот шел во двор или в людскую...

Бывши лет девяти под строгой ферулой [2] гувернера, постоянно говорившего со мной по-французски, я не мог объяснить себе, почему, в ущерб своей родной речи, все изучают чужой язык. Но дворник дома моего отца на мой вопрос пояснил мне, что все это происходит потому, что француз, когда в двенадцатом году был в Москве, то не иначе соглашался выйти из нее и заключить мировую, чтобы русские все говорили по-французски.

— Вот с тех пор господа и стали говорить по-французски. А после них и нас начнут учить эвтому же! — сказал он, закончив свой рассказ.

Выяснивши значение *вывозить*, я перехожу к иному слову, которое относилось к девице, бывшей на царском балу, но не красавице. Сказать о ней, что она дурнушка, считалось большим невежеством. Обыкновенно говорили: elle a changé de grimme. [3]

[1] Как я счастлива.

[2] Буквально — линейка, дощечка, которой били школьников по рукам; здесь — наблюдение.

[3] Она переменила грим.

Но не всем выпадало на долю счастье быть на царском балу, и такие несчастливицы старались тщательно скрывать, что они заказывали костюмы и покупали вещи для туалета. Они с затаенной злобой выслушивали рассказы о прелестях бывшего бала.

— Да! — говорили они. — Мы бы могли быть тоже на этом балу, но...

— Конечно, это очень бы дорого стоило! — спешила досказать прерванную речь хитрая собеседница, бывшая на балу.

— Совсем не то! — обиженно возражала дама, не бывшая на балу. — Нас нисколько не удержал расход, необходимый для этого бала. Любочка, покажи скорее платье и вещи, которые мы получили из Москвы.

И дочь обиженной мамаши спешила показать несносной посетительнице целую выставку вещей и платьев, высланных им из Москвы, забывая о том, что этим они обнажали свои незажившие раны.

— Да, да! — спешила сказать жестокосердная гостья, рассматривая платье и вещи. — Я не сообразила! Вы не были приглашены на бал?

— Пожалуйста, так не выражайтесь! — обиженно возражала мама Лизы. — Нас тоже приглашали, но мы не хотели быть...

Пикировка нередко заканчивалась ссорой, и дамы, еще недавние друзья, расходились непримиримыми врагами.

Еще более комичною являлась картина, когда государь спешил своим отъездом в столицу и отказывался быть на балу.

Тогда многие семьи, оставшись при пиковом интересе, лгали друг другу при свидании, скрывая сделанные для бала затраты.

Но не одним комизмом были богаты эти последние дни августа месяца. Иногда разыгрывались и драмы, полные интереса, о которых я считаю долгом рассказать хотя вкратце.

В один из проездов государь, по обыкновению, делал в Чугуеве парадный смотр войскам. К его особе в это время был назначен ординарцем один из красивых и ловких офицеров, барон фон-Остенблют, служивший в одном из драгунских полков армии. Отец его, помещик Херсонской губернии, знатный барин, когда-то служивший вице-адмиралом Балтийского флота, жил в отставке в своем имении, при котором считалось восемнадцать тысяч душ крестьян.

Старик барон давно уже хлопотал о том, чтобы сын его был переведен в гвардию. Но это ему не удавалось и, кажется, потому, что петербургские друзья ожидали по этому делу его самого в столицу, а он, предавшись деревенскому dolce far niente,[1] ограничивался письмами.

Что касается сына его, Адольфа фон-Остенблют, то по своему образовательному цензу он не имел права быть гвардейцем. Но заслуги отца питали его надеждами на успех, и он выжидал случая. Об этом узнал и государь, обративший особенное свое внимание на временного своего ординарца.

---

[1] По-итальянски — «сладкое ничегонеделание».

Все шло как нельзя лучше.

В день смотра войск, которым руководил сам государь, погода стояла прекрасная. Светлые и теплые дни в двадцатых числах августа давали возможность войскам, при полной парадной форме, совершать движения без утомления. Громадную площадь, занимаемую войсками, окружала кольцом, построенным в три этажа, приезжая публика. Среди массы народа, как среди осенней зелени, группами пестрели красавицы-девицы и молодые дамы, одетые в роскошные костюмы и убранные бриллиантами, горевшими под лучами солнца радужными цветами. Вблизи этих едва распустившихся цветов, как бы для большего выражения красоты их, сидели бабушки и мамаши. Государь на коне постоянно объезжал галопом хорду круга кольца и тем доставлял неописанное удовольствие всем видеть его вблизи и слышать его царственный голос.

Среди этого роскошного букета живых цветов, в первом ряду абонированных мест, сидела семья известного богача, харьковского купца Ломакина. Семья состояла из пожилых лет матери и ожиревшей красавицы невестки, жены старшего сына Ломакина. А посредине их сидела дочь Ломакина девятнадцати лет, по образованию институтка, прелестная Мариамна. Точно редкий цветок тропических стран под наблюдением искусного садовника расцвела она пышной радугой цветов.

С темными, как южное небо, голубыми глазами и с длинными ресницами, из-под которых смотрели задумчивые очи, Мариамна была настоящей красавицей. Прелестная шевелюра ее

волос, почти белого цвета, и высокий грациозный стан ее заканчивали классические черты ее лица.

Однажды когда государь поровнялся с семьею Ломакиных, ординарец его, Адольф фон-Остенблют, пристально посмотрел на Мариамну, и их взоры встретились в первый раз после двухлетней их разлуки. Мариамна не выдержала этого взгляда. Когда-то вспыхнувшее в ее душе чувство любви к этому красавцу-юноше вновь загорелось в ее отзывчивом сердце. Мариамна потеряла самообладание. Голова ее закружилась и она тихо склонилась на плечо своей матери. Император заметил все происшедшее и спустя несколько минут спросил у своих приближенных, кто была эта красавица. Ему немедленно донесли о том, что это дочь богатого купца Ломакина, и при этом рассказали о романе Мариамны, в котором первую роль играл его ординарец, барон фон-Остенблют.

— Скажи мне, как честный офицер, — обратился государь, неожиданно для всех, к Адольфу фон-Остенблют, — ты и теперь любишь Мариамну Ломакину?

— Люблю, ваше императорское величество!— смело и чистосердечно отвечал ординарец.

— И она, как видно, тебя любит?

— Да, и она меня любит!

— В таком разе, что же вам мешает обвенчаться?

— Мой отец согласен на мой брак с нею, но ее отец старообрядец и не может допустить мысли, чтобы его дочь вышла замуж за лютеранина.

— А почему же ты не перейдешь в православие? — спросил государь и посмотрел на своего ординарца испытующим взглядом.

— Ваше величество! — смело ответил ординарец, — я не могу уважать того человека, который способен переменить свою религию ради личных выгод! . .

— Молодец! — сказал государь и потрепал по плечу своего ординарца. — Я беру тебя в Петербург. Ты поедешь со мной, а там мы подумаем о вашем счастье. . .

По окончании маневров государь уехал в столицу и увез с собою влюбленного ординарца. Но молодой Марс,[1] осчастливленный великой милостью монарха, не забыл о своей Мариамне и перед своим отъездом успел переслать ей письмо и получил от нее ответ.

Об одном комическом случае с купцом Животовским много говорили в городе. Этот случай, полный комизма, достаточно характеризует Животовского как человека не злого, но легко поддающегося своим чувствам. Приезд в Харьков государя в этот год состоялся очень рано. Утром, около шести часов, у ворот Университетского сада собралась толпа народа и все начальство города для встречи государя. Здесь же, вблизи ворот сада, стояло несколько шестериков дюжих и хорошо кормленных лошадей, которых держали под уздцы ямщики, одетые в кумачевые рубахи и в поярковых шляпах, украшенных па-

[1] Марс — в римской мифологии — бог войны.

влиньими перьями и ярлыками. Своевременно и благополучно прибыл и отбыл в г. Чугуев государь, встреченный торжественно народом и властями города и сопровождаемый громогласным «ура».

Не успело еще улечься наполнившее душу горожан торжество, как Животовский спешил почти всем и каждому передать о том, что он не только видел проехавшего государя, но что государь даже говорил с ним. Это многих удивило, а другие, зная Животовского как балагура, с недоверием относились к его словам.

— Как же это случилось, что государь говорил с тобою? — спрашивали у него его приятели.

— Да вот как! — спешил он передать: — когда переменяли под его экипаж лошадей, я вскочил на подножку его коляски да прямо ему в лицо как крикну: ура!!! А он мне в ответ: «пошел вон, дурак!» Вот ей-богу же не лгу, а правду говорю! — с восторгом рассказывал добродушный счастливец.

Животовский торговал в Шляпном переулке шляпами и картузным товаром. Он был всеми любим за свой веселый нрав. Маленького роста, с лицом, изъеденным оспой, живой, вертлявый, весьма подвижный, весь его habitus,[1] совместно с характером, напоминали собой священную обезьяну индусов — макаку. Под таким названием он был известен среди своих приятелей. Но он не обижался за это. У него нередко вскользь сказанное слово мгновенно превраща-

[1] По-латыни — облик.

лось в дело. Он был душою кружка и желанным гостем у всех и во всякое время.

До приезда С. А. Кокошкина[1] в г. Харьков в качестве генерал-губернатора, колокольня храма св. Николая стояла особняком на довольно далеком расстоянии от храма. В нижнем этаже этой деревянной колокольни помещались лавочки, в которых продавались люльки (трубки), кресала,[2] кремни, трут, табак, соль, сало, мел и пр. Иногда в праздничный день гончары привозили своей работы глиняную посуду и, расставивши ее вокруг колокольни, ожидали покупателей. Однажды Животовский, отстоявши раннюю обедню, вышел из храма и подошел к одной молодой горшечнице. Указывая своею тростью на кувшин, он свалил его и отбил у него ручку. Взвыла Наталка и напала на купца с упреками и бранью.

— Ах ты, негодная! — вспыливши, крикнул Животовский на Наталку.—Так вот же тебе!..

И обиженный купец пошел вприсядку плясать и выкидывать различные антраша по всей расставленной посуде.

Наталка плакала на всю площадь. Другие торговки обступили плясуна, кричали и толкали его из стороны в сторону. Бабы начали вопить и кричали:

— Ратуйте!

Весь народ, вышедший из храма, наблюдал эту картину, полную жизни и комизма. Гомерический смех, рукоплескания толпы, стоны

[1] Генерал-губернатор Харьковской губернии. О нем см. ниже.

[2] Огниво.

Наталки и вой баб разносились по всей площади.

Уставши до упада и обливаясь потом, Животовский остановился среди развалин глиняного Карфагена и как победитель смотрел на окружавшую его толпу, отирая с лица пот.

— А что, будешь браниться? — спросил он весело у Наталки. — Сколько тебе стоит побитая посуда?

Все торговки сообща начали считать побитую посуду и определили ценность ее в десять рублей. Животовский вынул требуемую сумму и вручил ее Наталке.

Я сказал выше, что Адольф перед своим отъездом в Петербург успел послать письмо Мариамне и получил от нее ответ. В то время этого нелегко было достигнуть, и потому я остановлюсь на этом факте. В то время пробраться в купеческую семью и особенно получить свидание с девушкой было настолько же трудно, как пробраться за стены монастыря в часы глубокой ночи. Но молодость бесстрашная да любовь пылкая способны горы передвигать и пролагать путь там, где стоят твердыни каменные и горят костры пламенные...

То было время, по крайней мере для Адольфа и Мариамны, когда

И любовью жизнь была полна,
И верой в счастье дышала,
Казалось — век была весна
И красота не увядала!..

Адольф придумывал, как и с кем послать письмо Мариамне, прося в этом письме дать ему

категорический ответ, хотя бы только в одном слове, да или нет, на его предложение ждать его из Петербурга. Зная замкнутое, почти монастырское житье Мариамны в доме своего отца, он терялся в поисках modus'a agendi, [1] который бы можно было применить к достижению желаемого. Неожиданный случай помог ему выйти из этого заколдованного круга.

Утром он был в семье своего ротного командира А. П. Булатовского и за чашкой утреннего кофе вел беседу с его женой и дочерью, которые, между прочим, были заняты пересмотром различных кружев и вышивок у бывшей в это время у них маркитантки из Белгорода. Дамы остановили свое внимание на вышитом по тюлю покрывале для стола и не сходились в цене с продавщицей.

— Нет, сударыня! — сказала, наконец, белгородка. — Ей-же-ей я за вашу цену не отдам такую работу. Будь я в Харькове, я понесла бы их к Ломакиным, и они бы дали мне за них что следует.

Для влюбленного довольно было этих слов. По ним, как по канве, он быстро набросал целый узор и начал вышивку.

— Вы не возьмете этого покрывала? — быстро спросил Адольф у своих дам.

— Нет, не возьмем! — ответили дамы.

— В таком случае позвольте мне его купить в подарок pour ma tante. [2]

— Пожалуйста, не стесняйтесь! — поспешно ответили дамы.

[1] По-латыни — метод, способ действия.
[2] По-французски — для моей тетушки.

Адольф немедленно заплатил деньги белгородке за покрывало и просил ее, чтобы она через час зашла к нему по указанному адресу.

Белгородка ушла; дамы поздравили его с покупкой, а барон поспешил предложить своим дамам принять от него это покрывало как память последнего его свидания с ними.

Все кончилось как нельзя лучше и, с надеждою на успех в задуманном деле, он поспешил в свою квартиру, чтобы встретить белгородку и дать ей поручение.

Белгородка не заставила ожидать себя.

Адольф ласково принял ее и, угостив вином и закуской, не торгуясь купил у нее еще несколько ценных вещей.

— А скажи мне, Афросиньюшка, ты часто бываешь у Ломакиных? — спросил ее Адольф.

— Да как же, голубчик офицер, не часто? — как бы обижаясь за недоверие к ее словам ответила белгородка. — Ведь я, голубчик, барышню-то Мариамну выняньчила. А они-то — наши, правоверные старообрядцы. У них в доме своя молельня. А под среду всенощная бывает. А родом-то Ломакин из Стародуба, где самые что ни на есть благочестивые христиане живут и веру держат накрепко.

— Ах, как все это интересно! — притворно восторгался Адольф. — А скажи мне, дорогая моя, и дочка с тобою хороша?

— Да уж так хороша, голубчик офицер, что и говорить нечего! . .

— Закуси же, закуси, Афросиньюшка! — наливая рюмку портвейна, угощал Адольф свою гостью.

— Да уж и так много!.. — Мариамнушка, голубушка сизая, уж вот какая она мне жалкая. Да что и говорить! Невеста — краля бубновая, царица сказочная — да и все тут. И господь-то ей пару назначил, а отец перечит. Не отдам, говорит, не за своего человека, да и конец! А приданого-то за нею, почитай, полсотни тысяч будет.

— А скажи мне, милая, не можешь ли ты отнести ей вот это письмецо и ответ от нее получить? Ведь жених-то ее — это я, Афросиньюшка. А отец ее перечит нашему счастью.

Адольф подал ей маленькое письмецо.

— Да уж это я знаю, как спроизвести для моей золотой Мариамнушки! Вот как сделаю: ни гусь, ни фагот, ни дудка не узнают,[1] как я все сделаю для моей красавицы. Так это, значит, ты, голубчик, ее избранный, желанный? Да какой же ты хорошенький! Тьфу, тьфу!.. чтоб не сглазить!

В этот же день Афросинья была отправлена на тройке наемных лошадей в Харьков. Через два дня на той же тройке Афросинья приехала обратно в Чугуев и привезла обратно его письмо распечатанным. Он бегло пробежал письмо и на конце его, у своей подписи, прочел два слова, написанные ее рукою: «*Твоя Мариамна*»...

Адольфу только и нужно было.

В благодарность за услугу он одарил Афросинью деньгами и, взявши ее адрес, через несколько дней уехал в столицу со свитой императора.

---

[1] Поговорка.

Не менее интересный случай, припоминаю я, совершился в этот раз при выезде государя из Чугуева на обратном пути в Петербург.

Был в Харькове в то время известный всему богатому люду извозчик-лихач Аким Баженов. Он имел собственные тройки лошадей, и все купцы знали его как лучшего троечника, которого нанимали возить их в Москву за покупкою товаров. Во время же больших ярмарок в Харькове Баженов Аким сам ездил на тройке легковым извозчиком. Сбруя его была всегда вычищена и украшена посеребреными бляхами и бубенчиками, подобранными под гамму тонов. Об этом лихом извозчике ходило по городу несколько легенд. Впрочем, легенды о нем слагались не без основания, и многое, выделявшее его из среды ямщиков, составляло для легенд тот raison d'être,[1] который вызвал к ним доверие. Дело в том, что Аким держал себя не как ямщик, а как интеллигент среднего круга. Он был хорошо грамотный, всегда чисто одетый, предупредительный, а главное — идеально честный. И потому о нем говорили, что он был родом дворянин, помещик, страстный любитель лошадей. Он будто бы продал свое имение и на эти деньги начал содержать лошадей и экипажи для выезда. Другие говорили, что Аким Баженов побочный сын одного князя, отданный на вскормление одному выездному извозчику, у которого и пристрастился к лошадям, а потом и сам сделался извозчиком, истративши на приобретение лошадей и экипажей две тысячи руб-

[1] По-французски — смысл существования.

лей, которые были будто бы положены его отцом на его имя в какое-то учреждение. Какая из этих двух легенд ближе стояла к истине, сказать трудно. Но тем не менее Аким стяжал себе любовь и уважение не только со стороны обывателей города, но даже и со стороны богатых помещиков. Впрочем, в годы романтизма, в дни застоя жизненных сил и стремлений, энергия, направленная к израсходованию себя на что бы ни было и во что бы то ни обошлось, была явлением, если не заурядным, то и не редким. Наши поэты и писатели дали нам в своих произведениях не мало таких типов, которые, не имея к чему применить свои талантливые силы, нередко бившие ключом, — начинали заниматься донжуанством, черной и белой магией, вопросами, не совместимыми с требованиями текущей жизни, и даже разбоями. Печорин — Лермонтова, Цыгане (Алеко) — Пушкина, Дубровский — его же, Евгений Онегин, Рудин, — все это правдивые типы тех талантливых людей того времени, которые расходовали свою энергию и силы на жизнь бессодержательную, пустую и далеко не отвечавшую их талантливости. И Аким Баженов, быть может, был одним из таких несчастных, которым суждено было прожить жизнь, испытывая мучения Тантала.[1]

Как я уже сказал выше, Аким Баженов был идеально честный человек, что и доказал он неоднократно. Нередко ему приходилось вла-

[1] Из греческой мифологии: Тантал, наказанный богами, испытывал муки жажды и голода, стоя по горло в воде и видя близ себя роскошные плоды.

деть довольно крупными суммами денег, принадлежавшими богатым купцам, хорошо поторговавшим на ярмарке и перед отъездом в Москву любившим кутнуть, заехавши на всю ночь в ресторан, стоявший далеко за околицей города. Купец нередко имел при себе в кармане по несколько тысяч денег и верил, что Баженов не оставит его без надзора на случай, если он будет сильно хмелен.

Привезя однажды в один из таких притонов купца, охмелевшего до потери сознания, Аким остановил свою тройку в версте от ресторана, вынул из бокового кармана седока толстую пачку денег и, прикрывши его фартуком от саней, привез в таком положении в ресторан, где уложили его спать в отдельном номере.

К вечеру другого дня торговец уже у себя дома совсем оправился и узнал, что деньги у него вынуты кем-то из кармана. Купец крепко призадумался, но никому не сказал о своем горе. Но Аким не заставил себя долго дожидаться. Когда совсем стемнело, он приехал к своему седоку и по докладу приказчика вошел к нему в комнату.

— Что тебе, Аким? — спросил его купец. — С тобою, чай, мне надо расплатиться?

— Да это пустое дело, Петр Фомич! — ответил ему Аким, — а вот получите ваши часы с цепью, да посчитайте, все ли ваши деньги целы.

И Аким положил на стол пачку денег, часы и цепь.

Считаю излишним говорить о том, что купец был поражен до глубины души такою идеальною честностью извозчика-лихача.

Но мы еще не раз возвратимся к Акиму Баженову и потому теперь перейдем к случаю, происшедшему с ним во время проезда государя.

Как лихой ямщик, изучивший в совершенстве езду на тройке и любивший ее чувством артиста, Аким на этот проезд государя из Чугуева в Харьков испросил у начальства дозволение поставить на двух станциях от Чугуева до Харькова два своих четверика лошадей и привезти государя в Харьков. Зная его лошадей и роскошную сбрую, а также его уменье ездить, ему без затруднения дали согласие, и он с восторгом ожидал этого дня. Но во время самого выезда государя из Чугуева, вследствие какой-то интриги, хотя в экипаж государя запряжены были лошади Акима, на козлы кучером был посажен не он, а один из ямщиков казенной почты.

Баженов не вошел в спор и пререкания со станционным начальством. Но едва государь вышел к экипажу, как он уже на коленях стоял у коляски и низко кланялся ему:

— Что тебе надо? — спросил его государь.

— Ваше величество, государь-батюшка, осчастливь лихого своего ямщика, дозволь провезти тебя до Харькова.

— А где твои лошади?

— Лошади запряжены мною в коляску твою, а сесть мне на козлы не велят. А я, государь-батюшка, тридцать лет езжу ямщиком и знаю свое дело, и меня все знают! — смело и толково ответил Аким.

— Спасибо за желание! — ответил милостиво государь. — Садись на козлы и вези меня. Я посмотрю, какой ты ездок.

*

— Государь-батюшка! — с восторгом ответил Баженов, — сам костьми лягу на сырую землю, а тебя, государь, привезу благополучно! . .

Ямщик вскочил на козлы, и лошади, почуяв своего любимого хозяина, весело и дружно тронули с места коляску и легче птицы быстролетной покатили экипаж по грунтовой дороге.

В Рогани Акима уже ожидали его лошади на подставу и потому задержки в упряжке не было никакой.

Приехавши благополучно в Харьков, государь остался очень доволен ездою Акима Баженова, подарил ему пятьдесят рублей и сказал, что он берет его к себе в столицу вторым выездным кучером.

Баженов был в восторге от такой неожиданной милости к нему государя и начал собираться в Петербург. Но что-то не улеглось на его душе; он медлил своим отъездом и с неохотою распродавал свои экипажи. Особенно же ему жаль было расставаться со своими любимыми лошадьми.

— Эх, други мои золотые, лошадушки мои милые! Тяжело мне расставаться с вами, тяжело мне отдавать вас в чужие руки.

Но как бы то ни было, а нужно было собираться в путь, и Аким продал своих лошадей, продал и свои экипажи и с тоской тяжелой по своим коням уехал в Петербург.

Недружелюбно принял Акима Петербург. Климат северной столицы плохо повлиял на него, и он на первых же днях своего приезда, не сделавши ни одного выезда с государем, заболел и на три недели слег в постель. Затем

пошли контры и интриги среди сослуживцев, и ему казалось, что весь царский двор вооружился против него и питает к нему затаенное зло. Не раз пришлось ему увидеть умышленные подвохи под него в делах, касавшихся его ответственной службы. И вспомнил он про родину, перенесся мыслями в Харьков, где он среди своей братии по ремеслу был первым, где и млад, и стар ямщик шли к нему за советом и кланялись ему; вспомнилось ему и то время, когда не только купцы, но и помещики уважали его и на случай покупки или выездки лошадей шли к нему за советом и поручали ему осмотреть и приготовить для них пару-две лошадей. А тут среди роскоши и полного довольства он — последний, его никто не хочет знать, его обходят даже с умыслом.

Вот уже третий месяц он живет во дворе царском — и все еще ни разу не выезжал ни с кем из придворных лиц. А о государе и говорить нечего. Его светлые очи за все время он видел только раз — когда его представляли, в скорости по его приезде.

Затосковал Аким Баженов по Харькову, испросил себе отставку за болезнью и в декабре выехал в Харьков, а на праздник рождества Христова он уже ездил с седоками своею тройкой на катанье, о котором я в свое время поведу речь.

Для большинства людей дни проходят быстрой чередой, слагаясь в недели. Но для Мариамны дни ползли улитой, и не было утра, чтобы она, стоя на молитве перед темными ликами

святых домовой молельни, не просила их, да приснится ей в грядущую ночь сон вещий и да поведает он ей о нем. И она время от времени повторяла строки из его письма: «жди меня, и я приеду за тобой и увезу тебя, и перевенчаюсь с тобой».

— Кажется так! — спрашивала она у своей памяти и, не получая от нее категорического ответа, сожалела о том, что не оставила себе его письма.

Не раз уже она обращалась к матери, чтобы послать за любимой няней Афросиньей, так как ей будто бы неотлагательно нужны были кружева, или же просто она соскучилась, давно не видавши ее. Но ни сны, ни даже Афросинюшка своим присутствием не могли успокоить ее тоскующего сердца. Она не на шутку начинала тосковать, терпение ее оставляло, и горькое чувство сомнения, как змея, заползало в ее душу, обдавая холодом ее ум и сердце.

Она начинала обвинять самое себя. Ей начинало казаться, что она не так написала ему ответ, что из ее двух слов «твоя Мариамна» ничего нельзя было ему понять, что он совсем не приедет за нею.

Но всему бывает конец. Пришел конец и ожиданиям Мариамны. Барон Адольф фон-Остенблют получил отпуск в Малороссию на три месяца и, заручившись разрешением на женитьбу, приехал в Харьков, захвативши по пути из Белгорода Афросинью.

Мариамна повеселела и с каждым днем как роза расцветала. Она любила Адольфа всею силой своей девичьей души, и брак с ним пред-

ставлялся ей высшим счастьем, за миг которого она готова была заплатить своею жизнью.

Это чувство пылкой девичьей души еще более окрашивалось в радужные цвета счастья тем, что он не общепринятым путем, как всем объявленный жених, приедет и перевенчается с нею, нет, он увезет ее, и никто об этом не узнает. Как много поэзии в этом! Как много счастья обещает такой брак! Все это напоминает интересную страницу из романа...

Думаю, что читателя не удивит такой взгляд девушки, получившей лучшее образование того времени. Романтизм, привитый романами французской литературы, вполне совпал с высотою тогдашнего уровня нашего общества. Особенно же романтизм пришелся по душе русской женщине, которая, живя замкнутою в железное кольцо жизнью, искала свободы, нередко до самоотвержения. И чем богаче была семья, в которой расцветала молодая жизнь девушки, чем более соприкасалась эта семья с высшим кругом общества того времени — тем крепче сжималось это железное кольцо.

А между тем ум не спит, сердце работает энергично, и душа рвется куда-то вдаль. Она, не переставая, чего-то желает, ищет, ждет и, как дитя, не умеет объяснить своего положения...

Поэтому выйти замуж с тайным побегом, — такое детское желание, идущее вразрез с развитым умом, — в те дни было явлением обычным.

Какой русский человек равнодушно отнесется к быстрой езде на санях по пушистому

снежному пути, когда под полозьями саней снег скрипит, а лошади бегут, бегут, забрасывая седока снежною тонкою пылью, которая старику седины скрывает, а молодежь, точно на-смех, сединой дарит! Но еще заманчивее, еще поэтичнее езда на тройке при хорошем искрометном морозе в тихую лунную ночь. Езда с бубенцами, подобранными под тон, в санях, обитых хорошим ковром и укрытых медвежьею полостью, в санях широких, мягких, точно взбитая перина!.. И сидит в них лебедушка-красотка, прячась от мороза и прижимаясь к плечу сердечного дружка, красна-молодца...

Лихой ямщик, сидя на облучке, в сивой бараньей шапке, махнет кнутом по всем по трем, взглянет на своих седоков и на роскошную долину, облитую светом луны... Точно скатертью волшебною протянулась долина от востока и до запада!.. Взглянет он раз и два на эту картину, полную величавой красоты и скрытой от всех энергии жизни, и забьется в нем его чуткое сердце. Свистнет он соловьем-разбойником, молодецким посвистом, ударит слегка по пристяжным буланым, и помчится лихая тройка, точно от сна встрепенется сокол поднебесный, а с нею и ямщик повеселеет, точно с морозом спор заведет, и затянет он звонким голосом песнь о том,

Как лебедка молодая,
Добра молодца любила;
А свекровь — старуха злая —
Ее журьбой изводила...

Дорога сердцу русскому езда по зимнему пути не только тройкою, но и в парных санях и на

рысаке в саночках-самокаточках. И в прежние годы наш Харьков конкурировал с Москвою лихой ездой по зимнему пути, а в крещенскую ярмарку на Екатеринославской улице с двух часов дня устраивалось ежедневно катанье. Все приезжавшее на ярмарку купечество шло на эту улицу-красавицу, и тротуары обеих сторон ее были полны гуляющей публикой. Купцы-старики ходили, а молодежь ездила на лихачах-извозчиках или на тройках, разубранных бубенцами и бляхами. У концов тротуаров, по обеим сторонам улицы, начиная от моста и кончая Дмитровской церковью, ехали медленно, гуськом, сани за санями. Купеческие жены в тысячных шубах вывозили своих дочерей, которые уже окончили свое образование. По средине улицы ходил полицейский надзор и строго наблюдал, чтобы никто не въезжал во внутрь круга и тем не нарушал стройности цепи катающихся. Во время таких катаний молодые купцы выбирали себе невест, а старики-отцы производили оценку шуб, лошадей и саней, соображая при этом, какое приданое можно получить за дочерью из той или другой семьи. И для многих девиц катанье на Екатеринославской улице было прямым путем к замужеству. Для некоторых достаточно было сделать два-три выезда на катанье, и девица уже была нареченной невестой приезжего купца. Впрочем, катанья эти были еще интересны и потому, что представляли собой выставку самых разнообразных и дорогих мехов, зимних экипажей и заводских лошадей. Соболь, куница, песец, илька, камчатский бобер, чернобурая лисица — постоянно сменяли друг

друга, оспаривая друг у друга пальму первенства. Сани с медвежьей полостью, ореховые, ковровые, плетеные, четырех- и двухместные, кичась одни перед другими, спорили друг перед дружкой красотой и легкостью хода. Лошади лучших заводов, подобранные под масть и рост, завершали роскошь картины, и не мало было лошадей, пара которых стоила от двух до трех тысяч рублей. Но, конечно, венцом красоты и прелести картины — были красавицы-девицы, которые привлекали к себе взоры всех гуляющих. Среди этого букета цветов не блекших, а красневших от мороза, не раз привлекала своей красотой внимание гулявших и Мариамна Ломакина.

Любители быстрой езды во время катания высматривали друг друга и как бы делали вызов. Сделавши два-три круга и поровнявшись с какою-либо улицею, пересекавшей Екатеринославскую, любители быстрой езды поворачивали в сторону и освобождались от цепи. Побочными улицами выезжали они на Сумскую улицу и направлялись к Валковскому лесу, ныне известному под именем Сокольников. Тут лошадям давался полный ход, и душа седока наслаждалась широким простором быстрой езды, от которой дух замирал в груди и сердце трепетно билось. А мороз к вечеру уже начинал крепчать. Вздымалась снежная пыль от копыт. И лошади, почуяв ширь и свободу, без устали летели все вперед и вперед.

За парными санями, запряженными парою тысячных лошадей, по направлению к Валковскому лесу, на легковых саночках, на лихом ры-

саке, ехал молодой купец Медведев. Он старался не отставать от парных саней, в которых сидела семья богатого купца Кожевникова.

Медведев был неравнодушен к Надежде Петровне Кожевниковой и искал ее взаимности. Медведев то догонял, то перегонял сани с молодой Кожевниковой, которая, щуря глазки от морозного ветра и согревая свое лицо собольей муфтой, как будто не смотрела на того, кто преследовал ее. Но в то же время, когда Медведев поровнялся с парными санями, конь его метнулся в сторону, испугавшись внезапно налетевшей на них тройки лихача-извозчика Акима Баженова. В санях Акима сидели три богато одетые дамы, которые, поровнявшись с Медведевым, громко крикнули ему свое приветствие:

— Миша! Вечером к нам, не забудьте!..

Стрелою помчался Аким, и голос любезных дам замер в морозном воздухе. Сани Кожевниковых повернули обратно к городу, а Медведев, не обратив внимания на приглашение дам, поехал вслед за санями. Пустивши своего рысака полной рысью, Медведев не заметил, как вышел из-за угла человек, которого он сбил с ног и переехал своими саночками. По тогдашнему обычаю за такие проступки ездок наказывался тем, что его рысака отбирали в собственность городской пожарной команды. С горьким разочарованием пришлось влюбленному молодцу встретить утро следующего дня. Тысячный рысак уже стоял в конюшне пожарного депо. Но что рысак в сравнении с красавицей-невестой?! Были бы деньги, а рысак будет!

Так рассуждал сам с собою Медведев и того же дня послал сваху в дом Кожевниковых с целью узнать, какого они мнения о его намерении! Но...

> Знать, уж молодцу не венчаться с ней
> И не звать ее ненаглядной своей.

Сваха принесла неожиданно резкий ответ:

— Кланяйся своему жениху, — ответила Кожевникова, — и скажи ему, пусть он женится на той, которая ждет его к себе вечером!

Только теперь вспомнил жених о трех дамах, приглашавших его к себе!

Но молодость — сама надежда. И потому Медведев скоро успокоился и вошел в обычную колею жизни, надеясь на время.

Крещенская ярмарка подвигалась к концу и становилась весьма многолюдною. Приезд купцов с юга России за покупкою товара, а также московских купцов и фабрикантов, предлагавших товар, был неожиданно велик. Торговали все весьма бойко, и платежи были особенно исправны. Богатые городские купцы делали частые вечеринки и даже балы, приглашая к себе москвичей и купцов городов юга России, конечно не с одной целью укрепить за собой кредит и сбыт товара на будущее время, но и с целью посватать своих дочерей, которых каждый день вывозили на катанье. Мариамна Ломакина уже была на очереди. Один московский фабрикант уже сделал предложение ее отцу, как и всегда, минуя невесту, и от отца получил уже полное согласие. Ломакин назначил за своею дочерью пятьдесят тысяч рублей, или, как тогда выража-

лись пятьдесят мешков серебра.[1] Мариамне и Адольфу нужно было спешить что-нибудь предпринимать, не откладывая дела в долгий ящик. Афросинья не теряла времени и приискивала способы, которыми можно бы было воспользоваться, чтобы привести в исполнение задуманное предприятие, хотя уйти со двора, кругом запертого и охраняемого дворниками, кучерами и рабочими оптового склада товаров, было не так легко, как, быть может, казалось Марьяше. Но талантливой белгородке все было возможно. Адольф, не показываясь в городе, давно уже подготовил все необходимое для отъезда своей невесты. Им был привезен из Москвы теплый возок со всевозможными приспособлениями для продолжительного зимнего пути. По первому требованию, в какое бы ни было время, Аким Баженов должен был поставить на тридцативерстном расстоянии все свои шесть троек и притом подать тройку к указанному ему месту. Затем, на протяжении четырехсотверстного расстояния по окольному и ближайшему пути были расставлены тройки из имения Адольфа. Все было приспособлено для быстрой езды, без потери времени и долгих остановок.

Двор Ломакиных помещался на Конторской улице, где в настоящее время находится фабрика Кромского. Двор был не столько широк по улице, сколько длинен в глубину и заднею своей частью выходил к реке Лопани. На этой задней стороне двора между звеньев высокого забора, стояла семейная баня Ломакиных, без которой

[1] Каждый мешок серебра в то время заключал в себе тысячу серебряных рублей (целковых).

в то время ни один богатый дом не обходился. А у самой бани в заборе была маленькая форточка[1] служившая выходом на реку для снабжения бани водою.

Несколько вдали, на противоположном берегу реки, в вечер, назначенный для побега, стояла тройка Акима. Мариамна со своей няней Афросиньей в этот вечер должна была быть в бане, почему баня была натоплена и ожидала ее в урочный час.

Одевшись тепло и взявши с собою только маленькую шкатулку с гребнем и шпильками, Мариамна вместе с няней пошла в баню. Двор был пуст, прислуга вся ужинала в большой людской кухне, и они прошли по двору никем не замеченные. Не входя в баню, они отперли калитку и с возвышенного берега реки спустились на лед. Но тут с Мариамной случился небольшой казус. Непривычная ходить по скользкому пути, она поскользнулась, упала и сползла по откосу берега на лед реки, уронивши из рук шкатулку, из которой разбросались вещи по льду.

Афросинья в испуге поддержала Мариамну и начала собирать вещи, выпавшие из шкатулки. Но двух больших булавок и черепахового гребня не было. Время было дорого для того, чтобы расходовать его на розыски вещей, и потому они поспешили к тройке, решив, что гребень и булавки упали в прорубь, которая была у самых ног упавшей Мариамны.

Еще две-три минуты, и они были на другом берегу реки. Аким, как галантный кавалер, по-

[1] Калитка.

садил их в возок и тщательно окутал их ноги одеялом на лисьем меху.

Все было готово, и возок двинулся в путь.

Для Акима было пустяком довезти быстро и благополучно Мариамну к месту назначения. Но на свое дело смотрел Баженов как артист смотрит на роль, данную ему для выполнения. Он был занят мыслью не только довезти до места красную девицу, но и скрыть следы своего пути, запутать колеи возка и след лошадей,

Чтобы девицу не нашли, да не отняли,
Чтобы красную да в полон не взяли.

И Аким быстро поехал прямо, потом круто повернул в обратный путь и, проехавши некоторое расстояние, опять крутым поворотом свернул в сторону, промчался по глухому переулку, постоял у чьего-то подъезда и, повернувши назад, быстро выехал в поле, расставшись с городом. След его возка был так сбит и спутан, что следя за колеей полозьев, можно было думать, будто несколько троечников и одиночек проехали туда и обратно по разным направлениям. И несмотря на искусственное удлинение пути он все же за два часа времени был уже в тридцати верстах от города и делал новую упряжку стоявшей там наготове тройки.

Адольф встретил Мариамну глубоким поклоном и только позволил себе поцеловать ее руку. Предложивши ей чашку чаю, который уже был приготовлен в особой комнате постоялого двора, и получивши согласие от Мариамны ехать дальше, он усадил ее в возок, и поезд тронулся в путь.

Как весьма типичный случай, который характеризует взгляд того времени на бедный люд, я нахожу не лишним привести факт из служебной деятельности полицейских чинов того времени. Факт этот не может быть причислен к единичным случаям и потому является обобщающим нравы и обычаи того времени.

В настоящее время, сравнительно говоря, в Харькове достаточно развита благотворительность: церковно-приходские попечительства о бедных, ночлежные дома, приюты для детей и проч. и проч. достаточно подтверждают сказанное мною. То же нужно сказать и о врачебных и санитарных условиях, развившихся в Харькове с шестидесятых годов. Городские лечебницы и расширение земского богоугодного заведения (Сабурова дача), детские больницы и, наконец, целый ряд частных лечебниц и санаторий убеждают нас в том, что стремление к улучшению общественной жизни и к развитию общего блага в наши дни заметно прогрессирует.

В старые годы ничего этого не было. В городе не было ни одной городской больницы, и только Сабурова дача давала приют страждущим. Но далеко не все заболевшие могли найти приют в этом учреждении. Многие лежали по квартирам и лечились кой-чем, не получая медицинской помощи. Что же касается бедноты, то, не находя для себя общественных учреждений, она удовлетворяла свои нужды кой-как, от руки неоскудевавшей милостыни. Так жили люди изо дня в день, из года в год, и никому не приходило в голову поднять вопрос об открытии и учреждении какого-либо общества с благотво-

рительной целью. А между тем в то время, как и теперь, временами свирепствовали эпидемии тифа, лихорадки, скарлатины и прочих недугов. Каждую осень бедный люд платил горькую дань всем этим недугам.

И вот в один из таких злосчастных периодов, горничная Даша, лет шестнадцати, служившая в семействе квартального Стуколкина, заболела лихорадкой. Тогда, как и теперь, не любили больной прислуги и даже болезнь ее ставили ей в вину. Теперь заболевшую прислугу спешат отправить в больницу, где, конечно, и надзор лучший и больше средств к лечению. В те годы, как я уже сказал, больного приютить было некуда. Заболевшая прислуга на первых днях своей болезни кой-как ютилась у хозяев, где она жила, но потом, если болезнь затягивалась, ее, не церемонясь, выгоняли на все четыре стороны.

Лихорадка, захватившая в свои руки горничную Дашу, уже более двух месяцев держала ее в своих руках. Общий врач всего чиновного люда и мелкого купечества в то время был доктор Рейпольский. Он лечил Дашу от лихорадки настоем из листьев сирени. Но лихорадка не уступала лечению, и Даша уже прибегала к гаданию и симпатическим средствам, из которых носить на груди крыло летучей мыши зашитым в мешочек считалось самым сильным средством от лихорадки. Но и это средство не помогало. Лихорадка делала свое дело, и Даша исхудала и побледнела, потерявши последние силы.

Но и Стуколкиным наскучило иметь больную прислугу, которую даже искусство Рейпольского не могло излечить от лихорадки.

Однажды какой-то палестинский монах, прибывший в Харьков за сбором для монастыря, был в семье Стуколкина и увидал болящую Дашу.

— Что эта девица, вижу, страдает? — спросил он у сидевших и угощавших его хозяев.

— Да вот, как видите! — отвечала хозяйка. — Третий месяц лихорадка ее мучает. И ей горе, и нам беда без прислуги.

— А у нас в Палестине лихорадку крапивой лечат, — сказал монах.

— Как так крапивой?

— Да, видите ли, жаль, что теперь уже зима началась. А вот весною, когда нарастет молодая крапива, у нас нарвут ее пучок — два, да и высекут ею хорошенько больного. И лихорадку как рукой снимет!..

Побеседовал палестинский монах и ушел. А о целебном свойстве крапивы слышал и сам Стуколкин.

Не задаваясь вопросом, растет ли в Палестине крапива, квартальный остановил свое внимание на том, что ее теперь уже нельзя достать до весны. Между тем, было бы весьма желательно вылечить Дашу от лихорадки.

Подумавши вельми-зело, сердобольный квартальный пришел к убеждению, что крапиву с успехом можно заменить розгами, так как секрет лечения тут заключается в том, чтобы произвести усиленное отвлечение крови к одному месту. Остановившись на таком выводе в своих рассуждениях, Стуколкин однажды, когда Даша была охвачена сильным пароксизмом лихорадки, не говоря никому ни слова, повел больную

в полицейский двор и в сарае с помощью двух пожарных солдат высек ее по всем правилам искусства. Даша, после приема такого лекарства и в такой дозе, даже не могла встать с места. Поднялся общий протест против такого лечения, и даже полицеймейстер Серебряков сурово посмотрел на нового врачевателя лихорадки в мундире квартального надзирателя.

— Эх ты, остолоп, медный лоб! — сердито сказал ему Серебряков. — Тебя бы, дубину, полечить этим средством!

Но каково же было всех удивление, когда Даша, оправившись дня через три после этого лекарства, излечилась навсегда от лихорадки, которая ее оставила!

Стуколкин торжествовал, а весть об излечении лихорадки посредством розог быстро распространилась по городу, и любители приносить пользу ближнему начали употреблять такое средство, благо что в те годы всякий имел право сечь другого, если был сам застрахован от розог гильдией, чином или дворянством. Любовь к применению этого средства от лихорадки настолько развилась среди обывателей, что за всякую неисправность прислуги отсылали ее в полицию с просьбой «полечить ее от лихорадки».

Но как ни радикально было лечение розгами и как ни применял его с уменьем Стуколкин по просьбе обывателей, а все же и тут сказалось на всякого мудреца довольно простоты. Однажды к нему была препровождена женщина с просьбой полечить ее от лихорадки. Стуколкин применил к ней лечение в полной силе. Но дело

окончилось весьма плохо. Женщина, готовясь быть матерью и принявши непомерную дозу лекарства, преждевременно родила и умерла от сильной потери крови. Ретивый врач-квартальный был уволен от должности, но лечение лихорадки розгами долго еще сохраняло за собою авторитетность...

Адольф, далеко опережая возок Мариамны, ехал в открытых санях, встречая ее каждый раз при новой перемене лошадей. Мариамну все время сопровождали четыре верховых лезгина, что очень нравилось ей и интересовало ее. Она все время была в веселом настроении духа. Картина ухода ее из дома родителей, ее быстрый побег через реку, заботы Афросиньи и даже падение ее с бугорка крутого берега реки и хлопоты Акима о тепле ее ног — все для нее было так ново, так полно таинственности и так напоминало ей сцены из прочитанных ею романов, что она радостно посматривала в зеркальные окна своего возка, постоянно обращаясь к своей няне, прося ее взглянуть то на даль уходившей от нее дороги, то на березу, покрытую серебристым инеем мороза, то на хатенку, стоявшую в стороне от дороги. В окне убогой хатки, точно две лампады, горел огонек в двух окошечках. И думалось ей, что в ней живут добрые люди и мир и любовь вечно живут с ними. А луна щедрою рукою разливала свой причудливо-таинственный свет по широкому раздолью бесконечной степи. И по гладко-снежной пелене тысячами искр морозной пыли блестела степь беспредельная... Но не то было на душе у Афросиньи. Она всю дорогу была молчалива,

часто вздыхала, осеняя себя крестным знамением, и часто вспоминала об утерянном гребне.

— И что ты, милая, о гребне хлопочешь? — успокаивала ее Мариамна. — Он не дорого стоит, и Адольф мне новый купит.

Но не один гребень навевал на Афросинью тяжелые думы, и то, что Мариамна упала, и то, что она скатилась вниз по наклонной плоскости, и даже долгое шатанье Акима по улицам города — все это она приняла за плохое предзнаменование и не могла успокоиться. Она верила в судьбу и в предзнаменования. Верила она, что:

Есть что-то в жизни тайное,
Стихийное, случайное...

Хорошо кормленные заводские лошади мчали возок по пушистой санной дороге, унося Мариамну все дальше и дальше от ее родного города. Наконец вдали показалось большое село, на окраинах которого в избах крестьян блестели огоньки, точно Ивановы червячки на темных листьях лещины. А посреди села высился к небу своими куполами деревенский храм. Был поздний вечер, и Мариамна уже не первую ночь встречала в пути, одна, под слабой защитой Афросиньи. Она опустила стекло дверцы возка и с любопытством ребенка смотрела на село, которое все яснее и яснее вырисовывалось на горизонте. В это время лезгин на коне подъехал к ее окну, чтобы спросить, не нужна ли ей в чем-либо его услуга. Мариамна вдыхала в свою молодую грудь морозный воздух наступавшей ночи.

— Чье это село? — спросила она у лезгина.

— Это село Свободино барона Остенблют! — ответил лезгин с акцентом восточного человека.

Мариамна ближе подвинулась к окну и пристально смотрела в даль на широко раскинувшееся перед нею село Свободино. В сельском храме ударили в колокол к вечерне, и унылый звук деревенского колокола разлился по морозному воздуху и струею ветра донесся до слуха Мариамны.

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он...

Она перекрестилась, и в первый раз глубокая дума легла на ее чело. Ей вспомнился и отчий дом, и ласки матери, и слова любви и привета сурового отца ее, их испуг после ее ухода, и наконец ее будущее, которое вот-вот должно выразиться чем-то хорошим, чем-то похожим на полное счастье... Мариамна так самоотверженна, так наглядно доказала Адольфу свою любовь. Почти одинокая, в глуши, среди морозной лунной ночи стояла она перед ним, от которого в те минуты зависела и честь ее, и жизнь... Но, как джентльмен и аристократ, он только позволял себе с глубоким уважением поцеловать ее руку. И что же? В праве ли она сомневаться в нем и бояться за свое счастье?

Она глубоко вздохнула и, опустивши голову на грудь, тихо прилегла к бархатной стенке возка.

— Что с тобой, моя голубка? — спросила ее Афросинья и перекрестилась, услышав вновь призывный к молитве звон.

Мариамна, как ребенок, залилась слезами и, обнявши свою няню, упала на ее грудь. А звуки

колокола все чаще и чаще доносились до ее слуха, мерно рассекая морозный воздух спустившейся на землю ночи...

— Ах, Фросюшка, няня моя дорогая! — обнимая Афросинью, говорила Мариамна, заливаясь горючими слезами. — Помолись, голубушка, обо мне, а я буду плакать. Так отрадно, так хорошо плакать, и я хочу плакать!..

— Да о чем же, милая? — недоумевая спрашивала ее Афросинья.

— Ах, обо всем, обо всем, дорогая! Не мешай же мне, дай мне выплакаться!..

Между тем Свободино становилось все ближе и ближе. Сани Адольфа, опередивши возок, уже скрылись в узкой улице села. Он подъехал к паперти церкви, встал из саней и вошел в храм, в котором уже два дня как было все готово для венчания.

Вскоре подъехала в возке Мариамна, которую, совместно с священником, встретил Адольф и ввел в церковь. А тем временем конвоировавший лезгин поскакал в усадьбу оповестить старого барина о том, что приехали его сын со своей невестой и в храме началось венчание.

В те годы не было банков, куда бы можно было скромному труженику положить на хранение сбереженные им рубли. Не было и кредита для тех, которые нуждались в нем для расширения своего торгового дела или для оборота вообще, дающего нередко хороший заработок в продолжение нескольких часов. Но при всех насущных и неотложных потребностях жизни, если нет на-

стоящего жизненного материала, то взамен его является суррогат, который, как известно, не всегда полезен, но почти всегда вреден. Во время голода вместо ржаной муки употребляют древесную кору, хотя такая пища далеко нежелательна. А вместо кредитных учреждений в те годы в Харькове были богатые торговцы, которые давали деньги в кредит, но на оригинальных условиях, характеризующих нужды промышленников и алчных заимодавцев того времени.

Из числа таких выдающихся заимодавцев был богатый купец Игольников. Он торговал в «панском» ряду красным товаром дешевой расценки, который преимущественно шел для простонародья через разносчиков, ходивших и ездивших с товаром по селам и деревням. Но так как ходкая продажа офенями[1] товара по деревням и селам была в тесной зависимости от урожая хлеба, то Игольникову нередко приходилось отпускать товар коробейникам в кредит, а также и отсрочивать им долг за товар, уже купленный у него, но не проданный по случаю застоя спроса. Как практический торговец, он не отказывал своим покупателям в кредите, но соглашался на отсрочку или на новый кредит при весьма своеобразных и оригинальных условиях. Он имел обыкновение забирать у своей жены, а также и у дочерей своих старые платья и разные принадлежности туалета. Хранил он все эти предметы в особом шкафу в своем кабинете. Также хранил он старые экипажи, изломанные или вышедшие из моды. Если кто-либо прихо-

[1] Разносчиками.

дил к нему с просьбой дать ему взаймы под вексель денег, отпустить в кредит товару или отсрочить платеж по векселю, он соглашался на такие предложения и просьбы и в свою очередь предлагал своему кредитору или просителю, чтобы тот купил у него старое женино платье или же старые дрожки, сани, тарантас и даже чепец, который жена уже перестала носить. И такие условия всегда были conditio sine qua non.[1] И стесненный нуждою кредитор должен был соглашаться на условия Игольникова и покупать у него что-либо из предложенных ему предметов.

— Вот что я тебе скажу на все твои слова! — говорил офене или мелкому базарному торговцу Игольников. — Ты у меня купи дрожки и я тебе отсрочу должок. Пойдем, я тебе покажу.

— Да на что же мне дрожки? — с удивлением спрашивал его офеня.

— Как на что? .. А не купишь дрожек, так купи у меня женино платье с чепцом.

— Да и платье мне не нужно, а чепец и подавно.

— Да ты, я вижу, глупый человек! Ты посмотри, какой чепец! Жена в нем у губернатора на балу была, а ты не хочешь покупать!

— Да куда же я с ним денусь, с чепцом-то вашим?

— Как куда? Да ты только в деревне покажи его поповне или дьяконихе, так они у тебя его с руками оторвут. Ты на нем деньги наживешь!

[1] По-латыни — необходимое условие.

— Да пусть уж кто другой наживает на чепце деньги, а меня уж увольте!..

— Ну, так вот же что! Ты купи у меня бурнус моей дочери. Ты понимаешь — моей дочери!

— И на что мне бурнус? — отнекивался истомленный нравственною пыткою офеня.

— Ну, пойдем, дрожки покажу.

— И на что мне дрожки?

— А не хочешь ничего у меня купить, так пошел вон, и завтра я тебя в кутузку посажу и весь товар отниму.

Ничего не оставалось делать офене, как итти в сарай с Игольниковым и покупать у него дрожки.

— Вот это дрожки? — говорил офеня, осматривая кругом какие-то развалины. — Дрожки совсем развалились, а вы их за экипаж продаете!

— Ты глупый человек! Ты посмотри, какие они были, да чьей работы! А цена им — и говорить нечего — даром отдаю!

— Да за сколько же вы их отдаете?

— Совсем задаром! Возьми за триста рублей! Я деньги подожду.

Начинался договор, который нередко переходил в крупный разговор. Но всегда кончалось тем, что офеня сам впрягался в дрожки и увозил их со двора, а триста рублей приписывались к сумме векселя.

Да не удивляется читатель, что офеня сам впрягался в дрожки и увозил их со двора. Дело в том, что были случаи, когда, по окончании сделки, купивший что-либо приходил получать вещь и вместо нее получал внушительные дерзости с угрозами и бранью.

Другого типа заимодавец того времени был С. К. Костюрин. Он торговал вином и сам пил его каждый день как воду, встречая и провожая солнце с бутылкою лиссабонского в руках. Его резиденция была в погребе, помещавшемся более пятидесяти лет в доме Карпова, ныне — Питры.[1] В погребе была комната, в которой всегда сидел Костюрин, и называлась она «Капернаумом». И вот в этот-то «Капернаум», кто имел нужду в деньгах, спускался по крутой лестнице, чтобы увидеть всегда там пребывавшего Костюрина.

Какой-то мудрец сказал, что предпразднество всегда приятней торжества. Вероятно, этому мудрецу не раз в жизни пришлось проверять это изречение на самом себе. Но и Мариамна готова была подтвердить собственным опытом изречение мудреца. Был свадебный бал, и баронесса на нем блистала звездой первой величины. Но и после бала пир продолжался более недели, пока, наконец, и хозяева и гости устали, пресытились и изнемогли. Все разъехались по своим имениям. Усадьба барона начала пустеть, и обширный двор, еще так недавно многолюдный и полный людского говора, как будто приуныл, заскучал и призадумался. И Мариамна, отдохнув от приема гостей, от обедов, вечеров и катаний на тройках, начинала скучать. Деревенская жизнь с ее однообразием и тишиной ее не удовлетворяла. Она

[1] Ныне на пл. Тевелева, бывш. Николаевской.

искала чего-то нового, еще не испытанного ею. Она хотела видеть свет.

Душа ее стремилась к жизни новой
И сердце жаждало тревог...

А между тем время шло, и срок отпуска Адольфа приближался. Она это знала и, не говоря ничего Адольфу, в молчании ожидала, что он сам объявит ей день их отъезда в столицу. И она не ошиблась. День отъезда в Петербург был назначен, и быстро начались сборы в дорогу. Старик адмирал тоже порешил оставить деревню и ехать в столицу вместе с детьми, чтобы жить с ними вместе и не расставаться более.

У Мариамны было заветное желание — примириться с родными и повидаться с своей матерью, которую она любила горячо.

Ни муж, ни отец не противоречили ее желанию, и даже для этой цели путь был назначен на Харьков, несмотря на несколько верст кругу.

Афросинья была оставлена в имении в качестве смотрительницы за домом. По ее указаниям были отправлены люди для переговоров в дом Ломакиных. Но на вопрос, позволит ли отец приехать Мариамне к нему для свидания, — последовал суровый ответ:

— Какая дочь? — ответил Ломакин. — У меня дочери нет, а чужих я не принимаю!..

Давши такой ответ, Ломакин к вечеру того же дня приказал подать себе тройку и уехал из города. А мать баронессы, воспользовавшись его отсутствием и не дожидаясь приезда дочери, сама приехала к ней и была принята с искренним радушием как дочерью, так и ее мужем, со-

вместно с старым бароном. Погостивши у матери более недели, баронесса выехала в Петербург.

На другой день после отъезда баронессы рабочий Ломакина начал собираться в отъезд, о чем заявил сыну Ломакина.

— Куда же ты едешь? — спросил его молодой хозяин.

— Да нешто вы не знаете? — с удивлением спросл его рабочий. — Батюшка ваш, отъезжая из города, приказал мне оповестить его, когда выедет из города сестрица ваша.

— Значит, ты знаешь, куда отец уехал?

— Да как же не знать? Он уехал в свой лес, за тридцать верст отсюда. Чай, думаю, он там у лесника, сидя в землянке, занудился. Ну что там? Известное дело — волки да собаки лают — вот и все! . .

Молодой Ломакин сдвинул плечами и отошел от словоохотливого рабочего, который, собравшись в дорогу, на санях в одну лошадь, выехал в лес в качестве курьера.

Первые три года своего замужества Мариамна каждое лето ездила в свое имение и каждый раз останавливалась в Харькове, посвящая несколько дней для свидания с матерью и для переговоров о примирении с отцом. Но всегда успевая в первом, она, несмотря на старания матери, не могла иметь успеха во втором своем желании: отец не хотел ее видеть, и каждый раз с ее приездом в Харьков он уезжал из города, как будто им вдвоем в Харькове не было места. Даже когда баронесса Мариамна привезла своего первенца, Гришу, Ломакин не пожелал видеть ни дочери. ни внука и опять уехал из

города. Прошло более пяти лет. Молодой барон Григорий фон-Остенóлют уже стал на ноги и был весьма интересным мальчиком.

Однажды баронессе было подано письмо, в котором мать ее уведомляла ее, что отец ее лежит больным в безнадежном положении. Мариамна немедленно выехала в Харьков с тою же заветною целью — чтобы получить прощение от умирающего отца. Она застала отца в последний день его жизни. Но и в эти тяжелые минуты жизни железная воля отца осталась непреклонною, и он умер, не желая принять дочь свою, решившуюся своим побегом осрамить его седую голову...

Афросинья все эти неприятности Мариамны с отцом приписала потере ею гребня...

Я обещал познакомить читателя с заимодавцем, который давал крупные суммы под залог недвижимого имения, и упомянул вскользь о С. К. Костюрине, постоянно пребывавшем в своем погребе, в комнате, прозванной «Капернаумом».

Условия, при которых можно было взять взаймы у него денег, тоже были своеобразны, хотя совсем не походили на условия Игольникова. Первое, что должен был сделать каждый кредитор, — это купить у Костюрина бутылку лиссабонского и выпить с ним, хотя бы он никогда ничего не пил. А затем, когда бутылка была выпита, Костюрин предлагал вынуть кончик носового платка и если кончик платка вынимался с узелком, то вторая бутылка ставилась на стол тем, кто вынимал узелок. Но как-то

всегда случалось так, что узелок доставался пришедшему занять денег.

— Я не пью! — говорил кредитор, отвечая на предложение купить бутылку вина.

— А не пьешь — ступай к чорту, и денег не дам! — отвечал ему Костюрин.

Нечего было делать, — нужно было покупать бутылку лиссабонского, а затем другую и третью...

Посещение «Капернаума» оканчивалось опьянением просителя, и условия займа откладывались до другого дня. На другой день начинались с утра переговоры о займе денег с той же бутылки лиссабонского и оканчивались таким же опьянением.

И еще день, и еще, и так нередко проходили целые недели в выпивании вина, а окончания договора о займе все еще не было.

А затем начинались переговоры о займе денег и совершении закладной.

По совершении в гражданской палате закладной, она в том же «Капернауме» обмывалась совместно с секретарем и приходорасходчиком палаты, под председательством Костюрина, который всегда сидел в большой куньей шубе нараспашку, в собольей шапке и курил трубку вакштаба на очень длинном чубуке. Так проходили дни, а за днями недели, и наконец делался денежный расчет по закладной с вычетом условных процентов. При этом, судя по сумме займа, кредитору не доплачивалось 50 и даже 100 рублей.

— Ну как же 100 рублей-то нехватает? — с неудовольствием говорил кредитор, считая деньги.

— А ты умирать будешь или нет? — спрашивал его Костюрин.

— Буду. Ну что же из этого?

— А то, что на кладбище церковь строится, так ты думаешь, что всю церковь я на свой счет построю? Эк, мудрец явился с чугунным лбом. Вот с таких-то, как ты, я и собираю на построение, — понимаешь?

— Да все же... как же это так?

— А так, что если разговаривать со мною будешь, так я совсем денег не дам. Вот ты со мной тогда и поговоришь до поту. Ведь закладная уже вошла в свою силу!

В других случаях не доплачивались десятки рублей в пользу приюта, в пользу училища, в пользу других нужд города, но всегда вычет был бесповоротный.

Но этим не оканчивалась сделка.

Хотя редко, но иногда Костюрин скучал один в своем «Капернауме». В такие часы он посылал то за тем, то за другим кредитором, предлагая ему поставить одну и другую бутылку лиссабонского. И горе тому, кто осмеливался не отозваться на приглашение: тот немедленно попадал в опалу, и в день срока уплаты займа закладная подавалась ко взысканию, и заложенное имущество доставалось в пользу любителя лиссабонского.

«Капернаум» — это без преувеличения можно было назвать школою пьянства, и не мало порядочных людей были споены в нем и преждевременно уложены в могилу. Не мало людей из «Капернаума» пошло по миру, оставив семью свою без куска хлеба. Но, впрочем, спешу ска-

зать, что Костюрин не раз был вибираем городским головою, почти на свой счет выстроил храм на городском кладбище, построил дом для уездного училища и был известен как общественный благотворитель.

В Харькове в те годы был выдающийся богач, откупщик Кузин. Можно без преувеличения сказать, что благодаря его участию к нуждам населения выстроена более чем половина городских домов.

Откупщик — и благодетель!.. Не правда ли, как далеки эти два человека один от другого? Первый — спаивая народ дешевой водкой, наживает большие капиталы и думает только о своем благе, второй — забывая о себе, радеет о благе своего ближнего. Но les extrémités se touchent,[1] говорят французы, и в характере Кузина, действительно, гармонично сливались в одно целое эти две крайности. Как один из выдающихся откупщиков того времени, Кузин не переставал расширять свое откупное дело, захватывая в свои руки не одну Харьковскую губернию, но и соседние с нею. Но, обладая громадным состоянием, он дарил большими кушами деньги для различных благотворительных учреждений. А выдающимся благодеянием с его стороны была помощь, постоянно им оказываемая обывателям города на постройку домов и на приобретение дворовых мест. Особенно он был внимателен к бедным труженикам, которые отличались трезвою жизнью. Нередко сам лично или же через посредство других он входил с

[1] По-французски — крайности сходятся.

бедняком, сапожником или портным, в переговоры и предлагал ему вместо деревянной хатки, в которой жил бедняк, построить большой каменный двухэтажный дом, на постройку которого давал деньги на выплатку и за самые маленькие проценты. А были случаи, что он давал деньги на постройку дома совсем без процентов. Когда выстраивался дом на деньги, данные Кузиным, хозяин дома, как и прежде, пользовался в нем квартирою для себя и для своего заведения, а получаемый доход с дома, весь или по частям, согласно условию, поступал в уплату капитала, выданного Кузиным на постройку. Дом же с местом Кузин отдавал правительству под залог откупов. Такой оборот давал Кузину возможность представить казне значительное количество недвижимости в обеспечение правильной уплаты следуемых казне денег за откупа. Но в то же время это представляло собою для хозяина дома риск, так как дом, попавший в залог по откупам, мог всегда быть продан с аукциона, если бы Кузин не «оправдал себя» перед казною. Все это могло быть, но этого в продолжение всей жизни старика Кузина не случилось ни с одним домом. И даже после его смерти многие дома, бывшие в залоге по откупам и не вышедшие в срок из залогов, почтенными наследниками его были «оправданы» и возвращены хозяевам чистыми, то есть свободными от залогов.

На Сумской[1] улице, где в настоящее время стоит большой дом Хариных, была деревянная,

[1] Ныне ул. К. Либкнехта.

в три окошечка, лачужка, на воротах которой красовалась вывеска, гласившая: «Сапожник, сапоги шьет, Пузанков». Это был трезвый и трудолюбивый ремесленник, на руках которого были жена, трое детей и старуха-мать, двенадцать лет лежавшая недвижимо, разбитая параличом. Старик Кузин сам пришел к Пузанкову и заказал ему пару сапог. Затем, когда сапоги были сшиты, в назначенный срок он пришел за ними, померил и уплатил ему деньги.

— Послушай, добрый человек, — обратился к нему Кузин, — почему ты не выстроишь себе дом? Место у тебя хорошее, и дом будет на нем доходный!

— Да что же это вы, с богатства что ли, вздумали меня на посмех поднимать? — обиженным тоном возразил Пузанков. — Что же я на эти вот два с полтиной, что за пару сапог получил, дом-то выстрою?

— Постой, постой, любезный! Ты знаешь, кто тебе о доме-то говорит? — спросил обиженного сапожника Кузин.

— Да на что мне знать-то? Пришел господин, заказал мне пару сапог, я ему сшил эту пару, а он мне заплатил за них следуемые два с полтиной денег, — вот и все.

— Ну так вот же что я тебе скажу, добрый человек! — сказал Кузин. — Ты приходи сегодня часов в шесть вечера в мою контору и спроси там меня самого — Кузина, я тебя ожидать буду. Мы там поговорим о деле, да, бог даст, и дом выстроим! . .

Пузанков не ожидал, что ему пришлось такого миллионера принимать у себя в хатенке и

потому поблагодарил Кузина за предложение и проводил его с почетом.

Таким путем Пузанков выстроил себе дом, а за ним на таких же условиях выстроили и другие дома, не имея у себя готового капитала. Так построены все дома Куликовых, ныне принадлежащие земельному банку. Так выстроился дом Дудукалова на Екатеринославской улице.[1] Почти вся Рыбная улица, Николаевская площадь и Конторская улица[2] были обстроены таким путем, и не было в Харькове человека, который бы через Кузина потерял свое состояние и пошел по миру нищим.

Харьков издавна был известен по торговле как транзитный пункт, как цистерна, из которой весь юг России брал различный товар для своих нужд и сбывал сырье для переработки его на московских заводах и фабриках. Харьков всего имел четыре ярмарки и особенно славился Троицкой ярмаркой, имевшей большой сбыт шерсти, и Крещенской ярмаркой,[3] считавшейся по обороту капиталов второй после Нижегородской. Но, несмотря на все это, в Харькове в то время, кроме конторы Государственного банка, не было ни одного финансового учреждения. Взять взаймы деньги для оборота или пристроить деньги для роста было очень трудно, не рискуя как в первом, так и во втором случае

[1] Ныне ул. Свердлова.

[2] Рыбная — ныне Кооперативная ул., Николаевская пл. — площадь Тевелева.

[3] Крещенская — большая мануфактурная ярмарка; Троицкая — главная шерстяная ярмарка.

попасться в ежовые рукавицы эксплоататоров и мироедских дел мастеров. Нужда в таких учреждениях сама собою породила не мало суррогатов банков и ломбардов в лице заимодавцев и ростовщиков. Один из таких маленьких банкиров был купец Шерыкин, который, спешу сказать, вел обширную торговлю колониальным товаром и был очень честный человек. Так как торговля его шла бойко и он сам по себе был человек весьма порядочный, то обыватели города его любили, и он пользовался безграничным доверием. Особенно небогатый люд из ремесленников смотрел на него как на человека, который не захочет обидеть труженика, почему несли ему каждый день излишки своих заработков, прося взять их себе в оборот торговли за небольшие проценты. Наплыв денег по временам бывал так велик, что Шерыкин нередко отказывался брать их. В таких случаях ему кланялись в ноги и слезно просили, чтобы он взял их деньги и не обижал их отказом. Такие явления наглядно доказывали, что время открытия различных финансовых учреждений уже настало. Но косная неподвижность и отвращение к новшествам были слишком велики, и потому никто не заботился об упорядочении этого дела.

Импровизированный банк Шерыкина с каждым годом приобретал все большее число вкладчиков, которые преимущественно состояли из постоянных обывателей города. Содержатели постоялых дворов, швеи, вышивальщицы, кружевницы и даже женщины, жившие поденным трудом, питаясь чуть не впроголодь ради того, чтобы отложить от дневного заработка копейку,

несли свои деньги к Шерыкину, веря безгранично, что эти деньги будут лучше сохранены, чем дома. Но не брезгали шерыкинским банком и весьма богатые люди, которые крупные суммы вносили ему для роста и оборота.

Для характеристики того времени надо сказать, что в те годы легко можно было нажить капитал и сделаться выдающимся богачом. Вследствие медленного и каждый раз рискованного сообщения с Москвою и Петербургом, как с центрами заводской и фабричной промышленности, купец того времени должен был хлопотать о том, чтобы у него были большие запасы различного товара первой потребности. Вследствие порчи дорог весною и осенью и нередко по случаю гнилой зимы в городе чувствовался недостаток то в том, то в другом товаре. А в то же время на этот товар возникало требование и из других городов юга России, от купцов, торговавших в розницу. Купец, имевший такие товары в запасе, становился всевластным монополистом и, налагая высокую цену на товар, нередко за несколько дней приобретал десятки тысяч рублей.

Но насколько было заманчиво положение купца того времени, настолько же (если не больше) оно было опасно, грозя ему банкротством и бесповоротною гибелью. Если в настоящее время причину банкротства нужно по большей части искать в предумышленном деянии коммерсанта, то в те годы нередко вследствие несовершенства путей сообщения весьма честный и умный коммерсант в один день терпел убытки на несколько десятков тысяч рублей и из богача

становился бедняком. Торговец, отправлявший постоянно целыми транспортами товар в Москву и Петербург, а также в Таганрог и Одессу, — пшеницу, шерсть, ячмень, кожи, муку, — был в полной зависимости от путей сообщения и от погоды. Беспрерывные дожди или порча зимнего пути несвоевременным таянием снега покрывали дорогу глубокими зажорами,[1] почему товар доставлялся на место с большим опозданием и подмокшим. И купец нередко сразу терял все свое достояние и становился бедняком. Такому неожиданному краху подвергся и Шерыкин. Бывши богачом еще вчера и пользуясь безграничным доверием не только в г. Харькове, но и в столицах, он потерял все на громадном транспорте пшеницы в Одессу, подмоченной в дороге вследствие гнилой зимы.

Его торговля, а с нею и его импровизированный банк, потерпели сильный крах, и те, чьи деньги были у него на процентах, сразу потеряли все. Плач и вопль женщин, девушек, больных старух и даже детей, взрыв протеста и злобы рабочих и ремесленников не смолкали с утра до ночи у ворот дома Шерыкина, и Рыбная улица, где жил он, была в продолжение многих дней запружена бедным людом. Шерыкин чуть ли не с того же дня был взят в острог без права сказать за себя слово. И из людей состоятельных многие обнищали вместе с ним. Но все же я спешу сказать, что мало было таких добрых и честных людей, каким был Шерыкин. И потому нужно поражаться тому равнодушию, с каким от-

[1] Зажоры — ямы, образующиеся на дорогах во время распутицы.

неслись к нему все его сотоварищи и граждане города.

Как я уже сказал, в Харькове было четыре ярмарки, из которых Крещенская была особенно богата оборотами. Но наша южная зима нередко изменяла людям. Вслед за глубоким снегом шла сильная оттепель с продолжительными дождями и с большою распутицей. В эти несчастные годы гнилой зимы товар на Крещенскую ярмарку запаздывал, и как торговцы, так и покупатели выходили из терпения и верхом приезжали в Харьков, оставляя свои сани с багажом на произвол судьбы. Зажоры доходили на столбовых дорогах до таких размеров, что в них все туловище лошади пряталось и только голова с шеей оставались не залитыми водою. Сани, так называемые розвальни, на которых обыкновенно возили товар, погружались в эти зажоры в уровень с товаром, который состоял из кип сукна, красного и колониального товара, а также из наскоро сбитых ящиков с бархатом и шелковыми материями. Не трудно представить себе, в каком виде получался весь этот подмоченный товар и на какую громадную сумму были потери его.

Но несмотря на такие тяжелые уроки, несмотря на такие ужасные потери, никому не приходило в голову обратить внимание на способ транспорта, на вопрос о необходимости шоссейных путей; все эти невзгоды, все эти потери и несчастья взваливали каждый раз на несчастных ямщиков, занимавшихся извозом и взявших на себя обязанность доставить товар

на Крещенскую ярмарку к такому-то сроку. Во всем несчастии, во всей беде — они, одни они — ямщики были виноваты. И вот у этих несчастных, не раз искупавшихся в зажоре и уже успевших двух-трех товарищей бросить на постоялом дворе в тифе или в остром ревматизме, отбирали лошадей с сбруями и санями, и все это на Николаевской площади, против полицейского управления, подвергали продаже с молотка в пользу купцов, товар которых был подмочен. У саней-розвальней, с опущенными на грудь головами, в дрянных полушубках стояли ямщики, хозяева лошадей и саней. Многие из них плакали, другие проклинали свою судьбу, но были и такие, которые с изумительным стоицизмом, в молчании переносили свалившееся на них несчастье. Не менее жалки были лошади, обреченные на продажу с молотка. По пятьдесят и более троек собиралось на площади в ожидании аукциона. Но ожиданиям не было конца. По несколько суток стояли несчастные кони, не поенные и без корма. Кони рыли копытами землю, ржали на всю площадь и рвались с коновязи. И не было человека, который бы с чувством отнесся к этой раздиравшей душу картине и протянул бы ямщикам и лошадям руку помощи. А мелкий дождь не переставал обливать всех мокротою, и туман, точно грязной пеленой, прикрывал всю эту массу страждущих от взоров прохожего. И казалось в этой мгле на далеком расстоянии, что не люди и не кони стонали и ржали, а какие-то страждущие тени из Дантова ада...

Никакие мольбы и просьбы, никакие слезы и стоны несчастных ямщиков, остававшихся с од-

ними кнутовищами, не могли смягчить жестокие сердца торговцев. Между тем самая горячая покупка лошадей с аукциона собирала сумму денег, которая не покрывала и половины того, что стоил подмоченный товар. Особенно таким жестоким нравом отличались рыльские купцы...

Но среди таких невзгод и тяжелых лишений были и отрадные явления, о которых я буду говорить в следующей главе, а теперь перейдем к баронессе Мариамне и ее родным.

Если в очаровательном чаду фимиама любви и удовольствий Мариамна как бы умышленно отгоняла от себя мысли о своем родном доме и боялась останавливать свое внимание на вопросе о судьбе своих родных, то я считаю себя обязанным рассказать о Ломакиных, что с ними случилось после ее ухода.

Так как Мариамна долго не возвращалась из бани к ожидавшему ее самовару, который шумел, пыхтел и, блистая полированной медью, рисовался, стоя на столе в компании чашек, варенья и хлеба, то мать ее послала прислугу звать барышню к чаю.

Но прислуга, возвратившись, доложила, что в бане никого нет, да и нет признаков, чтобы там кто-либо мылся. Весть эта настолько была неожиданна, что придать ей значение правды было невозможно.

Ломакина молча выслушала эту весть и, не делая никакого возражения, молча посматривала на окружавших ее родных и прислугу, как бы ожидая, что кто-либо из них скажет ей, где

Мариамна, и тем рассеет ее тяжелые мысли. Но все, как и она, были поражены известием и упорно молчали, в недоумении посматривая друг на друга.

Молча Ломакина надела на себя шубу и вышла во двор по направлению к бане. Ее сопровождали две горничные с фонарем. Осмотревши баню и не нашедши в ней ничего, что бы говорило о Мариамне, она вышла пораженная до глубины души таинственным исчезновением дочери.

В это время одна из горничных, при свете фонаря, увидела фортку,[1] выходившую на берег реки, отпертою. Все вышли на берег реки и при свете фонаря увидели на снегу следы теплой дамской обуви, которые выходили на берег реки. Ломакина пошла дальше по свежим следам и, спустившись с пригорка на лед, к ужасу своему, у самой окраины полыньи нашла две золотых булавки, которыми обыкновенно поддерживались косы, еще не вполне высохшие после мытья или купанья.

Первая мысль всем бросилась в голову, что Мариамна утонула в полынье и была течением воды затянута под лед. Но те же следы ног, идущие к другому берегу реки, говорили другое, и все пошли на противоположный берег реки. Тут ясно увидели, что здесь стояли больших размеров сани с тройкой лошадей, вокруг которых видны были следы ямщика и потом след саней вдоль по прямой улице города. Все говорило за то, что Мариамна, с помощью вероломной Афросиньи, кем-то украдена и увезена. Ло-

[1] Калитка.

макина едва дошла обратно домой и, взойдя на второй этаж, в переднюю, свалилась, как сноп, на пол, пораженная обмороком.

Весь дом засуетился, и целый содом поднялся во всех комнатах, в которых всего полчаса назад царили мир и тишина.

Самого Ломакина не было дома, и потому послали за доктором и за ним одновременно.

Врачебная помощь спасла несчастную Ломакину от грозившего ей удара, и она скоро начала поправляться. Ее возвратило к здоровью известие, принесенное ей прислугой, что Мариамна увезена бароном фон-Остенблют в его родовое имение, в деревню Свободино, где они обвенчаются в деревенской церкви. Мать знала, что Мариамна любит Адольфа и скорбела втайне о том, что не могла помочь ей осуществить ее заветное желание — выйти за него замуж. Она сочувствовала браку, но, лишенная права голоса, не могла превозмочь железной воли мужа. На долю русской женщины с незапамятных времен выпало в жизни два крайних положения: она — или властная повелительница, или бессловесная раба. Как в первом, так и во втором положении ей всегда мешали быть человеком.

Характерная черта богатых не только купцов, но и помещиков того времени выражалась тем, что как у тех, так и у других с особенною остротою проявлялись самомнение и упорство, которые известны были в литературе под именем цельности характера.

На самом же деле это было не более как упорство, доведенное до безумия. Для иллюстрации таких натур спешу привести несколько

эпизодов, обрисовывающих эти так называемые цельные натуры. Был купец Голиков, принадлежавший еще от дедов своих к старообрядчеству. Дочь его, доведенная им до потери терпения, ушла с известным ему человеком его же круга, тоже старообрядцем, с тем чтобы перевенчаться. Голиков потребовал от старообрядческого священника, чтобы он не венчал их, но священник, имевший все необходимые документы, перевенчал молодую пару. Голиков за такое оскорбление его особы, бросил старообрядчество и перешел прихожанином в кафедральный собор.

Другой эпизод был в семье купца Гвоздева. Гвоздев имел «сиротское» денежное дело с купеческими детьми Кожанчиковыми, над которыми он был опекуном. Кожанчиковы считали за ним недобору тридцать тысяч рублей и просили его не раз без ссоры и пререканий, чтобы он дал им десять тысяч рублей за всю сумму недобора, обещая ему выдать от себя актовую бумагу о полном удовлетворении. Но Гвоздев был недоступен, как паша, дерзок, как того времени квартальный, и неумолим, как солдат на военном посту. Кожанчиковы вынуждены были возбудить против Гвоздева дело. Волокитство по судам истощило его до изнеможения и окончилось взысканием с него более сорока тысяч рублей или заключение его в острог на два года, если он не уплатит следуемой с него суммы. Но Кожанчиковы сами не желали его страданий и, зная о его больших тратах на суд, предложили ему мировую за десять тысяч рублей. Гвоздев высидел два года в остроге, а денег сиротам не уплатил.

Таков был и Ломакин.

Принадлежа к старообрядчеству, он со всею строгостью соблюдал его требования в своей семье. Между тем, не желая отстать от лучшего общества как богач, он воспитал свою дочь в институте, где она за восемь лет пребывания, совершенно отвыкла от старообрядческих правил жизни и потому не могла выносить строгой монастырской жизни в семье и старообрядчеству не сочувствовала. Дочь вместе с матерью бывала на балах и в первый раз познакомилась с молодым бароном на дворянском балу. Казалось, Ломакин желал блеснуть красотою своей дочери и в расчете его было приобрести зятя из высшего круга.

Но когда барон заявил желание быть его зятем, он наотрез отказал ему и предпочел взять себе в зятья сына московского фабриканта, тоже из старообрядцев. Но, главное, он не допускал мысли о том, чтобы кроме его в семье мог заявлять свой голос кто-либо другой, выражая свои желания. И вот при таком режиме жизни, тогда как он мнил о себе как о первом по уму и капиталу человеке в городе, девушка, его дочь, это слабое существо, осмелилась поступить против его воли, осрамить его на весь город и поставить в положение человека, которого слабое существо сумело обойти и обмануть!

Эта одна мысль приводила его в бешенство.

Говорить ли о том, что по городу на другой же день пошел говор по всем уголкам о том, что случилось у Ломакиных. А спустя два дня даже с подробностями передавали о том, кто и

как увез Мариамну из города, трактуя событие на разные лады и варианты.

Да иначе и не могло быть. В провинциальном городе каждый день знают, что́ и в каком доме делается.

Почтенный городской голова Костюрин особенно отличался хлебосольством. Но чтобы оценить эту драгоценную черту его характера, нужно было побывать хотя один раз на его именинах. День своего ангела он праздновал летом. Дом его находился в Харинском переулке; при дворе был небольшой сад; в этом саду по окончании обеда и праздновались именины до позднего часа ночи. В день именин ворота и фортка двора были отперты до начала обеда. Но лишь только обед начался, как ворота и фортка запирались на замок и ключи от них отдавались в руки именинника, который прятал их в свой карман. По окончании обеда все гости выходили в сад, где садились играть в карты, и продолжалось бесконечное угощение вином. Уйти, кому бы ни было, было невозможно.

Более всего памятны мне две личности, которые на этих именинах были выдающимися из среды всех гостей уже потому, что все их знали до именин совсем иными людьми, тогда как на именинах городского головы в его саду они были людьми совсем другими, до неузнаваемости не похожими на прежних. Один был домашним секретарем местного архиерея. Это был человек при исполнении своих служебных обязанностей недоступный ни для кого. Одинаково, как бездомная старуха-вдова пономаря, пришедшая

просить помощи у архипастыря, так и протоиерей, имевший нужду побеседовать с владыкой, встречали со стороны его самый резкий отказ доложить о них владыке. И жестокое слово «не принимает» могло быть смягчено только звонкой монетой, которая имела свойство чудодейственно отверзать перед чающим двери владычьих покоев.

На именинах хлебосола Костюрина этот человек превращался в самого кроткого и слезливого господина, который плакал о гресех своих и, преклоняяй земле лядвия[1] своя, вопиял: «аз грешен есмь вельми, и господь отвратил лице свое от меня и оставил мя у врат геенны огненные»...

Второй — это был правитель крепостного стола гражданской палаты. Во время исполнения своих служебных обязанностей он был вам известен как человек мягкий, ласковый, предупредительный. Но в гостях, на пиру у Костюрина, он делался другим человеком.

Он хотел всеми повелевать, он требовал, чтобы все его слушались и исполняли его требования. Но удивительно, что секретарь владыки любил быть в обществе с производителем дел гражданской палаты, который его покорностью утолял свою жажду к власти. И вот начинается целый ряд сцен, полных комизма.

Почтенный именинник знал это и, кажется, умышленно сажал их в своем саду вместе за небольшим столом, на котором стояла неиссякаемая бутылка портвейна. В саду всем давалась

[1] Колена.

полная свобода и потому, проводя в нем время под сенью штамбовых роз и высоких кустов французской сирени, никто там не рисовался, а был таким, каким его создала природа.

— Ну, послушай! — говорил секретарь владыки, горько плача, — ведь я — подлец!..

— Становись, я тебе говорю, на колени и проси, чтобы я тебя простил!

И секретарь становился на колени и, скрестивши на груди руки, в молчании ожидал новых приказаний своего грозного повелителя.

— Стой, не смей! — кричал ему повелитель. — Прежде нужно выпить, а потом становись на колени и бей поклоны!..

На именинах Костюрина никогда не было дамского общества.

Это несомненно давало гостям еще более простора и свободы, почему весь сад был переполнен разнообразными сценами.

Старичок Басов, секретарь сиротского суда, обыкновенно ходил по широкой аллее сада и сам с собою громко вел беседу.

— Всё от бога, всё! — говорил он, поднявши глаза к небу. — Вот козявочка крохотная ползет, и вот у нее и ножки есть, и животик, и ротик. Боже, боже, как ты велик и добр к нам многогрешным!

А тут, сбоку аллеи, на травке стоял стол, за которым шел преферанс. Один партнер — на семи без трех. И взрыв хохота оглашает сад.

— Душечка мой, милушечка мой! — кричал старичок с Владимиром в петлице своему партнеру. — Ведь это все сделала ваша трефочка! Голубчик мой — трефочка!..

У трех кустов штамбовой розы трое уже уснули праведным сном. Точно папильончики,[1] упившись нектаром душистой розы, они мирно успокоились. Жаловаться на однообразие и скуку празднества было невозможно.

Вот трое, тенор из хора кафедрального собора, толстобрюхий мясник и купец бакалейного товара, уселись на травке-муравке и, стараясь превратить себя в маленьких певчих, пели дискантом «Да исправится молитва моя». А тенор бутылкою дрей-мадеры дирижировал.

А там, в углу сада, в беседке, среди акаций, дьякон Калибердинский, окруженный любителями густого баса, на весь сад гремел: «Жена да убоится своего мужа».

— Вот голос, вот голосина! Это ужас и только! — говорил один торговец красным товаром чиновнику-молодожену, который, в противоположность серьезной компании, сидел грустным и погруженным в самого себя.

— Да что голос? Голос — голосом, а вы вслушайтесь в слова апостола: «Жена да убоится своего мужа»! Правильно, правильно сказано, хоть в протокол заноси!..

Я упомянул, что С. К. Костюрин был неоднократно избираем в городские головы. При управлении думою Костюриным секретарем думы был некий Линицкий. Это был весьма почтенных лет старичок, который, как удрученный летами, ходил согбенно и потому многим казался горбатым. Добродушный старик, всегда сонли-

[1] Галлицизм — бабочки.

вый, медлительный и молчаливый, он был всеми любим и знал механизм городского управления в совершенстве. Если мы примем во внимание, что в то время в городские головы нередко выбирались купцы полуграмотные, умевшие написать только свое имя и фамилию; если мы вспомним, что не только городские головы, но даже бургомистры и ратманы [1] того времени служили без жалованья и тяготились службой; что секретарь, столоначальник и делопроизводитель думы, эти три краеугольных камня, на которых зиждилось все управление думы, содержание от города получали самое ничтожное и жили на прибавочное жалованье от городского головы, так как они всегда имели возможность подвести под суд и даже пустить по миру всех представителей думы, — то нам будут понятны интимные отношения головы к чиновникам думы. Все упомянутые чиновники думы жили невозбранно на животах просителей и таким путем наживали себе домики и обеспечивали свои семьи нередко капиталом в сто и двести тысяч рублей. Но тем не менее, такое ненормальное положение дела, такая искусственная структура служебных отношений старших к младшим заставляла многих уклоняться от выборов в городские головы или в ратманы и бургомистры.

Костюрин, хотя и был женат, но бездетный человек и обладал весьма крупным состоянием. При этом он имел у себя в погребе целую химическую лабораторию, при помощи которой

[1] Члены городского управления.

творились чудеса: простое сантуринское — превращалось в портвейн и херес; белое вино — в лафит и шабли; красное крымское — в церковное вино и в кагорт; а из кизлярской водки делались ром, коньяк и даже джин английский, натуральный, как гласит этикет на бутылке. Все это, вместе взятое, давало ему возможность ежегодно приращать свой капитал и делаться человеком, для которого израсходовать ежегодно крупную сумму не составляло большой потери. А потому его-то и выгодно было выбирать несколько раз в городские головы.

Как богатый человек, да еще и городской голова, Костюрин ко всем относился более чем фамильярно. Секретаря думы Линицкого за его медлительность он называл «молнией», столоначальника хозяйственного стола — Варравой, а делопроизводитель имел прозвище — «Строка». Такие surnom [1] Костюрин любил давать всем и нередко даже экспромтом человеку, в первый раз пришедшему к нему по делу. Не ушел от такого surnom даже прозектор университета, доктор медицины Вилькомирский, который был призван к нему как к больному.

Прозвища, даваемые Костюриным своим подчиненным чиновникам, настолько были всем известны, что один из купцов выдавал замуж свою дочь и послал секретарю думы приглашение на свадьбу с надписью на билете: господину Молнии, секретарю думы. Что же касается просителей, то нередко таковые приходили в думу и спрашивали у служителя:

[1] По-французски — прозвища.

— А где здесь Варрава и Строка?

В то время почти всюду царили «простота сердечная и доброта беспечная». Но в управлении думы, под фирмой С. К. Костюрина, простота царила во всей своей силе.

Я уже сказал, что Костюрин постоянно сидел в своем «Капернауме», куда и обращались к нему по всем делам думы. У погреба всегда стояли его дрожки, которые в известный час привозили из думы и отвозили обратно секретаря Молнию. Секретарь привозил с собою кучу бумаг для подписки уже решенных дел. Иногда вместо того, чтобы собраться в думу на заседание, собирались в «Капернаум», и там в тихой беседе, за очередной бутылкой лиссабонского вина и соленой закуской, решались дела города, причем Молнии, совместно с Варравой, поручалось составить у себя дома протокол заседания для надлежащей подписи. Из этого заседания думы немногие уходили домой, большинство членов развозились по домам, так как после продолжительных и головоломных словопрений, отцы города изнемогали и «яко жезлы, от древа живого отсеченные, лежали, сил неимаши восстати».

В «Капернаум» по делам думы стекались и подрядчики, бравшие на себя подряды освещать город конопляным маслом или заваливать рытвины на улицах, вымытые дождем.

Если какому-либо обывателю или подрядчику нужно было получить от думы деньги, голова пользовался этим случаем, для чего поочередно в «Капернаум» приносили деньги или Молния, или Варрава, или Строка. При сем, судя по

сумме получения, голова оставлял пять, десять и сто рублей в пользу принесшего деньги.

Так служили и радели о нуждах граждан отцы города, и было в те годы в г. Харькове все зело хорошо, чисто, прекрасно и безвредно...

С. К. Костюрин очень уважал и чтил книгу «Житие святых отец». Нередко, сидя в «Капернауме», он, в назидание заблудших овец, ставил в пример то одного, то другого святого.

Однажды, когда собрались в «Капернауме» деловые люди, рассуждая о благоустройстве города, ставя при этом его совершенства в пример другим городам России, был тут один из подрядчиков, имевших взять на себя подряд починки мостов и кладок. Лиссабонское, по очереди и через узелки, шло своим чередом. Подрядчик истощал все свое красноречие на то, чтобы доказать, что он, если что возьмется делать, так сделает хорошо, по-божески. При этом он упомянул имя какого-то святого, на житие которого он сослался, дабы придать авторитетность своему слову.

Спешу предупредить читателя, что Костюрин, как русский человек, не мог обходиться без брани, и крепкими словами пересыпал постоянно свою речь не потому, что был сердит, а просто потому, что

> Брань нужна для русского народа:
> Как соль ко щам, как сало к каше,
> И все отцы и деды наши
> Веселье ль, свадьба ль иль невзгода —
> Все словом крепким каждый раз встречали
> И бранью крепкою — обратно провожали...

— Ах ты, подлец некрещеный! — возразил подрядчику председатель «Капернаума». — Еще

ты смеешь равнять себя с этим святым? Да знаешь ли ты, как этот святой умер?

— Знаю! — отвечал подрядчик.

— Ну, говори, если знаешь! — закричал повелительным тоном Костюрин.

— Ему отрубили голову! — ответил подрядчик, набравшись храбрости под влиянием лиссабонского вина.

— Ну, а если бы твою дурацкую голову стали рубить, что бы ты сказал? — спросил его защитник правды.

Подрядчик неожиданно для всех стал на четвереньки перед городским головою.

— На! Руби! — смело и решительно сказал подрядчик.

— Ну, хорошо! Стой же так, пока я приду!..

Костюрин из длинного чубука потянул дым вактаба и, поднявшись с своего места, ушел в погреб.

Подрядчик остался ожидать его стоя на четвереньках.

Все находившиеся на заседании в «Капернауме» были поражены происходившим и не знали, что предпринять.

Через минуту-две городской голова возвратился из погреба в комнату и в одной руке его был длинный чубук с дымившеюся трубкою, а в другой руке он держал бондарский отточенный топор.

Как ни были заседавшие подвыпивши, но, увидевши топор, отрезвели.

— Ну-ка, подставляй свой котел глиняный! — сказал Костюрин стоявшему на четвереньках подрядчику,

— Руби!! — крикнул подрядчик и стал получше на четвереньки.

Городской голова быстро спрятал топор себе за спину, а чубуком с дымившейся трубкой так ударил по спине подрядчика, что трубка слетела с чубука, а подрядчик мгновенно вскочил на ноги.

Отсечение головы закончилось гомерическим смехом, который вызвал складчину на лиссабонское вино и на закуску.

И подряд на починку мостов и кладок был оставлен за ним.

Кладбище. Кажется, нет другого места, которое не было бы так печально, не носило бы на себе столько скорби и горя, как место вечного упокоения людей.

Прадеды и деды наши были близкие к нам, отцы наши и матери, братья и сестры, люди, дорогие сердцу нашему, прелестные женщины — счастье дней нашей юности, очаровательные дети — этот залог любви и счастья семьи — все там почили, все на кладбище обрели себе мир и покой... И среди этой немой тишины, среди этого облика смерти, молчаливо лежат целые страницы из жизни тысячей людей, целые томы из истории деяний когда-то жившего человека. Кладбище — это архив, состоящий из разрозненных листов и томов истории всего человечества. В молчании немом листы эти и томы ожидают того, который бы пришел, прочел и разобрал их и составил бы из них одну целую и законченную книгу. И в этой книге, среди мертвых, живой человек найдет ответы на це-

лую массу вопросов, так волнующих каждого человека, который в борьбе и лишениях ищет на них ответов и падает в бессознании перед сфинксом жизни, измятым в когтях его за то, что не сумел он ответить на заданные им вопросы...

Люблю я иногда посетить старое кладбище. Среди могил, заросших кустарником, то здесь, то там всегда найдешь полусгнившую оградку или пошатнувшийся крест, на которых сохранилась надпись, которая мгновенно переносит человека за сорок и пятьдесят лет назад, и он вновь начинает переживать то, что казалось ему давно уже умершим и погребенным.

Пробираясь однажды через заросли вишняка и мелкого березняка, когда-то посаженного у дорогой могилы заботливой рукой, мне пришлось найти надпись над могилою хорошо мне известного человека, с которым связаны были моя юность и первые годы моей возмужалости. Павел Иванович Середа, магистр историко-филологических наук, помещик Харьковской губернии, обладатель пятисот душ крестьян и одинокий человек. Он жил постоянно в Харькове и чуть не пятнадцать лет на одной квартире, на Николаевской улице, и вел жизнь кабинетного ученого, дверь которого всегда была открыта для студентов университета, которым он много помогал, для профессоров, а также для учителей гимназии и вообще для развитых людей того времени. Его все любили за его ум и благородную душу. Павел Иванович Середа вел свою родословную от древних запорожцев. Его предок

был в Запорожье тысячником и управлял целым станом. А во время последней битвы Богдана Хмельницкого с поляками он был захвачен в плен и живым зажарен на железных листах во время допроса. Павел Иванович знал отлично Тараса Григорьевича Шевченко и провожал его в ссылку.[1] Все это развило в нем непреодолимую любовь к своей родине, а развившееся в то время под влиянием поэзии Шевченко украинофильство сделало его поборником идей, которые не имели под собой никакой серьезной почвы. Середа любил свою науку и был предан ей всею душою. Он некоторое время мечтал занять при университете кафедру по истории и с этой целью вместо диссертации написал в двух томах историю Малороссии. Но этот труд не мог быть разрешен цензурою к печати, и он сжег его собственноручно. После такой неудачи, он оставил всякие помыслы о кафедре и, замкнувшись сам в себе, жил особняком, чуждаясь семейного круга и женщин, которые будто бы боялись его как человека крайних убеждений. Не могу сказать, насколько прав в своих заключениях был Середа, но все же нельзя не сказать, что у него было не мало хороших сторон, хотя были и странности.

Имея хорошее состояние, он занимал всего четыре комнаты и переднюю, тогда как мог бы легко оплачивать квартиру в десять комнат. Спальня, рабочий кабинет, зал и комната для

[1] За участие в украинском национально-освободительном движении и за стихи, направленные против царизма, Шевченко в 1847 году был отдан в солдаты и сослан на десять лет в киргизские степи.

слуги составляли его квартиру, которая была безукоризненно чиста, но убрана без роскоши. Он говорил, что для человека со средствами большой квартиры не должно быть. Но для слуги иметь особую комнату в то время считалось вольнодумством. А к этому новшеству с его стороны присоединилось еще и то, что он своего крепостного слугу, который когда-то был его дядькой, сам выучил грамоте и держал его на жалованье. Все это шло, конечно, вразрез с общим режимом жизни.

— Почему вы не женитесь? — как-то спросил его больного, когда он лежал один и нуждался в уходе за собою.

— Я не верю в возможность иметь счастливый брак! — ответил он, — а жениться для того, чтобы на случай болезни приобрести себе сиделку, — это унизительно как для меня, так и для жены.

— Почему же вы думаете, что счастливого брака быть не может?

— По очевидной для всех причине! — также спокойно ответил он. — Пока женщина не перестанет быть для нас игрушкой, забавой, развлечением, чем хотите, но не человеком, брак не может быть счастливым.

— Жизнь холостяка бесцветна! — возражали ему на его ответ. — Притом человек, любящий комфорт жизни, может достигнуть его только женившись.

— Какой материальный взгляд на брак! — смеясь, ответил он. — Надо иметь только деньги — и без жены будет жизнь удобна и полна комфорта. Посмотрите, чем моя жизнь не хо-

роша? У меня хороший стол, дорогие вина, чистая сервировка. Чего еще надо?

Когда я приехал в Харьков по возвращении моем из Петербурга, я первого посетил его. Он очень обрадовался, увидавши меня, и, как любитель искусства, начал расспрашивать меня о моих успехах в нем и о виденных мною картинах великих мастеров.

Узнавши, что я получил степень художника, Павел Иванович поздравил меня.

— Ну, теперь и я и вы — мы более близки друг другу, чем были прежде! — сказал он мне и пожал дружески мою руку.

— Я очень рад! — поспешил я ответить. — Но скажите, почему так?

— А потому, что мы оба теперь изображаем собою две древние монеты, которые редки и интересны, но для оборота никому не нужны...

На его горькое замечание я ничего не сказал. Но когда я начал свою художественную деятельность, я не раз вспоминал его меткую остроту.

Прошел год, и я уехал за границу и расстался с ним более чем на два года.

Возвратившись из-за границы, я узнал о Павле Ивановиче кой-что необычайное и даже не поверил всему, что о нем слышал.

Но когда я увидел его, я сразу узнал, что все мною о нем слышанное было правда. Один его наружный вид произвел на меня удручающее впечатление. Я был с ним знаком через моего доброго и благородного гувернера, Ф. И. Журковского, с четвертого класса гимназии. Он держался постоянно старого режима, и потому меня поразило, что за два года жизнь человека

могла так измениться, что русло ее приняло иное настроение, повернув под острым углом в сторону...

Читатель помнит, что один человек был сбит с ног на Сумской улице рысаком купца Медведева. Он был настолько помят им, что слег в постель и, пролежавши дней десять, умер.

Нет человека, который бы не был достоин, чтобы о нем не сказали слова. Но Сергей Петрович Редюгин достоин доброй памяти. Человек он был с весьма ограниченными средствами, но весьма талантливый и честный. Окончивши курс в Петербургском технологическом институте, он изъездил чуть не пол-России, искавши себе места и занятий по своей специальности, которую очень любил. Но так как в то время заводская и фабричная производительность шла весьма тупо, а к людям науки относились с большим недоверием, то Редюгин не нашел для себя ничего подходящего и наконец основался в Харькове, который был для него не чужим, так как он тут родился.

Энергия его и способность к изобретательности сделали его человеком не без странностей. Как Тантал, он постоянно испытывал мучения и сделался задумчивым, сосредоточенным в самом себе и казался равнодушной толпе человеком ненормальным. А частое его обращение к богатым купцам с предложением устроить завод или какую-либо фабрику возбуждало среди темного люда иронию и смех.

Вот этот-то Редюгин, сосредоточась сам в себе, идя домой от своего приятеля, такого же

горемыки, каким он был сам, не услышал оклика ездока и попал под его сани.

— Я знаю, мне уж не жить на земле, — сказал он мне за несколько часов до смерти. — Мне жаль только, что я не во-время родился и умираю как сухая ветка, никому не нужная!..

И крупная слеза скатилась с его погасавших глаз.

Как-то, бывши в Будах,[1] вблизи фаянсового завода Кузнецова, мне еще раз пришлось вспомнить Редюгина, который многим купцам предлагал открыть вблизи Харькова фаянсовый завод и показывал глину, которую он нашел годною для этого дела. Но скорбит душа, когда память начинает рисовать картину того унижения, какое пришлось ему однажды перенести за такое предложение. Русский человек всегда дает перевес своему чувству над разумом. И потому в его поступках нередко приходится наблюдать две крайности: в одном случае он добр до самоотвержения, в другом — он равнодушен к несчастью ближнего до жестокости. Представитель банка или иного какого-либо торгового учреждения растратит не принадлежащие ему тридцать-пятьдесят тысяч денег, расплачется перед членами учреждения, поклонится им, и весь долг, всю учиненную им растрату ему простят без пререканий и злобы. В другом случае — не простят бедняку-труженику трехсот рублей, и всего его продадут с аукциона, без сожаления и пощады... Эти явления так заурядны, что о них нет необходимости много говорить. Но есть

[1] Село под Харьковом.

еще более жестокая черта у русского человека, вытекающая из того же источника, — это, ради развлечения, в праздные часы издеваться над талантом и умом, подавленными безвыходной неудачею или бедностью. Прекрасно подмечена эта черта русского человека нашим драматургом Островским в его пьесе «Шутники» и художником Прянишниковым в его картине «Гостиный двор».

Таким издевательствам подвергался и Сергей Петрович Редюгин.

В описываемые годы все лавки и магазины не были отапливаемы и даже многие из них не имели стеклянных дверей, почему в задней части лавки или магазина имелась маленькая комнатка, в которой хозяева заключали сделки с крупными покупателями и, чередуясь, угощались водочкой и соленой закуской.

В посудной лавке Олсуфьева на Павловской площади[1] великим постом сидела компания, и один торговец вином рассказывал с плоским комизмом о Редюгине, который предлагал ему устроить пивной завод. Все смеялись, и Редюгин у всех не сходил с языка. Вдруг, к общему удовольствию, является Редюгин. Все переглянулись и толкнули друг друга. Редюгин, скромный, как девушка, маленький ростом, одетый не богато, отрекомендовал себя хозяину лавки технологом и положил на стол какой-то ком, с полпуда весом.

— Летом, живя в деревне, я нашел в окрестностях Харькова прекрасную фаянсовую глину

[1] Ныне площадь Розы Люксембург.

из которой можно с успехом делать прекрасную посуду. Не желаете ли, я могу устроить вам и пустить в ход фаянсовую фабрику? — сказал Редюгин и, развернув бумагу, показал ком глины.

— Позвольте? — спросил Олсуфьев. — Кто вы такой?

— Я технолог! — отвечал Редюгин.

— Это что же такое значит? — спросил Олсуфьев.

Редюгин пояснил подробно, в чем заключаются его специальные знания.

— Так-с! — ответил купец. — Но позвольте же узнать, почему вы знаете, что эта глина годна для посуды?

Все начали смотреть и пробовать глину, а Редюгин начал доказывать им достоинства ее.

Со всех сторон сыпались на него остроты. Речь его перебивали различными возражениями, и бедный Редюгин в те часы походил на волка, окруженного собаками.

— Да что вы рассказываете! — грубо возразил один из гостей. — Этой глиной у меня бабы припечки мажут, а вы из нее хотите посуду делать! . .

Все разразились гомерическим смехом. Редюгин в отчаянии махнул рукой и вышел из лавки.

— Постой, постой! — раздались голоса вслед за ним. — Возьми же свою фаянсовую глину! Ха, ха, ха! . .

Редюгин не слушал их и быстро удалялся от лавки по улице.

Всю дорогу он шел расстроенный и громко говорил сам с собою.

А тем временем веселая компания, довольная тем, что потешилась, расходилась по домам к обеду...

Старый вице-адмирал, барон фон-Остенблют, получивши известие, что сын его с невестой благополучно прибыли и венчание уже началось в храме, приказал своему оркестру готовиться к торжественной встрече молодых. Осветив зал и все комнаты, адмирал оделся в парадную форму и, украсив грудь орденами, стал у входа в зал для встречи молодых, держа в руках хлеб-соль на золотом блюде. Любя сына, он рад был его счастью и, как одинокий вдовец, всегда любивший семью, с нетерпением ожидал, что его одиночество украсится семьей сына.

Молодые подъехали к парадному крыльцу и вошли в зал, залитый светом сотни стеариновых свечей и карсельских ламп. [1]

Адольф был одет в полный парадный костюм офицера конвоя его величества, а Мариамна была одета более чем в простое платье, в котором она выехала из дома родителей. Но и в этом простом наряде, среди пышной обстановки зала, она не умалила своей красоты и диссонансом своего наряда завершала гармонию аккорда.

Как Нептун, [2] украшенный седой шевелюрой, напоминавшей белую пену высокого гребня девятого вала волны, стоял перед молодыми ма-

[1] В то время в высшем кругу были приняты карсельские лампы с часовым механизмом, горевшие деревянным маслом.

[2] Бог моря в римской мифологии.

ститый старец, принимая дорогих гостей хлебом-солью.

— Дочь моя! — обратился он к Мариамне. — Я в первый раз вижу тебя и уже люблю тебя так же, как люблю сына своего. Я — осиротевший старик. Прими же меня — старого моряка, и на конец дней моих будь для сына другом, а для меня — тихою пристанью...

Старик обнял Мариамну и поцеловал обе ее руки.

— Все, что ты видишь — твое! — сказал старый барон, указавши ей рукою на окружающую роскошь. — И мы оба к твоим услугам! — смеясь и кланяясь ей в пояс, прибавил вице-адмирал.

На другой день молодой баронессе был предоставлен целый штат мужской и женской прислуги, предназначенной специально для нее.

По общему соглашению через три недели был назначен бал в имении барона и были разосланы билеты ко всем высокопоставленным лицам губернии, а также к помещикам и купцам.

Афросинья назначена была смотрительницей за гардеробом и женской прислугой баронессы.

Мариамна была в каком-то опьянении от полноты своего счастья. Ее желания исполнялись с полной предупредительностью и готовностью угодить ей. Она не могла не сознавать своего престижа в доме и легко привыкала к нему как к чему-то законно ей принадлежащему.

Афросинья, привыкшая к жизни купеческих семей, видя, как все преклонялись перед молодой баронессой, начинала бояться за ее счастье.

Однажды жена священника спросила у Афросиньи, как живется баронессе в деревенской глуши.

— Ох, уж и не спрашивайте! — ответила Афросинья. — Она такая счастливая, что я испугалась бы такого счастья! А мне все вот гребень-то ее, что она потеряла, не идет с ума. Волосы, матушка, ведь это — дорога жизни. А гребень, что день, эту дорогу чешет да разглаживает. А, вишь, его-то она и потеряла. Без гребня-то волосы путаются да в комья сбиваются. Ну, как жизнь-то ее спутается да комчатая будет, и спаси господи! . .

Чтобы Мариамна не соскучилась, старый и молодой бароны начали конкурировать между собой в придумывании каждый день новых развлечений. Устраивалось катанье по льду реки, поездки на охоту, концерты, оркестры и soirées musicales,[1] в которых сама Мариамна, как пианистка, принимала активное участие. Казалось, будто с умыслом придумывалось все, что было необходимо для того, чтобы не дать ей ни минуты оставаться с самой собой.

И ближние ее, наперекор рассудку,
Всю жизнь ее старались превратить
В игру веселую или пустую шутку,
Во все, чем можно усыпить
Любви возвышенные чувства. . .

Как-то Афросинья напомнила ей об ее отце и матери, причем рассказала ей, что она видела плохой сон.

[1] Музыкальные вечера.

*

— Ты вечно со своими предрассудками! — ответила ей Мариамна. — Право, мне уж это наскучило!..

И няня, сконфуженная ответом счастливой баронессы, замолчала, глубоко вздохнувши.

Расставаясь в своих воспоминаниях с Павлом Ивановичем Середою, не могу не вспомнить о другом, не менее сердечном человеке — Павле Ильиче Загибе, который был моим репетитором по математике и оставил в душе моей самые теплые чувства любви и признательности к нему. Он был известен всем простым обывателям города, а также подгородним крестьянам сел — Ивановки, Жихаря, Куряжа, Немышли и Журавлевки, под именем Павла Загибы. Его curriculum vitae[1] весьма не сложно. Павел Ильич был родом казак, сын бедного пономаря Полтавской губернии. Учился он, как это и подобает его званию, в духовной семинарии. Но учился он весьма плохо и, оставаясь по несколько лет в одном классе, только удваивал курс своего учения. Это был завзятый лентяй, как он часто сам себя называл, и такого ученика семинария давно б исключила за неспособность, но его спас от этого его действительно выдающийся голос — бас. Оставляя в стороне его леность к учению, начальство семинарии не раз предлагало ему место дьякона с тем, чтобы впоследствии, когда он изучит дьяконскую службу, предоставить ему место протодиакона при кафедральном соборе. Павел Ильич соглашался на такое предложение, но не иначе, как по

[1] Жизнеописание.

окончании полного курс семинарии. Не желая потерять в лице его весьма завидного протодиакона, начальство давало ему всевозможные льготы при экзаменах и таким путем помогло ему окончить полный курс семинарии с должным аттестатом.

Ему только этого и нужно было.

Павел Ильич Загиба, получивши аттестат, немедленно приехал в Харьков и поступил в университет на физико-математический факультет по отделению чистой математики.

В университете он оказал весьма завидные успехи и был одним из первых студентов в своем отделении. Ему было предложено помещение в общежитии при университете. Но, любя свободу и обладая энергией к труду, он отказался от предложения, сделанного ему университетским начальством, и жил на частных квартирах, зарабатывая деньги на жизнь переводами и подготовлением молодых людей к вступительному экзамену в университет, что в те годы давало хорошие заработки. Павел Ильич был характерным студентом того времени. В те годы контингент студентов университета состоял преимущественно из сыновей богатых помещиков и купцов или очень бедных детей разночинцев и духовного звания, привыкших к суровой жизни, какую только может дать безвыходная бедность. Первые — дворяне и купцы — поступали в университет преимущественно с домашнею подготовкою под ферулой гувернеров и учителей гимназий и студентов. Вторые, по окончании гимназии или семинарии, входили в университет уже закаленными в терпении и настойчивости,

готовыми бесстрашно вступить в борьбу с жизнью. А потому, как первым была не страшна жизнь вследствие богатства их родителей, так вторые пренебрегали нуждою и бедностью уже потому, что они с пеленок видали ее, свыклись с нею. Как бы на помощь всем этим беднякам всегда приходило в те годы богатое товарищество. Весьма часто богатый помещик или сын купца, занимая хорошую квартиру в несколько комнат, давал у себя приют двум-трем товарищам-беднякам и таким способом облегчал их нужду. А так как дворянство того времени держало знамя своего достоинства на достаточной высоте, то общий тон, даваемый им, не мог не влиять и на молодежь из бедного сословия, вырабатывая в ней сознание собственного достоинства. В те годы, за весьма немногими исключениями, среди студентов можно было встретить такого, который крепя сердце стерпит без возражений, если его в лицо назовут бедняком. Слово бедный — это было оскорбительное слово даже для самого беднейшего студента. И потому с большою неохотою шли студенты на казенную стипендию в университетское общежитие. Был однажды такой выдающийся случай, характеризующий студентов того времени. Однажды весьма богатый помещик, он же предводитель дворянства, Бахметьев, в начале великого поста прислал на имя ректора университета пятьсот рублей, с просьбой найти трех бедных студентов и выдать им поровну в единовременное пособие. Инспекцией университета было вывешено объявление, по которому приглашались студенты в инспекцию заявить о своей бедности. Но три не-

дели висело объявление, и никто в инспекцию не явился. Тогда сама инспекция, зная бедное состояние некоторых студентов, выбрала из среды их трех человек и пригласила таковых к ректору, который предложил им получить присланные в пособие деньги. Но студенты обиженным тоном отказались получить пособие.

— Мы не знаем, г. ректор, за что вы нас обижаете, говоря нам, что мы будто бедные? — обиженным тоном ответил один из них ректору на его увещания принять пособие.

— Бедный тот, кто лишен всяких способностей, кто хронически болен и потому бессилен противостоять напорам жизни! — сказал другой студент. — А мы, г. ректор, не бедны, если признаны целым университетом достойными быть студентами. При этом мы здоровы и сильны.

Присланные деньги г. Бахметьевым были отосланы в благотворительное общество, так как среди студентов университета не оказалось ни одного бедняка, нуждающегося в пособии...

Таким бедняком, не признававшим бедности, был и Павел Ильич Загиба. Всегда веселый, живой и остроумный, всегда готовый поддержать товарища в беде и напасти. Павел Ильич был завзятый танцор, рассказчик анекдотов и любитель нескончаемых споров. Поступивши в университет, он изучил французский и немецкий языки, почему в спорах всегда выказывал хорошие знания не только отечественной, но и иностранной литературы. Однажды товарищи подняли его насмех за пристрастие к танцам и доказывали, что человеку серьезного направления

не полагается увлекаться такими пустяками.

— Эх вы, отжившие жильцы земли! — возразил Загиба. — Кто это вам преподал такую философию? Увлечение — это прообраз молодости, это ключом бьющая жизнь. Только увлечения вырабатывают из них и людей науки, и корифеев высшего искусства, и самоотверженных граждан-героев. И так:

Будем петь мы и плясать,
Будем спорить и кричать!
В песнях, в танцах и игре, —
Точно в утренней заре, —
Залог света жизни новой,
На подвиг и любовь готовой!

— Вот вам мой экспромт, — ура! ! !

Такими и подобными им выражениями и экспромтами всегда Павел Ильич отстаивал свои убеждения и взгляды на жизнь, а оставаясь победителем он стяжал себе среди молодежи право на любовь и первенство.

Когда-то великий Гете сказал: «Die Jugend muss austoben», — юность должна перебеситься, — и, быть может. поэтому Загиба, не зная, куда и как израсходовать свою силу и избыток энергии, любил богатырские потехи и зимою нередко принимал участие в кулачных боях. Кулачные бои, или — как их называют в народе — кулачки, устраивались в то время очень не редко. В праздничные дни зимою, когда солнце клонилось к западу и мороз начинал крепчать, в разных концах города собирался кучками народ и забавлял себя кулачным боем. Этот род забавы в те годы был общепринятым во всех городах и весях земли русской, и потому я на-

хожу интересным описать кулачные бои, происходившие в г. Харькове, более подробно.

В те годы кулачные бои были общепринятым удовольствием обывателей г. Харькова. За Мариинским мостом на реке Нетече, у Барабошевой гребли, где в настоящее время Кузнечный мост, у Сомовой гребли, где теперь садовое заведение г. Грикке, на льду собирались кучками мальчишки и, как бы греясь на морозе, начинали угощать друг друга кулаками. При этом то один, то другой из мальчиков подбегал к прохожему и внезапно угощал его кулаком по чем пришлось. Получивший удар кулака бросался на мальчика, который быстро убегал и таким маневром затягивал прохожего в кучу дерущихся. Таким способом увеличивалось число дерущихся и толпа доходила до внушительных размеров.

Среди кулачных бойцов существовал даже особый язык, лаконический и понятный лишь тем, кто считался заправским мастером. Так например: дать блоху — это значило ударить в шею; пустить звонаря — значит дать удар в ухо; положить гриба в живот — значит дать удар в грудобрюшную преграду и проч. и проч. Но на вышеупомянутых местах кулачные бои не были в славе. Их вообще называли куриными боями, и в деле этого искусства эти бои играли роль, так сказать, средних учебных заведений. Главная же арена кулачного боя всегда составлялась на льду р. Лопани, вблизи Ивановской левады.

Там собиралась толпа, состоящая не только из молодежи, но и старики принимали активное

участие в этих кулачных боях. И отличившийся когда-либо на таковом кулачном бое делался известным, как герой, всем окрестным окраинам г. Харькова. Так, кузнец с Ивановки Титько был признан всеми за бойца, которому нет равного. Бои при Ивановской леваде назывались быками, и если кто был в бою на быках, — значит, имел силу.

В дни рождественских праздников толпа нередко доходила до тысячи человек, так как ее составляли жители Холодной и Лысой гор, жители подгородного села Ивановки и все население Песок с целым районом подгорной части, от Клочковской улицы, Панасовки, Кацарской и Чеботарской улиц и кончая Конторской улицей. Жители нагорья и погорья участвовали в боях как бы две враждебные партии, из которых одна называлась Горой, а другая — Замостьем. Замостье шло против Горы или же Гора брала штурмом Замостье. Битвы иногда доходили до такого ожесточения, что стоны искалеченных и полуубитых потрясали воздух и разогнать толпу уже не представлялось никакой возможности. В таких случаях выезжала пожарная команда и всю толпу обливали из труб водою до тех пор, пока народ не расходился. И тогда на оставленной толпою арене боя лежали люди, истекающие кровью, с подбитыми глазами и с перебитыми челюстями.

Любовь друг к другу позабыв,
Вражду в забаву превратив,
Они, шутя, дерутся, нападают
И землю кровью обагряют...

Не обходились такие битвы и без того, чтобы кого-либо из обывателей намеренно не побили

так, что он, пролежав некоторое время, умирал в цвете лет и сил.

Слесарь Дюжанов сватался к дочери маляра Бунаковой, тогда как невеста была более расположена к пряничнику Разовкину. Чтобы избавиться от соперника, Дюжанов устроил так, что Разовкин был сильно избит в кулачном бою и, прокашляв с год, умер.

Но были и случайные, не намеренные убийства. Так, однажды девица Мамкова, дочь сапожника, спасая своего жениха из горячей свалки, была убита ударом в висок и потоптана толпою.

Вот в таких-то боях любил Загиба принимать активное участие, и особенно в таких случаях, когда Замостье ослабевало, а Гора брала верх.

Одевшись попросту в народный костюм, Павел Ильич шел по направлению Клочковской улицы, к месту кулачек.

Устрашенные напором Горы обессиленные бойцы возвращались с битвы, рассуждая между собою о неудачно сделанной вылазке. Но, увидавши Загибу, они бегом возвращались к своим, чтобы оповестить, что Павло Загыба идет на помощь. И эта радостная весть поднимала дух храбрости и отваги у пораженных Горою замостцев. Являлся Загиба и, как погасавший костер вновь вспыхивает от брошенного в него горючего материала, так начиналась ожесточенная борьба с появлением любимого бойца.

— А ну, хлопци-козаки, гоните Гору в нору! — кричал полтавский геркулес, и все вновь бросались в бой.

Таковы были физическая сила и влияние на толпу Загибы, и победа почти всегда оставалась за Замостьем.

Надеясь на свою силу и любя простоту жизни, Павел Ильич жил на Журавлевке, откуда путешествовал каждый день в город, несмотря на невылазную грязь, на сугробы снега и на ужасную гололедь.

Там же, на Журавлевке, вблизи его квартиры жила бублейница Мавра Стряпуха. А у нее была дочь Ульяна, краснощекая и круглолицая казачка, пленившая собою Павла Ильича, который с отцовской заботливостью занимался ее развитием.

Он выучил ее читать и писать, познакомил с поэзией Шевченко и Пушкина и даже выучил ее аккомпанировать на гитаре, так как Ульяна, или Уля, как он любил ее называть, любила петь народные песни.

— А наш Загиба обворожил совсем Улю Стряпуху! — как-то, смеясь, сказал один из его товарищей.

— Honny soit qui mal y pense! [1] — серьезно ответил Загиба на замечание товарища и погрозил пальцем.

— Ну, что скрываться? — в свою очередь возразил ему товарищ. — Ведь ты не женишься на ней?

— А почему бы и не жениться? Она — мещанка, а по роду — казачка. А я кто? По роду — внук простого казака и сын бедного пономаря. Вот и все.

[1] Французская пословица: «Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает».

— Да тут не в родословиях дело, а дело в том, что ты не женишься на ней.

— А я вам говорю раз навсегда, что Уля — моя невеста, и потому прошу о ней не говорить дурно!

И Загиба говорил серьезно. Он любил Улю и, развивая ее, готовил себе в подруги жизни.

Но и Уля была предана ему всею открытою душою полудикарки, готовой, не задумываясь, умереть, если бы это оказалось необходимым для блага Павла Ильича, которому отдала она свою душу и сердце.

Был праздничный день масляной. Разгул народа принял широкие размеры, и полупьяная толпа с энергией, сильно поднятой не в меру выпитой водкой, собиралась на льду у Ивановской левады для кулачного боя. Уже мальчики, отделившиеся в сторону, работали на расстоянии, заманивая прохожих к бою. Кулачный бой крепчал. Толпа росла с небывалой быстротой, и в воздухе был слышен какой-то зловещий гул от увесистых кулаков и от падения тел, не устоявших от меткого удара, обессиленных бойцов. Вдали от боя, там и сям, стояли жены, сестры и матери бойцов, которые то всхлипывая, то плача и осеняя себя крестным знамением, дополняли густоту красок сурового мотива картины. В этот последний день масляной бой был ужасный. Гора брала верх над Замостьем и сильно теснила своих противников по льду, по направлению к городу, оставляя на брошенном ею месте избитых и полуживых людей.

Замостьем, видимо, начинала овладевать паника. Многие бежали с места битвы по напра-

влению к городу и, встречая знакомых, спешили сказать: «Замостье бьют», или: «Гора взяла». Такие возгласы возбуждали энергию и злобу у прохожих, которые, забывая цель своего пути, поворачивали в сторону и бежали ожесточенными, как бегут на пожар, по направлению к кулачкам. Казалось, в городе творилось что-то необычайное, и обитатели «Замостья» действительно испытывали поражение от какого-то жестокого неприятеля, с которым не далее полудня того же дня делили хлеб-соль и родственные чувства. Уныние, соединенное со страхом, охватывало душу каждого обывателя, случайно делавшегося свидетелем этой кулачной расправы. Особенно же удручающе влияла эта картина на женщин и детей, которые бежали и плакали...

У Павла Ильича уже давно побывали его агенты и обстоятельно пояснили ему тяжелое положение Замостья. Одетый, по обыкновению, в простой костюм, Загиба шел медленно по улицам города, держа путь к месту кулачек. Но его давно уже ожидала по пути Уля и, присоединившись к нему, начала просить, чтобы он в этот день не шел на кулачки.

— Павел Ильич! Заря ты моя румяная! Не ходи ты сегодня на кулачки, — умоляла его Уля, останавливая Павла Ильича не раз и не два на пути его.

Павел Ильич утешал Улю, но не переставал приближаться к месту боя. Уже слышен был гул толпы, возгласы и стоны, время от времени потрясавшие воздух. Уля крепко держала его за руку, но ее слезы и просьбы, как видно, начинали надоедать ему. Но вот вдали показалась гу-

стая толпа народа. Точно одно чудовищно-бесформенное тело, с тысячью голов, волной колыхалось, передвигаясь по льду то в одну, то в другую сторону, и стонало.

Вокруг этого чудовища, освирепевшего до безумия, то там, то здесь сидели и полулежали в снегу обессиленные бойцы с окровавленными лицами и с помятыми боками. В это время один из убегавших от побоища, увидавши Загибу, быстро подбежал к нему.

— Павло, помоги, наших бьют! — крикнул он Загибе.

Недоставало этих слов отчаяния и мольбы, чтобы заставить Павла Ильича ринуться в бой, отдавшись борьбе бесповоротно. Он быстро оттолкнул Улю, державшую его за руку, и смешался с толпой, походившей на черную грозовую тучу...

На сцену нашего повествования является новая личность, сыгравшая трагическую роль в общем течении рассказа.

На Сумской улице дом, ныне состоящий под номером двадцать четвертым, в то время принадлежал дворянину Броневскому, который продал свое имение, купил в городе вышеуказанное место, выстроил дом, и теперь существующий, в один этаж, и открыл каретное заведение. Это был в то время среди дворян своего рода феномен.

Посредине двора было устроено несколько кузен, а по сторонам их — мастерские. Каретное заведение Броневского в то время было лучшим заведением на весь юг России. Его работы кочь-

кареты и коляски конкурировали с экипажами венскими. У этого Броневского в числе многих рабочих и мастеров жил знаменитый кузнец Захар Сорока, который известен был не только как искусный кузнец, но и как силач, отличавшийся в кулачных боях.

За последнее время Захар Сорока почти не участвовал в кулачных боях. Его однажды одолел Павел Ильич и, сваливши под себя, не дал ему возможности вывернуться и стать на ноги. Этот поединок поколебал его славу, и среди народа ходил о нем такой рифмованный отзыв:

Силен был Захар Сорока,
Пока Павло не дал ему урока...

Уязвленное самолюбие силача развило в душе его затаенную злобу к сопернику Загибе. А к этому инциденту присоединилось еще и чувство любви к краснощекой Ульяне Стряпухе. Он задумал послать к ней сватов и получил на свое предложение отказ.

Самолюбие Захара вспыхнуло неугасимым пламенем. Он увидал в лице Павла Ильича какое-то чудовище, которое легло на его жизненном пути и отнимает у него не только славу как бойца, но и право на счастье с любимой женщиной. Не трудно вообразить, что́ при таких неудачах способен сделать полудикарь-человек, стоящий по развитию на первых ступенях цивилизации!.. Что способен сделать кузнец Сорока?..

Захар Сорока порешил в душе своей убить Загибу и этим путем достигнуть двух целей: жениться на Ульяне и опять сделаться первым силачом на все Замостье.

Сорока, как и Загиба, по месту жительства принадлежал к Замостью, но на этот день перешел на сторону Горы, предложивши ей помочь одолеть Загибу. Такое предложение было принято Горою с восторгом, и в день кулачного боя, который мною описан выше, Захар сидел, не тратя напрасно своих сил, в стороне от боя и выжидал появления Загибы.

Движимый неудержимою злобою к ненавистному сопернику, Захар Сорока выковал себе в кузне короткий и тупой гвоздь, с большою, в старинный пятак величиною, шляпкою грибовидной формы. Зажимая тупой конец такого гриба в кулак и таким образом делая на вершине кулака металлическую площадь, боец пускал это орудие в ход и, конечно, оставался победителем, хотя такие орудия шли вразрез с правилами кулачного боя и строго запрещались кодексом кулачного права. Но вот Павел Ильич, как мы уже знаем, вступил в бой, и радостный крик замостцев огласил воздух. Несмотря на усталость и на одолевавшее толпу уныние, энергия у всех сразу поднялась и силы возросли до maximum'а. Гора заколебалась и быстро начала слабеть. Многие уже оставили место боя и убегали. В это время Захар Сорока вмешался в толпу и с свежими силами вступил в бой. Направо и налево от его руки валялись люди, по которым, точно по мосту, шла толпа, напирая вновь с неудержимой силой на Замостье. Еще два-три поворота, еще один-два удара и... Павел Ильич Загиба, как сноп, падает от руки Сороки. Гора залилась восторгом рукоплесканий, а Замостье, пораженное паникой и потерявшее своего любимого и надежного

бойца, с криком и визгом стало разбегаться. Сорока мгновенно скрылся. Еще три-пять минут, и бойцы Замостья разбежались; бойцы Горы разошлись по домам, и только избитые и изувеченные лежали там-сям на льду и свидетельствовали о том ужасном спорте, который многим стоил жизни, без права на премию и награду... Среди этих избитых лежал, едва дыша, и Павел Ильич Загиба. Уля первая прибежала к своему любимцу и, преклонив перед ним колена, обливала его горючими слезами. Несколько человек студентов из его приятелей, которые все время следили за ходом кулачного боя, унесли своего товарища домой для подания медицинской помощи.

На другой день по городу разнеслась молва, что на кулачках убили какого-то человека. В то время слухи о происшедшем, подобно бактериям, размножались с быстротою, достойною удивления. Но среди бессмысленной кучи вымыслов была и правда, которая называла по именам и Загибу, и Сороку-кузнеца, но так как ложь своим количеством вариантов и вымыслов превышала правду, то никто не знал ничего обстоятельно, и спустя два-три дня о происшедшем перестали говорить.

Между тем, Павел Ильич не на шутку слег в постель и, несмотря на тщательный за ним уход товарищей и Ульяны, а также на медицинскую помощь, не выздоравливал.

Пролежав три недели, он в конце февраля месяца умер на руках своей Ули, прося ее молиться о нем...

Прошло пятьдесят лет со дня смерти Павла Ильича Загибы. Но и полвека времени не изгла-

дили в душе моей симпатичный и достойный любви образ этого талантливого, доброго и с откровенной душой казака, как он любил себя называть. Доживая дни свои среди современной молодежи и слыша нередко ее сетования на жизнь и отчаянные решения крайнего пессимизма, мне приходят на память взгляды на жизнь этого веселого и трудолюбивого бедняка, который любил науку и жизнь, — одною силою ненадломленного чувства. Путь его жизни был устлан надеждами на все хорошее и благое. И становится жаль, что эти люди энергии и жизни сошли со сцены.

А что же сталось с Улей? . .

Много и много лет спустя, в одну из пятниц великого поста, у паперти одного из храмов Харькова, мне пришлось встретиться с Ульяной Власьевной Стряпухиной, бывшей невестой Павла Ильича Загибы. Среди целого ряда торговок, продававших бублики людям, выходившим из храма после исповеди, стояла у лотка пожилая женщина, а возле нее стояла лет шестнадцати красивая девушка, с ее же лотка предлагавшая бублики говельщикам. Эта девушка сильно напоминала мне Улю в те ее годы цветущей молодости, когда я знал ее невестой казака Загибы. И только это разительное сходство заставило меня обратить особенное внимание на стоявшую возле нее старую женщину. По чертам лица этой женщины я узнал, что это была сама Ульяна Стряпухина, мать молодой девушки, стоявшей возле нее.

Я разговорился с нею, и она не замедлила восстановить в своей памяти меня таким, каким она знала меня в лучшие дни своей молодости.

*

— Ну, как же вы поживаете? — спросил я Ульяну, обрадованный неожиданной встречей со старой знакомой.

— Да что тут говорить? — ответила мне Ульяна на малороссийском языке. — Что было — то прошло, да только не забылось. Вот видите, как я состарилась? На старую репу похожа стала. А что же поделаешь? Надо жить когда бог того требует!...

— Вы замужем? — спросил я и посмотрел на молодую девушку, стоявшую возле меня.

— Нет! После Павла Ильича какое же замужество? — вздохнув глубоко, ответила мне Ульяна, и слезы брызнули из ее глаз.

— А это, вероятно, сестра ваша? — спросил я, указывая на молодую девушку.

— Нет! Это моя родная дочь! — ответила Ульяна и, помолчав немного, прибавила: — мы теперь вдвоем с нею, как пара голубков, жизнь проводим.

У всякого своя доля, да кто ни знае,
У всякого своя воля, да кто ни мае.

— Да, так вот и мы с нею — ни доли, ни боли не знаем, и только бог наша надежда! А що було — то загуло, — закончила Ульяна малороссийской фразой и села у своего лотка, призадумавшись.

Мне жаль стало тревожить ее старые и все еще не зажившие раны. Я поспешил проститься с нею и пошел своей дорогой.

Кому неизвестна тяжелая тогдашнего времени воинская повинность? Попадавший в солдаты на-

всегда расставался с семьею и с родным углом. Только через двадцать пять лет он получал полную отставку и мог возвратиться на родину. Но через промежуток такого времени, по истечении четверти века, когда же он находил на своей родине? А если мы примем во внимание, что в то время войны были гораздо чаще и на Кавказе война нескончаемо тянулась целые годы, то станет понятным, что через двадцатипятилетний период времени немногие оставались в живых из тех, которые были сданы в солдаты. Такая тяжелая воинская повинность развила среди народа стремление всеми правдами и неправдами обойти ее. И вот, по существующим тогда правилам, желающие поступить в солдаты могли добровольно продавать себя вместо человека, состоявшего на очереди. Семья, желавшая поставить солдата вместо сына, стоявшего на очереди, нанимала такого человека за двести или триста рублей, который добровольно за эту сумму шел в солдаты. Нет сомнения, что в большинстве случаев добровольно шли в солдаты или, как их называли в Малороссии, «наймиты», люди, которым нечего было терять, которые ославили себя дурным поведением и составляли сорный элемент среди трудолюбивых обывателей городов и деревень. Среди них были и такие, которых сельские общества принуждали уходить из их среды и даже содействовали приисканию для них нанимателей. Это были непробудные пьяницы, завзятые воры, конокрады, буяны, истязатели своих жен и детей, заподозренные в поджогах, — словом люди самой низкой нравственности и потому во всяком роде нежелательные члены как городских, так и сель-

ских обществ. В виду этого нанять за себя «наймита» — это еще не значило успокоить себя, так сказать благополучно покончить дело с этим вопросом. Договор с наемщиком составлял всегда только пролог к многоактной трагикомедии. Трагикомедия начиналась за две недели до сдачи наемщика в рекруты. Кроме условной суммы денег, наемщик всегда выговаривал себе право, перед сдачей его в рекруты, покутить и пображничать на счет своих нанимателей. Он ходил по городу или по селу в сопровождении семьи, нанявшей его, с музыкантами, которые должны были играть на всяком месте по его приказанию. Наемщик, полупьяный, шатаясь по улицам города, заходил в мелочные лавки, в кабаки, в ренсковые погреба и требовал для себя вина, закуски, водки и разных лакомств. Кой-что ел и пил, кой-что только пробовал и вслед за сим разбрасывал все по полу и по улице. Нанявшие его в рекруты обязаны были беспрекословно платить за все деньги. Всякая возникшая в его голове мысль мгновенно приводилась им в исполнение. Вдруг среди площади желалось ему сесть и играть в карты. И все его провожавшие садились и играли с ним в карты. В другом месте ему желалось, чтобы под скрип музыки все его провожатые плясали «журавля». И танцы начинались. Проходя на базаре мимо лавки с черным товаром и увидавши стоящий у лавки на земле, в большом и мелком жбане, деготь, «наймит» прыгал в жбан и, стоя в дегте по косточку, плясал в нем под музыку, расплескивая деготь во все стороны. Провожавшие его должны были беспрекословно платить за разлитой им деготь.

Иногда причудливые требования и выдумки наймита доходили до таких размеров, что переходили в издевательство над членами семьи, его сопровождавшей. Нежданно-негаданно вдруг наймит брал в лавке котелок, в котором косари варят себе кашу, или деревянное ведро, надевал их на голову старухи-матери семьи и приказывал ей итти вперед приплясывая. А затем он сам снимал с головы котелок или ведро и разбивал его об землю. И так каждый день, и так целые две недели, до сдачи наймита в солдаты. За эти роковые и полные скорби две недели, семья настолько ослабевала от нравственных страданий, что требовались месяцы, чтобы страдальцы пришли в прежнее положение. За эти две недели израсходовались и физические силы членов семьи, так как не было ночи, которую они могли бы провести в безмятежном сне. Я уже выше сказал, на каком низком нравственном уровне стояли вообще все наемные в солдаты. И потому им нельзя было довериться ни в одном слове.

Семья, нанявшая «наймита», не могла поручиться, что он, нагулявшись на ее счет доотвала, не уйдет от нее, пользуясь темнотой ночи и отсутствием должного за ним надзора. Поэтому каждый из семьи по очереди не спал по ночам и сторожил его.

«Наймит» представлял собою полную распущенность и разнузданность нрава, доведенного до болезненных проявлений воли и разума. Среди диких индийских племен есть и теперь еще обычай приносить своим богам человеческие жертвы. Человек, предназначенный в жертву богам, обыкновенно пользуется полной свободою, и ему вся-

кий из верующих обязан все давать по его требованию, все ему прощать за сделанную обиду и служить ему, если он того потребует. Его кормят, поят доотвалу, он считается по их верованиям «табу», то есть «богами избранным» и потому неприкосновенным, священным... Нечто подобное представлял собою «наймит» во всей Малороссии, и старожилы Харькова, думаю, помнят хорошо этот тяжелый и полный безобразия тип наемного рекрута, который в те годы нередко оглашал улицы городов и сел своими криками и безобразным разгулом...

Что касается воспитания и образования юношества, то среди именитых и богатых дворян оно шло по раз намеченному шаблону. Помещики отдавали своих дочерей в институт или же в частный пансион. Мальчиков отдавали преимущественно в кадетские корпуса, так как военная карьера считалась лучшею и более достойною для дворянина. Юношей иногда отпускали в университет или же определяли в привилегированные учебные заведения, судя по рангу и чину. До поступления в какое-либо учебное заведение как мальчики, так и девочки пользовались домашним воспитанием под ферулой гувернеров, гувернанток и различного рода педагогов и бонн, преимущественно иностранного происхождения.

Богатое купечество в деле приобретения культуры не мало обязано дворянству. Купцы всегда старались подражать именитым и богатым дворянам и с них брали примеры, по крайней мере для упорядочения внешней стороны своей жизни. Поэтому нередко можно встретить, что едва грамот-

ный купец, сам живший простою жизнью, вел своих детей на дворянский лад и радовался, когда сын кончал университетский курс образования. Купеческие дочери воспитывались в лучших пансионах или в институте. В доме обстановка была по последней моде: на кухне всегда был повар, в приемной — лакей для доклада; элегантные экипажи и вечера с музыкой дополняли картину домашнего быта купца того времени. При детях были гувернеры и гувернантки, а французский язык без умолку был слышен среди возраставшей молодежи. Но если помещик, по словам поэта, наблюдал жизнь «из окна своей кареты», то купец изучал жизнь дворян сидя у дверей своей лавки. Он в большинстве случаев брал от дворян лишь внешнюю сторону их пышной жизни, упуская то, что достойно было подражания. При этом нельзя не отметить, что в среде купечества лежала тяжелою тенью наклонность подражать дворянству в его крепостнических отношениях к людям, стоявшим по положению своему в зависимости от него. Я говорю о приказчиках и о прислуге, которые проводили дни своей жизни под тяжелым ярмом гнета. Семья русского купца, по существу своему всегда гостеприимная и хлебосольная, добродушная и отзывчивая к нуждам ближнего, таким подражанием нередко нравственно калечила себя, теряя свои незаменимые и дорогие качества.

В те годы содержать частный пансион было весьма выгодною профессиею. Для того, чтобы отдать сына или дочь в пансион на полное содержание, нужно было платить в год до тысячи рублей. При этом требовалось, чтобы пансионер или пансионерка принесли в дар пансиону: одну се-

ребряную ложку, нож и вилку, шесть салфеток и две скатерти. Если мы примем во внимание, что в пансионе, имевшем хорошее реноме, было не менее двухсот учащихся, то у нас получится в один раз двести пар ножей, двести серебряных ложек, сто дюжин салфеток и более тридцати трех дюжин скатертей. Не следует забывать, что в пансионах серебряные ложки заменялись мельхиоровыми, ножи нередко попадались без колодочек, вилки — без остриев, салфетки были убраны латками, а скатерти имели большие вставки. Интересно знать, где хранилась эта масса новых ложек, ножей, салфеток и прочего инвентаря, приносимого в дар пансиону учащимися? . .

Помещики обыкновенно давали в услужение для своих детей мальчиков или горничных из крепостных своих крестьян и, кроме того, ежегодно к рождеству и к празднику пасхи присылали целыми подводами масла, гусей, уток, муку, сало и прочие продукты деревенского хозяйства. А дети купцов привозили в подарок начальникам пансионов головами сахар, фунтами чай и кофе, столовое вино, конфекты, пряники, пастилы разных сортов и даже варенье домашнего приготовления. Если ко всему сказанному мы прибавим, что ежегодно именины начальника или начальницы пансиона сопровождались дорогими подарками от учащихся, которые преподносились с затаенным желанием ценностью своего подарка превзойти своих товарищей и подруг, — то перед нами сама собой нарисуется картина целого вороха приношений на алтарь жрецам Минервы. [1]

[1] Из римской мифологии — богиня мудрости, покровительница наук.

Что касается учения и жизни учащихся, то они учились и жили согласно требованиям педагогии, гигиены и медицины.

Для большинства городских учащихся семидневная неделя превращалась в четырехдневную. Затем следовали: именины бабушки, дедушки, тетеньки, дяденьки, маменьки и тятеньки, которые строго соблюдались как великие дни праздников. Особенно частые перерывы учения были в обычае в женских пансионах. То от усиленной умственной работы болела голова, то развивался упадок сил и годовой врач дома оставлял барышню дома дня на два и более того. Но такое уменьшение числа дней в неделе никогда не влияло на успехи учениц и на переводные экзамены. Все знали свои уроки и блестяще отвечали на экзаменах. Никто не оставался на второй год в том же классе.

Пансионов было много, но я остановлюсь на двух лучших пансионах, которые в то время пользовались особенным доверием и любовью со стороны жителей города. Пансион мадам Ларенс и пансион Метленкамф — это были два лучших частных пансиона. Нет сомнения, что лучшим женским училищем того времени бесспорно был институт благородных девиц. При всей замкнутости какого-то монастырского режима, в нем строго выполнялась учебная программа, находясь под непосредственным наблюдением инспектора по учебной части. Окончившие курс девицы выходили со знанием истории литературы, истории всеобщей и русской, закона божьего и французского языка. При этом большинство из институток прекрасно играли на рояли.

Два вышеупомянутых частных пансиона в своем направлении, а также в преследовании целей в деле воспитания, не отличались один от другого, хотя, казалось, шли по разным дорогам.

Пансионы эти не придавали особенно важного значения научным знаниям. Но пансион Ларенс обращал особенно строгое внимание на практическое знание французского языка и на умение девиц держать себя в обществе, выражать свои чувства, говорить, ходить, встречать гостей и прощаться с ними. Затем, придавалось весьма серьезное значение умению красиво одеться и вообще ревниво смотреть за своей внешностью. Пансионерки пансиона Ларенс были тщательно удаляемы от всего, что могло их навести на ненадлежащие мысли или на приобретение каких-либо слов, принадлежавших к лексикону девичьей или кухни.

Каждое утро девица, вышедшая вполне одетою из дортуара или приехавшая из дома родителей как полупансионерка, прежде чем войти в общий зал или в класс, должна была представиться начальнице для надлежащего ее осмотра. Малейшее упущение в костюме или легкое отношение к своей физиономии подвергало девицу строгим замечаниям со стороны заботливой maman.

Все объяснения и разговоры шли на французском языке, и потому, спешу сказать, воспитанницы пансиона Ларенс, после институток, считались хорошо умевшими говорить по-французски.

— Ах, милая, — говорила maman, осматривая лицо и костюм девушки. — Как ты забываешь мои приказания! Я уже не раз говорила тебе, что это очень неприлично иметь девице усы. А у

тебя — посмотри — опять начинают пробиваться усы. Надо их выкатывать мякишем из хлеба.

— Простите, maman! — робко отвечала сконфуженная девица. Очень больно вырывать волоски, хотя бы и хлебом.

— А что же делать, моя милая? Для того, чтобы быть хорошенькой, можно претерпеть и не такие муки.

И ученица уходила сконфуженною.

— А ты, моя дорогая! — обращалась начальница к другой воспитаннице: — что это у тебя брови, точно щетина торчат? Надо их приглаживать как можно чаще и даже фиксатуарить.

И девица делала низкий реверанс и преклоняла свою голову в знак покорности.

— А с тобой, моя милая, я уж не знаю, что и делать, — обращалась начальница к девице, приехавшей из дома родителей. — Ну, посмотри, какой у тебя шевелюр. Он тебе совсем не идет. У тебя круглое лицо, и потому тебе надо убирать свою голову высокой прической, а ты, напротив, украшаешь ее круглой кренировкой. И выходит, что ты из своей головы делаешь какую-то тыкву. C'est à mauvais ton! [1]

— Да это, maman, моя горничная не умеет чесать! — смело и не задумываясь отвечает девушка. — Она такая дура!

— Что, что, что? Ай, ай, что ты говоришь? Вообще, mes chèrs enfants, [2] помните и не забывайте! Девица должна строго следить за своей красотой, которая должна проявлять себя во

[1] Это дурной тон.
[2] Дорогие дети.

всей ее жизни, во всех ее движениях. Девица должна быть скромна, тиха, почтительна и наивна как безгрешное дитя, как неземное существо. Ее реверанс, ее улыбка или неожиданно зардевшийся румянец на щеках — все ценится дорогою ценою. Если девица не будет знать, где находится город Стокгольм, или забудет табличку умножения — это ей простят. Но если она будет проста в обращении, если она не будет уметь говорить по-французски или не сумеет одеть и причесать себя так, как ей идет к лицу,— это никогда ей не простят. Такая девица весьма легко может остаться в девушках навсегда, несмотря даже на свое богатство... Помните это и идите заниматься, а в пятницу все приезжайте вечером ко мне на soirée avec manoeuvre. [1]

Девицы, выслушавши наставление своей начальницы, делали почтительнейший реверанс, целовали руку своей maman и уходили в класс, в ожидании своих учителей.

М-me Ларенс приказала своим воспитанницам съехаться к ней в пятницу вечером на soirée avec manoeuvre.

Считаю необходимым пояснить смысл и значение этих вечеров, которые назначались, время от времени, раза два-три в продолжение учебного года.

На такие вечера съезжались воспитанницы одетыми, хотя в платьях не первой свежести, но по-бальному.

Начальница встречала их в большом рекреационном зале и заставляла проделывать различные приемы из светской жизни.

[1] Вечер для упражнений.

— Ну, милая, — говорила начальница, обращаясь к воспитаннице, — в вашем доме сидит гость — молодой человек. Вы должны выйти к нему, чтобы провести с ним время. Как вы это должны сделать?

И девица, как бы входя в зал из другой комнаты, шла по направлению к начальнице, делала реверанс и садилась на какой-либо стул.

— Так! Хорошо! — говорила начальница, поощряя свою понятливую воспитанницу.

Но вот вошла в зал только что приехавшая из дома на вечер девица.

— Что это, что это? У вас, моя дорогая, слишком открыто декольте. Так невозможно! Вам надо непременно надевать «modestie». Помните навсегда: «La beauté — coûte un million, mais la modestie n'a pas de prix». [1]

Но в это время одна из девиц, говоря с другою, грубо толкнула ее в сторону.

— Что ты, милая? Разве можно так поступать? Надо скрывать свой нрав и уметь не быть, а казаться. В этом задача жизни девушки...

Затем девицы то будто провожали гостя, то будто давали согласие на мазурку, то садились играть, по просьбе кавалера, то встречали и видались с бабушкой или с дедушкой.

Проведя в таких упражнениях несколько часов, девицы разъезжались по домам и на другой день, в субботу, уже не приезжали на занятия, так как были очень уставшими...

Если воспитанницы пансиона Ларенс совершали попарно прогулку по городу, то классные дамы, сопровождавшие их, не переставая сле-

[1] Красота стоит миллион, а скромность бесценна.

дили за всем, что совершалось на улице, и отклоняли внимание девиц от всего, что считалось неприличным или неуместным для взоров воспитанниц.

— Medames! — обыкновенно говорила классная дама своим девицам, проходя мимо длинного забора, — не смотрите на забор!

Если где-либо на тротуаре молодой парень заигрывал с торговкой, немедленно делались распоряжения:

— Medames! Не смотрите в правую сторону! — Пансион Ларенс вообще был излюбленным пансионом дворян и богатого купечества, так как институт не мог вмещать в себе всех девиц, желавших поступить. Его начальница особенно пользовалась любовью со стороны купечества за то, что она никому из них не отказывала в добром совете. Просила ли мать какой-либо воспитанницы научить ее дочь, как она должна была отнестись к своему жениху при первом его визите в их дом; нужно ли было уговорить окончившую курс воспитанницу не отказывать в руке такому-то жениху, — эта почтенная и добрая воспитательница всегда с участием относилась к просьбам матерей ее питомиц и силою своего влияния на них успевала удовлетворить желания как матерей, так и милых их дочерей.

Совсем другого направления, но не менее полезного и разумного, был пансион м-м Метленкамф. В программе пансиона Метленкамф высказывался дух национальности, к которой принадлежала почтенная воспитательница. Как немка, она обращала менее внимания на внешний облик воспи-

танниц и не придавала строгого значения некоторой шершавости манер их и плохому умению говорить по-французски. Зато на науки у нее было обращено более тщательное внимание. В ее пансионе воспитанницы получали по пяти из закона божьего и из чистописания.

— Ах, моя милая! — говорила maman своей воспитаннице, рассматривая ее тетрадь чистописания. — Разве можно так плохо писать? Ты знаешь, что хороший почерк для девицы — это лучшее ее приданое. Какая же из тебя будет жена, если ты не будешь уметь записывать даже белье своего мужа? Не хорошо, не хорошо! Иди и учись лучше!

И сконфуженная девица уходила, проливая слезы на плохо написанную страницу своей тетради.

Затем обращалось внимание на прилежное занятие математикой.

— Математика, математика и математика, мои милые дети! — говорила не раз всем своим питомцам начальница. — Учите сложение и вычитание; без них вы будете плохие жены. Какими вы будете хозяйками, когда не сумеете сосчитать базара? Помните немецкую поговорку:

Wer sein Rechnung nicht weis,
Der hat kein Preis! [1]

В пансионе Метленкамф было воспитанниц не меньше числом, чем в пансионе Ларенс. Но, они, по богатству и по происхождению принадлежали к классу менее значительных и зажиточных людей. Среди учащихся этого пансиона были дети чи-

[1] Кто не сможет свести свои счеты — тот ничего не стоит.

новников, учителей, духовенства, военных и помещиков, имевших до ста душ крестьян. Но как бы ни было, а в этом пансионе так же, как и в пансионе Ларенс, усердно занимались музыкой, и многие девицы весьма осмысленно играли на рояли. Отличительною же чертою этого пансиона были обычные литературные вечера, без публики и даже без посторонних посетителей. В те годы так много было талантливых наших русских писателей, которые, как бы сговорившись, дарили публику поочередно то одним, то другим художественным произведением. На вышеупомянутых литературных вечерах все эти произведения читались учителем русского языка, с комментариями и с пояснениями характеров действующих лиц и героев повести, романа или поэмы. И эти разумно придуманные вечера не проходили бесследно. Они сыграли свою благотворную роль в деле интеллектуального развития молодежи того времени и вошли в обычай, даже в привычку препровождения времени, о чем я буду говорить ниже.

Но, как и все на свете, не без комических сторон были эти два, друг другу противоположные, пансиона. В пансионе Ларенс, в тех видах, чтобы всякая девица представляла из себя Mignonne, как я уже сказал выше, преследовалось всякое слово, носившее в себе двоякий смысл. Так, например, нельзя было девице говорить: «C'est le fils du second lit». [1] Она должна была или избегать этой фразы или же, в крайнем случае, говорила так: «C'est le fils от второй мамаши». В пансионе Мет-

[1] Буквально — сын со второй постели.

ленкамф, напротив, эта фраза произносилась также по-французски, но с другим окончанием, по-русски. И вот, в те годы циркулировал такой анекдот, который, конечно, не может быть принят как характерный для всех девиц, но тем не менее достойный быть занесен на страницы моих воспоминаний.

Две подруги и приятельницы, но учившиеся не вместе, а в этих двух пансионах, разговаривая между собою, должны были употребить вышеприведенную мною фразу.

— Ах, ты знаешь, Полина, Гришу Шумова? C'est le fils от второй мамаши? — спросила однажды воспитанница m-me Ларенс свою подругу — воспитанницу m-me Метленкамф.

— Ах, Нюся! Разве можно так говорить? — чуть не с ужасом возразила ей подруга. — Так никогда не говорят. Надо говорить: C'est le fils от второго марьяжа...

Из приведенного факта видно, что описанные мною два пансиона, хотя на первый взгляд и разнились в своем направлении, но, тем не менее, в деле воспитания оба преследовали одни цели...

Что касается пансионов для мальчиков, то таковых было много, но более выдающимися были — пансион профессора Якимова, помещавшийся на Змиевской улице, в собственном доме Якимова, где в настоящее время солдатские казармы, а затем пансион тоже бывшего профессора, Сливицкого, помещавшийся на Сумской улице в доме, принадлежавшем ему, и, наконец, известный всему купечеству г. Харькова пансион «Немца», помещавшийся в первое время своего

*

существования в доме Земницкого, ныне доктора Вышинского, на углу Конторской и Рождественской улиц.

Пансион Якимова шел в параллель с пансионом для девиц. В этом пансионе учились тихонько, не спеша, а между тем с успехом переходили из класса в класс на радость родителям и на пользу отечеству. Но этот пансион недолго существовал и был закрыт вследствие происшедшей в Основянском бору дуэли надзирателя Фейерейзена с учителем географии Филаткиным за красавицу жену Якимова. Пансион Сливицкого был наилучший пансион среди многих частных пансионов. В этом пансионе с успехом готовились для поступления в университет и нередко со славой выдерживали вступительный экзамен. Воспитанники этого пансиона были весьма благовоспитанны и с достаточным развитием. Что касается годовой платы за полного пансионера, то таковая была очень высока, почему учащиеся в этом пансионе были преимущественно дети богатых дворян и купцов, готовивших своих детей как для поступления в университет, так и для других высших учебных заведений. Давно уже известно, что недостаточно иметь в руках благо, надо еще уметь воспользоваться этим благом. И потому немногие пользовались с успехом благами пансиона Сливицкого; но были и такие, которые злоупотребляли его доверием и свободой, какими пользовались воспитанники. Это повело к тому, что пансион терял доверие к себе и, наконец, должен был закрыться, о чем в то время многие жалели.

Но пансион «Немца» более других требует, чтобы на нем остановиться. О «Немце» ходили

тогда легенды, будто он был привезен стариком Кузиным в Россию в качестве камердинера. По ходатайству Кузина он был записан на русскую службу и, получивши первый чин, получил право на открытие пансиона.

Ну что ж? Не привыкать нам стать
Себя в науку отдавать
Различным пришлым господам.
Учил француз нас пустякам,
Учил нас немец, грек и чех;
И мы, послушные, — для всех
Меняли облик свой природный,
Приняв свет мудрости негодной...

Это был человек высокого роста, худой, с желтым лицом, раздражительный, суровый на вид, с седыми, нависшими на глаза бровями и с весьма плохим мнением о русских детях. Он их открыто называл наглецами и бездарными животными.

«Die russische Kinder das ist etwas unmögliches, darum sie sind alle dummköpfig!» [1] — был его постоянный и обыкновенный отзыв о всех русских детях.

И вот этому лицу и было вручено воспитание русского юношества.

Бедное русское юношество!..

«Немец», под сюртуком своим, у бокового кармана, имел пришитую пуговицу, на которой постоянно висела зеленая плеть, в роде собачьего арапника. Он сам преподавал немецкий и французский языки и чистописание. А потому не было дня, чтобы все классы не имели хотя по

[1] Русские дети — это нечто невозможное, и все они тупоголовые.

одному часу из его трех предметов. Но за каждую ошибку в ответе урока или за дурно написанную страницу он, не отходя от ученика, наказывал его плетью при всех, нагоняя этим на всех учеников и страх и слезы.

— Русска мальчишка только плетью и выучишь! — обыкновенно говорил он. — Когда ты вырастешь большим, ты придешь ко мне и спросишь: где та рука, которая меня била? я ее поцелую...

Как всякий человек, и он один раз в год бывал именинником. И вот, за неделю перед именинами, его жена, вечером, когда дети в рекреационном зале за общим столом сидели и готовили уроки для следующего дня, подходила к каждому ученику и говорила, чтобы ученик, когда поедет в субботу домой, в понедельник привез бы от родителей два рубля, так как такого-то числа будут именины «Немца» и потому положено купить ему в подарок от имени всех учеников люстру. Конечно, каждый год сообразно с ценою подарка менялась и цифра взноса. В субботу обыкновенно отпускали домой только тех учеников, которые за всю неделю не имеют ни одной единицы. Но в эту субботу были отпускаемы домой все ученики. Думаю, излишне говорить, что дети в понедельник с удовольствием спешили привезти ассигнованные для подарка два рубля.

Проходило время, и наставал торжественный день именин великого педагога.

В рекреационном зале вешался или ставился на стол подарок, и дети расставлялись у стен в шеренгу. С веселыми лицами ожидали дети

прихода именинника, который не заставлял себя дожидать долгое время.

С насильственной улыбкой на устах являлся «Немец» и, получивши от имени учащихся подарок, целовал своими жесткими устами двух-трех учеников, и объявлял, что в этот день занятий не будет и потому всем дозволяется резвиться и играть. Ученикам в этот день давался десерт, состоящий из лесных орехов и мятных пряников.

Дети, конечно, беспечно проводили день именин и были очень резвы и веселы до позднего часа ночи.

На другой день именин в обычный час начинались занятия, и пансионная жизнь вступала в свои права. Нет сомнения, что в каком-либо классе был и в этот день урок «Немца». И вот, если кто из учеников плохо отвечал, или даже совсем не знал урока, «Немец», не задумываясь, брал его ворот куртки, перетягивал через парту и начинал нещадно бить плетью.

— А, ты, подлец, думал, что я за два рубля тебя и бить не буду! Ты хотел меня подкупить? . .

И так далее на эту тему.

Такие поступки гуманного педагога не могли не дать плачевных результатов. Один из учеников, восьми лет, убежал из пансиона к полицеймейстеру Серебрякову, который в то время жил на Екатеринославской улице, в собственном доме (впоследствии принадлежавшем купцу Запорожцеву), и показал ему свое избитое тело. Серебряков, бывши знаком с его родителями,

принял участие в восьмилетнем страдальце и немедленно взял его из пансиона.

Но были и более серьезные факты, вызванные таким жестоким обращением педагога со своими питомцами. Был ученик Кочетов, который несколько раз жаловался родителям на суровое обращение с ним «Немца». Но на его жалобы не было обращено никакого внимания. Он начал умышленно воровать. Пропала со стола серебряная ложка. Но на эту пропажу не было обращено должного внимания. Тогда сразу пропадают три ложки. Поднялись самые строгие розыски и допросы среди прислуги. Как я уже сказал выше, дети помещиков нередко имели при себе мальчиков из своих крепостных для услуг. На одного из таких мальчиков и пало подозрение в воровстве четырех ложек.

Мальчик — Филатка — был до утра заперт в сарай с тем, чтобы отправить его в полицию для допроса под ударами розог. Узнавши это, Кочетов сам пришел к Ц. и заявил, что ложки украдены им и спрятаны там-то. Его признание оправдалось на деле, и ложки были отысканы. На вопрос, для чего он это сделал, Кочетов отвечал, что этим он желал вынудить «Немца» прогнать его из пансиона.

Такой факт не испугал «Немца». Великий педагог не унимался и попрежнему давал ход своей плети.

И вот, однажды из слухового окна крыши дома, занимаемого пансионом, показался зловещий дым. Прислуга бросилась на чердак и нашла там костер из вороха щепы и бумаги, из которого языки пламени подымались до стропил

крыши. К счастью, пожар был во-время захвачен и потушен домашними средствами. По расследовании, оказалось, что два брата Тахтарумовы, из Тифлиса, писали неоднократно родным, чтобы их взяли из пансиона, так как «Немец» бил их немилосердно. Но на их просьбы не было ответа. И вот, чтобы найти возможность быть взятыми из пансиона, они придумали поджечь дом и этим освободить себя от невыносимого педагога.

И, несмотря на вышеприведенные факты, пансион существовал весьма долгое время, меняя квартиры и плети, но не меняя своих отношений к детям.

Принимая во внимание, что большинство учащихся были дети весьма богатых родителей, как дворян, так и купцов, плативших содержателю по пятисот и более рублей в год, нельзя не признать, что все это характеризует нравы того времени, а также говорит и о тех взглядах на воспитание детей, какие доминировали в то время даже в хорошем обществе...

Жизнь того времени как богатых, так и среднего сословия граждан города довольно резко отличалась от жизни городской текущих дней. В те годы жизнь была внутри дома, тогда как теперь жизнь вылилась наружу, ушла из дома в общественные учреждения, на общий раут, на публичную арену, под открытое небо, в сады и рощи, в громадные залы клубов и собраний.

В былые дни семья помещика, дворянина или купца крепко держалась своего родного угла, своего дома. Каждая семья имела двух-трех

молодых людей, происхождение и поведение которых им было хорошо известно. И эти избранники посещали семейные дома, и в кругу семьи за общим столом, у кипевшего самовара, под руководством хозяйки дома, нередко институтки по образованию, проводили время в беседе и в чтении литературных изданий талантливых писателей.

Вечер нередко заканчивался игрою в фанты и даже танцами. Нередки были и музыкальные вечера, на которых дочери совместно с братьями и с молодыми людьми, допущенными в семью, играли на рояли в четыре руки или же составляли дуэты, трио и квартеты. Иногда можно было встретить молодого человека, который играл на двух и трех инструментах. Но, к сожалению, нужно сказать, что живопись и вообще рисование совсем не были развиты и как-то не пользовались симпатиями общества. И юноша, задумавший посвятить себя живописи и стремившийся в Академию художеств, переносил от членов семьи не мало неприятностей за свои намерения. Нужно было достаточно силы и воли и настойчивости, чтобы превозмочь все препятствия со стороны старших и выйти победителем.

В те годы художник и актер — это были родные братья, которых в обществе не любили, занятию которых не сочувствовали и которых избегали.

Но о художниках и их роли в описываемые годы я буду говорить в особой беседе, а потому возвращаюсь теперь к семейной жизни того времени. Тогдашние девицы, всегда строгие и чопорные, в семье своей, среди родных и в кругу

двух-трех избранных были просты и радушны, не пуская в ход тех уроков «хорошего тона», какими их с такой щедростью наделяли в пансионах. Почти у каждой барышни того времени был альбом, в который, по ее просьбе, подруги, знакомые и молодые люди писали стихи, в которых изливали свои чувства к той, которая пленила их сердце.

И каких только стихов в тех альбомах не было! Здесь был и четырехстопный ямб, и хорей, и амфибрахий, и даже александрийский стих. Все было годно, все шло в дело и помогало сердцу излить свои чувства. Иногда можно было встретить в альбоме даже рисуночки. То над крестом склонилась плакучая ива. А под рисунком стихи:

Я сердце свое здесь похоронил.
А та, которую я пылко так любил,
Меня зачем обворожила,
Зачем навеки погубила?..

То на странице чистенько нарисованы две голубки, которые, не стыдясь публики, целуются. А стихи дополняют картину:

Я не умею рисовать,
Зато любить до гроба я сумею.
Прошу меня не обвинять,
Что чувства высказать не смею...

А вот стихи, имеющие недосягаемую глубину чувства:

Чернилом черным я пишу,
Но и оно со временем сотрется.
А любовь моя к тебе
В вечность пренесется...

Есть стихи, которые полны детского наивного чувства:

На последнем сем листочке
Напишу четыре строчки
В знак почтенья моего.
Ах, не вырвите его...

На задней политурке альбома, иногда на самом углушке, можно прочесть такое стихотворение:

Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня.

Или же неожиданно можно встретить такого содержания стихи:

Quelque chose [1] — что-нибудь,
А кто писал — не забудь...

А под стихами какие-нибудь инициалы, например: *А. С. В. Г.* и много, много точек.

Нередко на пяти и более страницах переписаны стихи Лермонтова и в большинстве случаев отрывки из поэмы «Демон». И если стихи писаны мужскою рукой, то, обыкновенно, читаем:

Я тот, кого никто не любит...
Я тот, чей взор надежду губит...

И прочее.

Если же стихи писаны женскою рукою, то в большинстве случаев выписаны были стихи из другого места поэмы:

Отец, отец, оставь угрозы...

И прочее.

[1] Что-нибудь.

Альбомы эти перечитывались много и много раз. Хранились они как нечто священное. Нередко можно было встретить бабушку, которая вечером у камина, собравши вокруг себя внуков и внучек и составляя собою центр притяжения, рассказывала о старине и вспоминала о первых днях своей весны. Говоря о лучших минутах своей жизни, она декламировала на память из своего альбома стихи, написанные ей тем, который пробудил в ней первое чувство любви и был ее женихом. Но злая пуля чеченца в кровавой схватке свалила его с седла, и вензель, вышитый невестой на чепраке, залит был кровью из его смертельной раны.

Огонек в камельке то вспыхивал, то будто погасал. Все с глубоким вниманием слушали добрую и сердечную старушку, у которой уже не одна крупная слеза скатилась из глаз по морщинистым щекам. А на часах пробило двенадцать. И вечера — как не бывало. Неужели пора уже расходиться? А слушать так хочется еще и еще... И жаль прервать задушевные минуты...

Интересны были семейные литературные и музыкальные вечера, которые были почти общи и обычны для большинства жителей города того времени. Я уже сказал, что в частных пансионах собирались по временам воспитанницы и преподаватель читал им избранные места из лучших литературных произведений того времени. Эти чтения способствовали развитию эстетической стороны жизни и привычки к книге. Конечно, пансионы в этом случае только подражали губернской гимназии, которая в то

время была в Харькове единственным средним учебным заведением. В гимназии ни один урок физики не проходил без того, чтобы преподаватель не увлекся разъяснением какого-нибудь физического прибора, подающего хотя бы и в далеком будущем надежды на возможность устроить лучшее освещение или более скорое и удобное сообщение. Что же касается классов по истории и словесности, то преподаватели посвящали половину урока на чтение какой-либо главы из повести или рассказа кого-нибудь из выдающихся писателей. Мне не забыть почтенный и благородный образ учителя словесности харьковской губернской гимназии Д. П. Чирикова. Как он благотворно влиял на умственное и моральное развитие своих учащихся! Нередко, закрывая книгу и увлекаясь прочитанным в ней, он привлекал внимание учеников разъяснением смысла им прочитанного в романе или повести. И весь класс превращался в напряженное внимание. Ленивые и прилежные, даровитые и тупицы — все со вниманием слушали речь своего наставника, и в классе воцарялась невозмутимая тишина.

Так проходил незаметно час занятий, и гимназисты возвращались домой веселыми и жизнерадостными.

Вечером в семьях собирались в кружок братья и сестры; приходили два-три знакомых юноши, и разговорам не было конца. В столовой, за чайным столом, под председательством матери-хозяйки дома или тетки, все спорили, кричали, доказывали и опровергали и, казалось, поднимались войной друг на друга.

Памятна мне семья председателя гражданской палаты Головкова и образ древней старушки, родоначальницы всей семьи. Она отличалась неимоверной добротой, веселым нравом и терпеливостью. Но и эта добрая и терпеливая старушка иногда не выдерживала этого завзятого спора. Однажды она неожиданно сняла с себя большой теплый платок и начала им из столовой выгонять всех нас в зал.

— Вишь, раскричались. Точно галки на метель. Будет вам споры-то вести. Марш все в зал да займитесь музыкой.

И все со смехом спешили уходить в зал от преследований бабушки.

Помню, как-то почтенная старушка, выгоняя нас в зал, нечаянно довольно внушительно ударила меня концом платка. Я ей же на нее пожаловался.

— Так тебе и надо! — ответила добрая старушка. Ты ведь озорник, в спорах сильнее всех кричишь. А ты, вот, лучше иди и садись за рояль да с Лелей сыграй мне увертюру из оперы «Вильгельм Телль». А то ведь я и в другой раз тебя платком побью...

Все смеялись такой резолюции строгого судьи. Я поцеловал ее морщинистую руку и немедленно ушел к роялю, чтобы приготовить ноты и место для ее любимой внучки Лели.

Неожиданно встает предо мной новое лицо, милая и добрая Леля, с которой мне так часто приходилось играть и делиться музыкальными впечатлениями. Где она теперь и что с нею сталось? Но довольно воспоминаний. Они болезненны, как зажившие раны в сырую погоду...

Напрасно в памяти своей
Зачем будить воспоминанья?
— Не возвратить счастливых дней,
Не утолить души страданья.
И все, что сердцем пережито,
Пусть лучше будет позабыто;
Но в тайнике души печальной,
Как отголосок эха дальний,
Оно о прошлом говорит
И нотой скорбною звучит...

Нет сомнения, что одними семейными и интимными вечерами, которые составлялись из пятидесяти одних и тех же особ, общество того времени не могло считать себя удовлетворенным. И потому время от времени были назначаемы балы как в частных домах, так и в дворянском собрании. Балы, даваемые частными домами, были известны под разными названиями и в отношении убранства и роскоши характерно отличались друг от друга. Но оркестр всегда был бальный, струнный, и если, в исключительных случаях, приглашался военный оркестр трубачей, бал считался неудавшимся.

Дворяне и богатые купцы поочередно давали балы зимой; на каждый месяц можно было считать по одному балу. Затем были именинные балы, свадебные балы и, наконец, самые интересные и всегда блестящие по обстановке и костюмам были те, которые давались как дворянами, так и купцами по случаю совершеннолетия дочери, которое считалось с семнадцати лет, со дня окончания ее курса в институте или же в одном из описанных мною пансионов.

На описании одного из таких балов я и остановлю внимание читателей в следующей главе.

В сороковых годах жизнь была не так сложна, и потому жилось легче, чем теперь. Дворянство, при даровом труде своих крепостных людей, имело большие доходы со своих имений.

Купечество вело внутреннюю, преимущественно оптовую, торговлю, придерживаясь ярмарочной системы, характерное отличие которой состояло в том, что торговля шла хотя временно, но с сильно поднятой энергией, нервно и потому выражалась всегда в большом спросе и в большом сбыте. Такая торговля нередко вела к тому, что купец, со смыслом начавший свое дело, в три-пять лет наживал состояние, равное нескольким сотням тысяч рублей. Когда в жизни все улыбается, когда все дышит довольством и избытком, человек делается оптимистом и создает целый ряд разнообразных удовольствий. К числу таких удовольствий принадлежали балы, даваемые со специальной целью — ввести в общество совершеннолетнюю дочь-девушку.

Держались этого обычая не одни богатые, но и люди с ограниченным состоянием, как дворяне так и купцы. Это был праздник первого дня девичьей весны. И с каким великолепием и с какою пышностью давались в этот день балы!

Как со стороны мужчин, так и со стороны дам для такого бала шли большие и сложные приготовления. Военные заказывали новую парадную форму. Особенно любили щеголять своею формою гусары, уланы и драгуны того времени. Не отставали от них и штатские, справляя себе весь новый костюм и выписывая из Москвы манжеты и нарукавники. Но более всех имели забот и хлопот по случаю предстоя-

щего бала девицы и их мамаши. За месяц были рассылаемы пригласительные билеты на бал. Все дни месяца перед балом были поглощены приготовлением. Модистки были завалены работой. В мастерских горою на столах лежали дорогие материи, изрезанные в куски загадочных форм. Бархат, шелк, затканный серебром и золотом, атлас, тюль, газ, матовый зефир, золотой шнурок, перламутр, кружева и жемчужные нити — все в капризном беспорядке кокетливо лежало на столах швейных мастерских. Переливая радужным блеском, искрясь то там, то здесь на темных кусках бархата или на зеркальных полосах атласа, все эти драгоценные дары цивилизации горделиво кичились тем, что им предстояло украшать собою бюсты и талии девиц-красавиц. А в день самого бала, с самого раннего утра и до десяти часов вечера, не только первоклассные парикмахеры, но даже и цирульники были заняты уборкой дамских голов, завивкою голов кавалеров и бритьем благородных ланит почтенных мужей. Большинство девиц, бивших на грациозность талии, в этот день ничего не ели, кроме хлеба с чаем. Корсеты передвигались на самые крайние планшеты. Не желая, чтобы на бале ланиты пылали румянцем, барышни ели мел и пили по глоткам слабый уксус. Но вот наставал час выезда на бал. После долгих и томительных часов одеванья и уборки прелестной головки трибушонами и роскошным бандо из природных волос, переплетенных ниткой жемчуга или цепью из бирюзы, девушка, чтобы не смять костюма, в крещенский мороз, только легко накинув на плечи меховую шубенку,

в открытой коляске ехала на бал стоя, с открытой головой, держась руками за пояс кучера.

Думаю, достаточно продолжительно, почтенный читатель, мы проводили время в залах и гостиных домов богатых и знатных обывателей Харькова. Боюсь, что роскошь обстановки и в жизни картинность ее и причуды моды могут наскучить. Боюсь еще больше и того, что, сосредоточив все свои воспоминания на людях богатых и знатных, окруженных престижем, я оскорбляю забвением тех из обывателей родного мне города, которые жили трудовою жизнью, встречались с радостью, отчасти с нуждою и горем и, стоя вдалеке от богатства и роскоши, рождались, старились и умирали, ютясь в тесных домиках и хатках, вокруг центра городской жизни. Довольствовались они теми скудными даяниями, какие давала им жизнь богачей, как избыток от барского стола. Эти обыватели города не были хуже тех, которым я посвятил уже достаточно места и времени. Мерцая в тиши, как жалкий свет лучины, они составляли собою большинство городского населения... Итак, оставим залы и гостиные роскошных домов и заглянем в домики и хатки обывателей города.

Там в роскоши и праздности палаты:
И люди там и стены там богаты...
Там места нет для труженика чувства:
Там все прикрашено, там все искусство...
Уйдем из этой лживой атмосферы
В приют труда и нищеты убогой;
Туда отворим мы с тобою двери;
И там душою отдохнем немного,
Среди труда и жизни простоты,
От этой жизни — лжи и праздной суеты...

*

В описываемые мною годы обыватели города делились на две половины, резко отличающиеся одна от другой. К первой половине принадлежали люди, одаренные то знатностью рода, то привилегиями сословий, то богатством. Но этой половины было меньшинство, хотя это меньшинство царило над другой половиной, составлявшей собой большинство населения города.

Тяжело жилось в Харькове этой второй половине населения его. Имея самые скудные права на благо жизни, а некоторые даже и менее того, мещане, цеховые, государственные крестьяне и, наконец, оброчные и на выкуп взятые купцами крепостные люди всегда должны были быть настороже, так как привилегированные сословия — дворяне, чиновники и купцы — безнаказанно могли издеваться над ними, эксплоатировать их труд и даже подвергать побоям и телесному наказанию. Я уже упомянул выше о Стуколкине, который лечил простой люд от лихорадки розгами. Но такой произвол не составлял исключения в жизни этих многочисленных униженных и оскорбленных обывателей города. Для того чтобы жить покойно и не страдать от произвола сильных, нужно было раболепствовать перед этими сильными; нужно было унижаться, лгать, потворствовать, заглушать свое человеческое «я» и не протестовать ни против каких с их стороны насилий. Закажет ли помещик, богатый купец или чиновник кровельщику сделать ведро, слесарю — исправить замок, сапожнику — сшить сапоги, или подрядчику — построить дом, сарай или забор, — расплата за такой труд всегда зависит от произвола заказчика,

который за мелкие работы нередко ничего не платил, а за крупные — платил по произволу ничтожными суммами, с бранью и оскорблениями. И, не боясь лжи, скажу без преувеличения, что расплата такой системы почти всегда оканчивалась тем, что подрядчик, получая по целым годам должную ему сумму, в конце концов недополучал нескольких сотен рублей и уходил от богатого жителя города с кличкою мошенника и плута.

Не менее тяжелою была жизнь людей, служивших у богатых и привилегированных обывателей. Я говорю о приказчиках, о молодцах и мальчиках, о рабочих и вообще о дешевой прислуге. Все эти труженики были в такой тяжелой зависимости от своих хозяев, что немногим отличались от крепостных людей помещика. Жалованья все эти люди не получали аккуратно, ежемесячно, как получают, например, чиновники; они, обыкновенно, получали по малой сумме и каждый раз выпрашивая как милости или подачки.

— На что тебе жалованье? — сурово спрашивал хозяин у просившего его приказчика или рабочего.

— Да надо бы, хозяин, себе пару сшить, — отвечал приказчик.

— Пару сшить? Вот оно как. Франтить вздумал? Ну, это еще и подождать можно. Пойди-ка за прилавок да делай свое дело. А жалованье еще успеешь растратить.

И шитье пары откладывалось месяца на два. В другое время, вместо просимых двадцати рублей, хозяин давал только пять, и получивший

их должен был оставаться доволен. Нередко, желая собрать порядочный куш денег, приказчик не брал полного жалованья по пяти и более того лет. Но когда делался расчет, то он по своему счету недополучал двух и трех сотен рублей. И все такие явления проходили без протеста и шума. О, русский человек! Слава долготерпению твоему...

Каждый двор богатого обывателя, был ли он купец или дворянин, в десять часов вечера запирался на замок, и ключ от ворот отдавался в руки хозяина дома. Это вело к тому, что приказчики не могли никуда уйти из дома своего хозяина и должны были проводить длинные вечера осени и зимы в застеньях хозяйского дома. Но еще более жизнь их становилась тяжелою потому, что, сидя по вечерам в приказчицкой комнате, они не имели права не только хором петь, но даже в одиночку играть на гитаре или на гармонии, нарушая тем гробовую тишину хозяйского двора. Что же касается мальчиков и рабочих, которые помещались в людской, при кухне, то занятие музыкой запрещалось им со всею строгостью неограниченной власти. Приказчика, который вздумал бы заниматься музыкой, хозяин лишал места, как человека ненадежного и плохого торговца. Что же касается рабочего или мальчика, то на их головах без церемонии разбивалась гитара, балалайка или гармония. И так проходили дни за днями, и эти люди, чтобы чем-нибудь разнообразить вечера своего заточения, тайком играли в карты или шашки. Были и такие, которые, вынимая в потайном уголке из кармана бутылку с водкой, тянули из гор-

лышка, надеясь, что каждый раз душа меру знает, сколько нужно выпить.

В дни, когда в доме хозяина был бал или вечер, а потому ворота были отперты для гостей, эти люди могли уходить из своего заточения в город искать себе развлечения вне стен своей тюрьмы. Но пойти к товарищу-приказчику было невозможно, потому что хозяева строго следили за этим, чтобы предупредить возможность передавать цены и секреты торговли купцов.

С открытием весны жизнь этих людей становилась более сносною. Под предлогом «купаться» приказчики и рабочие уходили из дома вечером и возвращались к утру другого дня.

В то время существовали откупа, которые за городом, на известном расстоянии, имели кабаки и даже рестораны с продажею водки по дешевой цене. И вот в эти-то притоны свободы, за неимением лучших мест, где бы можно было провести время, стремились люди, у которых иссякало терпение и душа жаждала простора и веселья.

Кроме загородных кабачков, излюбленным местом препровождения времени были Куряжский монастырь, в восьми верстах от города, и Хорошовский монастырь, женский, в пятнадцати верстах.[1] С самого раннего утра, с целью помолиться и провести целый день в липовой или дубовой роще, на берегу реки или у кристальных источников холодной ключевой воды, собирались в эти места целыми семьями.

---

[1] Ныне в Куряжском монастыре детская колония им. Горького, в Хорошовском — совхоз.

Я уже сказал выше, что обычая жить на даче в те годы не было, хотя многие из богатого купечества имели загородные небольшие имения, состоящие из леса или сада, с необходимою усадьбой для приезда хозяев на короткое время. Такие места обыкновенно служили летом укромными уголками для справления именин или для пирушки с широким разгулом древних бояр русских.

Но все же владельцы таких уголков были люди зажиточные. Люди же с ограниченными средствами и бедняки томились в городе во время летних жаров, не имея на трех реках ни одной купальни, купаясь где придется, вместе с лошадьми и с рогатым скотом. Затем, изредка, два-три раза в лето, этот люд позволял себе провести какой день в одном из вышеуказанных монастырей.

Для того чтобы отправиться на целый день в монастырь, в семье начинались сборы чуть не за месяц вперед. При этом составлялась дружная компания из двух-трех семей.

В назначенный день снаряжались повозки, нагруженные самоварами, углем и хлебом и различною провизией, и под предводительством кухарок отправлялись с рассветом дня в монастырь, где выбирали уютное местечко и начинали жарить, варить и вообще заниматься стряпней. Хозяева же этих подвод с провизиею в большинстве случаев отправлялись в монастырь пешком, на тощий желудок, с целью там поднять чудотворную икону «с корня», отслужить молебен и, помолившись богу, уже приступить к трапезе для утоления нужд грешного тела.

Благоговейно из верхней церкви Куряжского монастыря все пилигримы несли икону вниз, к источнику, в храм св. Онуфрия. С большим благоговением, умиленно и со слезами, молились пришедшие паломники о помиловании их за совершенные ими грехи, «вольные и невольные».

Прекрасное, светлое утро расцветшего дня; воздух, напоенный ароматом цветущих деревьев и злаков; неуловимая гармония звуков от певчих птиц, стрекотня и жужжанье насекомых; наконец, эти храмы с ликами святых, с монашествующею братиею и с стройным хором — все это возвышало молитвенное настроение пришельцев, располагая их в эти минуты к добру и наполняя их души искренним желанием быть лучшими, чем они были до этого часа. Зверь был подавлен и уничтожен, и человек казался достойным любви и доверия. Щедрою рукой в эти минуты клались гривны на тарелочки и в кружки, а у образов иконостаса возжигались толстые свечи. . .

В последний раз священник вознес молитву к небесам и, обратясь к молящимся, тихим голосом произнес молитву отпущения, благословляя народ крестным знамением. Чинно и благоговейно молящиеся начали расходиться из храма к месту, которое они облюбовали для временного своего привала. На пути их встречала живописная природа, делившая монастырь на две красивых картины: на картину погорья, с источниками ключевой воды и с дубовою рощею, и на картину нагорья, с которого открывался очаровательный вид на луг, обрамляющий реку и усеян-

ный цветущими злаками, и поле, пленяющее глаз золотым морем ржи.

Две или три семьи садились вокруг самовара, и начиналось чаепитие. На первых порах все шло обычным путем и не обещало ничего худого. Зверь еще не вошел в силу, и человек, казалось, еще не переставал царить над всем. Мало-помалу стол начинал заполняться различными закусками, привезенными из города. В это время мужчины начинали вынимать из повозок корзины, в которых были тщательно уложены бутылки с водкою и различными винами. Зверь начинал потягиваться и приподнимать свою голову. Пробочник в качестве мудреца, умевшего открыть смысл всякой тайны, начинал делать свое дело, и человек, всегда жадный к познанию всяких тайн, приступал к черпанию их из привезенных им бутылок. Развязывались языки, веселье и смех начинали отражаться на лицах пилигримов, а тайны, почерпнутые из бутылок, начинали срываться с языков в виде острот и колкостей, посылаемых тут же сидящим сотоварищам. Картина, представлявшая мирно беседовавших друзей, начинала меняться. Зверь входил в свои права, и человек стушевывался на задний план.

На полотне картины появлялись более яркие и сгущенные краски; позы действующих лиц начинали принимать положение то нападающих, то защищающихся. Тайны, открытые пробочником, гласили, что Иван Петрович дурно обозвал где-то Петра Ивановича; Анна Федосеевна что-то нехорошее затеяла с Кузьмой Петровичем... Ссора, точно туча, надвигалась все ближе и

ближе. Вокруг еще так недавно весело беседовавших между собою родственников начинал меркнуть свет разума и... вражда, как ливень-дождь с раскатами грома, шумела не умолкая...

Насколько умилительна была группа пилигримов, шедших в монастырь, настолько та же группа людей была несимпатична и мрачна, когда она возвращалась домой. А надвигавшаяся ночь еще более сгущала краски и тем как бы пророчила что-то недоброе...

Она пророчила, и сбывалось ее пророчество.

На половине дороги, между Харьковом и Куряжем, и теперь еще стоит каменное здание, называемое «Залютино». В то время это был кабак, содержимый откупщиком, с продажею дешевой водки. Тут обыкновенно паломники останавливались и, воздавая хвалу Бахусу,[1] нередко вступали между собою в бой, оканчивавшийся иногда убийством. Тут же обдирали уснувших в хмелю и оскорбляли женщин, случайно запоздавших на возвратном пути из монастыря.

И все это творилось и совершалось не потому, что совершавшие безобразия были действительно подвержены алкоголизму. Нет. Причины их слабости следует искать в другом месте.

Таковы были летние развлечения для людей, живущих заработком трудового дня. Что касается зимнего времени, то в этот период развлечений было еще меньше. Чтение вообще, как я уже сказал, преследовалось хозяевами. Но, кроме этой причины, чтение уже и потому не шло

[1] Из греческой мифологии — бог вина.

в ход, что большинство из обывателей города было неграмотным или умевшим подписывать только свою фамилию, например «Кистинтин Залезнов», что, конечно, нужно было читать — Константин Железнов.

Библиотек для чтения совсем не было. Был один только книжный магазин — Апарина. Помещался он много лет на углу Университетской улицы и Пащенковой горы, в лавках, принадлежавших тогда Сергею Федотьевичу Карпову, а впоследствии Пащенкову-Тряпкину.

Но торговля книгами шла тихо, и покупались преимущественно учебники и книги научного содержания. Покупателями книг были преимущественно профессора университета, учителя губернской гимназии, студенты и гимназисты. Затем покупались публикою рассказы Грыцька Основяненка (Квитки), «Энеида» Котляревского, романы: «Иван и Петр Выжигины» Булгарина и переводные романы Коцебу, «Лолота и Фанфан»,[1] «Векфильдский священник»,[2] «Виктор, прекрасное дитя, найденное в лесу». В большом требовании была: «Битва русских с кабардинцами»,[3] а затем — сказки и гадальники по Брюсу и по Мартыну Задека.

Что касается тех литературно-музыкальных вечеров, о которых я говорил выше, то они были в семьях профессоров, у педагогов, у крупных чиновников, у помещиков и у богатых купцов. Но все же таких домов, по отношению ко всему населению города, было так мало, что такие

[1] Роман Дюкрэ Дюминиля (1761—1819).
[2] Роман Гольдсмита (1728—1774).
[3] Лубочная книжка.

семьи представляли собой отрадные оазисы среди безмолвной и полной тьмы пустыни.

Для бедного и трудового люда в зимнее время увеселениями были зрелища в роде кулачек.

С особенным интересом, целыми толпами бежал народ, бросая работу, смотреть, как на Конной площади наказывали плетьми преступников. День таких наказаний был днем какого-то празднества, а процедура наказания плетьми заменяла для народа хороший спектакль. Начиная от ворот острога, тихим шагом, на высокой колеснице, в роде эшафота, окрашенной черною краскою и запряженной парою рослых лошадей, сидел привязанным к столбу преступник, на груди которого висела доска с надписью «за убийство». По бокам его сидело по жандарму, с обнаженными саблями. Сзади колесницы тихо следовал взвод конных казаков, а за ними ехали власти и врач. Старики, парни, женщины, девушки, подростки и дети толпою шли за этой процессией и смотрели, как палач, на законном основании, истязал тело преступника.

Изредка театр со своим доступным для бедного люда райком доставлял истинное удовольствие для обывателей податного сословия. Наконец, хождение по вечерам в гости к родным и к кумовьям было в обычае того времени. Но такие невинные хождения по гостям нередко для обывателей были причиной слез и сугубой скорби.

В те годы, с десяти часов вечера, полицейский обход, под предводительством квартального надзирателя, обязан был ходить по улицам

города всю ночь до рассвета и забирать в полицейское управление всех, которые попадались пешком в позднее время ночи «в нетрезвом виде».

Но, вероятно, вследствие ночной тьмы в большинстве случаев, трезвые мужчины, женщины, девушки и даже дети брались под арест и сажались при полиции в арестантскую. Утром, когда город весь просыпался, арестантов выгоняли группами и заставляли их мести и чистить улицы в наказание за позднее блуждание по городу.

Весьма понятно, что для многих обывателей такая мера была более чем страшна, потому что повергала всю семью в уныние и скорбь от перенесенного позора. Благо было той семье, которая, возвращаясь из гостей, могла одарить квартального деньгами. Но если семья гостила на противоположной от своего жилья стороне города, то ей приходилось отплатить две таких подвижных таможни, чтобы иметь удовольствие ночевать дома, а не в арестантской.

Те из обывателей, которым нечем было откупиться от ареста, на утро другого дня представляли собою живую картину самого комического содержания, так как большинство арестованных возвращались из гостей одетыми в лучшие костюмы: женщины — в чепцах, девушки — в намистах, с дукатами на шее в цветах на голове; попадались мужчины даже в цилиндрах и в лакированных сапогах. И вот эта нарядная публика и мешалась с оборванцами, бездомными и завзятыми пьяницами, женщинами сомнительного поведения и старухами, потерявшими всякое благообразие вследствие распущенности

нрава. Вся эта группа пестрого маскарада, с метлами, с лопатами и с тачками в руках, под надзором полицейских солдат мела и очищала улицы. Рассвет дня неожиданно открывал эту картину для проходящих, которые встречали знакомых им лиц: сына с отцом или с матерью, племянника с теткою, бабушку с внуком. Девушки-дочери, тоже зауряд с матерями, в праздничном наряде, мели улицы и скромадили [1] деревянные тротуары. Была ли это насмешка над бедным и бесправным человечеством, или действительно порядок и благочиние требовали такие жертвы, — я не берусь решать. Но, во всяком случае, нельзя не сказать, что личность человека и его самолюбие были подавлены этою мерою до крайних границ... Злые языки (а таких и в те годы было не мало) дежурство по ночному обходу называли «походом полицейских аргонавтов за золотым руном», но такие обходы не облегчали участи невинно арестованных.

Был квартальный Дудышкин, лет пятидесяти, вдовец, имевший троих детей. Наскучило ему жить в одиночестве, и он задумал в другой раз жениться.

Под Холодной горой, вблизи Карповского сада, в собственном домике в три окошечка, жила семья Осмяткиных, состоявшая из матери, мещанки по происхождению, и двух взрослых дочерей. Семья занималась шитьем белья и на заработанные деньги жила безбедно, имея еще и двух швей по найму.

[1] Скромадить — сено грести; здесь — скребли.

Полюбилась Дудышкину старшая дочь Осмяткиной, Марфа Антиповна, лет восемнадцати, голубоглазая блондинка, среднего роста, с весьма грациозною походкою и с манерами, напоминавшими барышню из богатой семьи. Затеял Дудышкин ходить к Осмяткиным в гости и просиживает целые вечера. Иногда приходил он и выпивши, но всегда с особенною любезностью относился к Марфе Антиповне, угощая ее то сладкими рожками, то фигурками из леденца фабрики Павлова, то девичьей кожей из аптеки Сартиссона. Наконец, однажды он принес им фунтов десять осетрины и начал рассказывать, какая хорошая солянка выходит из этой рыбы, если ее так и этак приготовить.

Дарья Ильинишна Осмяткина долго смотрела с удивлением на посещения, а еще более на сладостные приношения полицейского джентльмена и наконец решилась спросить у него, чему они все обязаны, что он так благоволит к ним.

Дудышкин ответил, что ему уж невмоготу больше крепиться и сдерживать свои чувства, что трепещет его сердце и горит его душа, как соломой крытая крыша в страшную ночь пожара. При одном взгляде на Марфу Антиповну он из квартального делается овцой неутешною и не узнает себя. Пощадите влюбленного человека и не дайте моим детям остаться сиротами — закончил объяснение Дудышкин и не медля ни минуты, стал на колени перед Марфой Антиповной.

Как сидела Марфуша за шитьем белья, так и осталась неподвижно, точно bella statua.[1] Ра-

[1] Прекрасная статуя.

бота ее выпала из рук, веки быстро замигали, и голубые ее глаза подернулись от нахлынувших слез туманом. Предложение Дудышкина одновременно и поразило ее неожиданностью, и обидело ее. Влюбленный квартальный по летам ей в отцы годился и при этом она уже имела жениха — молодого переплетчика, старшего мастера известного в то время картонажного заведения Агац. Она любила Гавриила Ивановича Сапунова и дала ему слово, о чем знали все, знал и Дудышкин. Сапунов был крепостным человеком Афонова, имевшего около десяти человек без земли. Все эти крестьяне были в различных местах в услужении и платили ему оброк. Гавриил Сапунов, задумав жениться на Марфуше, решил откупиться на волю и сговорился со своим барином, согласившись уплатить ему пятьсот рублей. Но собрать эти деньги было трудно в один год, и это откладывало их свадьбу до лучшего времени. И вот неожиданно Марфуше делают предложение. Она растерялась.

— Господин квартальный,— наконец, с робостью подавленного человека, сказала она.— Я засватана...

— Знаю, знаю я,— поспешно ответил Дудышкин. Это за Гаврюшку Сапунова? За этого простого переплетчика? Знаю. Да разве же он может сравниться со мною? Я—дворянин, а он— тьфу, и больше ничего! Да разве он может так вас любить, как я вас буду любить? Я вас каждый день буду кормить и осетриной, и икрой, и рожочками, и пряничками. Вы знаете — мне только нужно притти в лавку или в магазин и сказать: отрежь мне этого, насыпь вон того, за-

верни то-то. И все, по щучьему велению, тотчас будет исполнено. А Гаврюшка что? Тьфу, и больше ничего. Гаврюшку я вот от вас тотчас пойду и возьму в полицию и высеку как моей душе будет угодно. И никто в этом мне не запрет. А ну-ка, попробуй кто тронуть дворянина или его жену! Тому по всей России будет мало места. Вы, конечно, девочка, еще этого не понимаете...

— Ваше благородие, господин квартальный, — робко и жалобным голосом возразила Марфа Антиповна, — простите нас. Мы любим друг друга...

И Марфа заплакала перед влюбленным начальником.

— Ну, ну будет. Вы подумайте, а я зайду, зайду к вам за ответом.

Дудышкин попрощался с Осмяткиными и поспешно ушел из их дома.

Влюбленный гость-начальник как громом поразил всю семью своими излияниями чувств пылкой любви. Но по всестороннем обсуждении всего происшедшего все решили категорически отвергнуть предложение Дудышкина. Что же касается Марфы Антиповны, то она, не задумываясь, сказала матери, что лучше она утопится в реке, чем выйдет замуж за Дудышкина. Шли дни за днями, и восход солнца зимнего, морозного утра уже не раз сменялся закатом его, обливая ярко багровыми лучами землю, убеленную глубоким снегом. Между тем, хотя Осмяткины и порешили бесповоротно отказать Дудышкину, но все же на душе Дарьи Ильинишны что-

то не улеглось, и только Марфуша вновь была весела и, работая иглой, пела свою любимую песенку:

Вейтесь, кудри мои, заплетайтеся,
В жемчуг, в золото убирайтеся.
Пусть мой суженый полюбуется,
На вас глядючи, затоскуется,
Что день свадебный не пришел еще...

Так счастливая молодость всегда относится к невзгодам жизни. Прошла, прогремела тучка непогоды; очистился и зарделся радостным светом горизонт неба... И думается молодой душе, что уже нет ничего страшного впереди, что все полно добра и мира...

А Дарья Ильинишна, оснащенная опытом жизни и знавшая по своим подругам многое, что лежало в изнанке жизни, тревожно проводила ночи, ожидая со дня на день чего-то недоброго...

Между тем Дудышкин, получивши от Марфиньки отказ и увидавши, что сама Осмяткина была не на его стороне и пренебрегла его дворянством и высокою честью, какою он подарил ее, мещанку податного сословия, делая ее дочери предложение, не на шутку рассердился и задумал отомстить всей семье за понесенное фиаско.

— Ну, подожди же ты, старая,— повторял он не раз в приливе злобы, вспоминая об отказе, — да и ты, швея, с льняными волосами! Я вам покажу, как пренебрегать благородным чувством образованного человека.

На масляной был день именин крестного отца Марфуши, который жил на Кузнечной улице, где была его мастерская повозок и простых саней — розвальней.

*

В те годы весьма строго следили за соблюдением выражений чувств уважения, любви и почтения не только к родителям, но даже и к дальним родственникам. Забыть поздравить с именинами крестную мать или крестного отца, не притти во время отъезда кого-либо из них проводить их с пожеланием благополучного пути, в воскресенье перед началом великого поста не притти к крестным отцу и матери «проститься» на великий пост, обменявшись хлебом-солью,— считалось верхом невежества.

Вследствие такого обычая утром шли поздравлять крестных отца или мать с днем ангела, а вечером не притти по приглашению на пирушку крестной дочери к крестному отцу было невозможно.

Для людей, живших дневным трудом, исполнение таких обычаев давалось не легко уже потому, что день именин тетки, дяди, или крестного отца пропадал даром.

Неохотно и лениво собирались Осмяткины на вечер к имениннику. Особенно Дарья Ильинишна была под давлением какого-то тяжелого предчувствия. Вечер, однако, прошел весело и благополучно.

Был уже час ночи, а об ужине и не думали радушные хозяева. Осмяткина поднялась итти домой и, ссылаясь на нездоровье, поспешно оделась и ушла со своими двумя дочерьми.

Дудышкин давно уже следил за ходом вечеринки и, узнавши, что Осмяткины уже ушли, поспешил за ними. Настигнув их у Лопанского моста, он, без дальних слов и объяснений, приказал всех их, троих, арестовать, поручивши двум

солдатам отвести в участок и посадить в общую арестантскую до утра.

Никакие мольбы, никакие просьбы и уверения не склонили оскорбленного блюстителя порядка переложить свой гнев на милость и отпустить с миром семью Осмяткиных.

Говорить ли о том, какое удручающее состояние духа овладело несчастными арестованными в тесной, холодной, грязной и сырой арестантской комнате?

Когда их привели, было всего три человека, которые спали крепким сном. Но с течением ночи арестованных прибавлялось все больше и больше, и к утру в комнате так было душно, тесно и грязно от таявшего на обуви снега, что было трудно дышать, и не было места, где бы можно было преклонить свою голову. Не мало прибыло в арестантскую пьяных и оборванных бездомников, для которых арестантская была не новинкой и потому вызывала в них веселое настроение духа. Начались остроты по адресу Осмяткиных, которые в своих праздничных нарядах выделялись из среды всех арестованных, а своею необщительностью вызывали со стороны многих насмешки и колкости, пересыпаемые нецензурными словами. Но более других назойливо приставали к Осмяткиным полупьяный оборвыш, с одною ясною пуговицей на поношенном вицмундире, и какая-то женщина средних лет. Они не давали покоя бедной семье.

— Ну, что за генеральши попались между нас, — с неудовольствием говорил оборвыш, такой же, как и он, женщине. — Тоже еще и нос кверху держат, точно что-нибудь и путное.

— Послушай, красотка, — говорила женщина Марфуше, указывая на оборвыша с ясной пуговицей, — давай я тебя сосватаю за этого красавца.

И таким приставаниям не было конца.

На рассвете всех выгнали с метлами и лопатами на улицу и заставили мести и убирать сор.

Скорбь от стыда и унижения у Осмяткиных дошла до крайних пределов, и трудно отгадать, чем бы окончилось это нравственное истязание, если бы случайно не вышел к ним частный пристав их участка Поливанов, который знал Осмяткиных, и отпустил их домой без пререканий.

Измученные, усталые, обруганные и униженные, оставили Осмяткины метлы и лопаты и пошли домой, едва передвигая ноги и плохо видя глазами, воспаленными от горячих слез и от резкого ветра при сильном морозе.

Несмотря на то, что Осмяткины возвратились домой в восемь часов утра, но к обеду этого же дня по всем окраинам города уже говорили на разные лады о том, что Осмяткины ночевали в арестантской при полиции, а утром мели улицы. Конечно, говорилось это на разные варианты. Говорили даже, что всему причиною Дарья Ильинишна, которая была нетрезва и вошла в пререкания с квартальным надзирателем. А некоторые шли еще дальше и утверждали, что Марфа Осмяткина шла по улице с цветами на голове и приплясывала, а какой-то приказчик, из провожавших ее, играл на гармони.

Арест, сидение целую ночь в арестантской под грубым надзором солдат из пожарной команды; пребывание на улице совместно с пьяницами и

бродягами, морозное утро с сильным, режущим ветром и, наконец, сплетни, ходившие о всем происшедшем по городу, не могли не повлиять на здоровье Осмяткиных. Все они переболели и заплатили тяжелую дань здоровьем стрясшейся над ними беде. Тяжелей всех отразилась эта беда на здоровьи Марфуши — натуры слабой и одинаково восприимчивой как к радости, так и к горю. Она заболела и слегла в постель. Более двух месяцев проболела Марфуша и только к лету могла встать с постели. Но хрупкая ее натура сильно подалась от такой неожиданной и большой для ее души встряски. Не успела еще окрепнуть Марфуша от перенесенной болезни, как новая грозовая туча заволокла собою светлый горизонт ее неба.

Дудышкин не унывал, а шел дальше, утоляя свое уязвленное самолюбие вновь придуманными им кознями.

Дворянин Афонов, которому принадлежал Гаврюша Сапунов, часто нуждался в деньгах и прибегал к займу у разных лиц. Такая частая нужда в деньгах повела к тому, что он однажды у буфета гостиницы купца Шерыкина разговорился с Дудышкиным и при этом, как всегда бывает, пожаловался ему, что крепостной человек, переплетчик Гавриил Сапунов, давно уже заключил с ним словесный договор о выкупе себя на волю за пятьсот рублей, но вот скоро год, как не вносит ему этой суммы, почему приостанавливает совершение своей отпускной, а его заставляет нуждаться в деньгах. Обрадованный тем, что нашлась тема для дальнейшего разговора и влияния на помещика Афонова, Дудыш-

кин поспешил угостить его закуской и выпивкой и разговорился с ним более подробно на предложенную им тему.

— Да скажите, что вам за интерес томиться безденежьем, дожидая пока вам Гаврюша соберет пятьсот рублей, тогда как вы сейчас можете получить за него даже большую сумму?— возразил Дудышкин.

— Как же это так?— с удивлением спросил помещик.

— Да вы знаете, зачем хочет откупиться на волю ваш Гаврюшка?

— А зачем?

— Ха, ха, ха! . . Ведь это смех — и больше ничего. Он влюблен и хочет жениться.

— Ха, ха, ха! Гаврюшка влюблен? Ха, ха, ха! Гаврюшка влюб... ха, ха, ха! Нет, пощади, я лопну от смеха. Гаврюшка, крепостной человек, этот хам влюблен? Ха, ха, ха! Как вам это понравится? И у него, как у нас с вами, нашлось это благородное чувство? Нет, я этого не допущу... Мне только бы найти...

— Да что там найти? Хотите получить за него деньги, которые вы от него напрасно ожидаете уже год?

— Сделайте милость. За это будет хороший подарок от меня.

— Вот что я вам скажу. Вы знаете, здесь есть резник — скотобой Завзятый. Его сыну нужно итти в солдаты, а записаться в гильдию на этот случай он опоздал. Вот он и ищет, кого бы найти, чтобы поставить за себя. Вы продайте ему в наемщики Гаврюшу и просите с него тысячу рублей и половину денег вперед. Ну, а затем потор-

гуйтесь и дадите ему уступочку, чтобы не упустить покупателя. Случай редкий и выгодный.

— Друг мой, благодетель! — в восторге крикнул Афонов и обнял квартального надзирателя. — Но только вот задача, — как это сделать? Это, ведь, тонкое дело...

— Да это мы уладим. Говорят, на всякую болезнь своя микстура есть. А на это дело у нас есть секретарь по рекрутской повинности... Только, конечно, сотенную надо дать секретарю...

— Ладно. Согласен... Так завтра я жду вас с мясником.

— Да уж приду и приведу. А может вам деньжонки нужны, так возьмите, вот, пятишницу. Дал бы больше, да у квартального какие деньги? Говорят — он взятками живет. Эх, языки суконные! Посадил бы их на наше место.

— Вот, друг, вот душа человек. Сейчас видно, что человек благородный.

Заправивши дело сдачи в рекруты Гаврюшу Сапунова, Дудышкин простился с помещиком, который на пять рублей отпраздновал удачно начатое дело и лег спать, с нетерпением ожидая следующего дня, обещавшего ему, по милости квартального Дудышкина, хороший куш денег...

Сдача в солдаты Гавриила Сапунова в принципе была решена, и секретарь дал слово, что он все устроит и уладит как должно быть по закону, и никто иголочкой не подденет: так чисто будет обделано дело. Мясник с Афоновым и секретарь обменялись задатками, как люди благородного слова и чести. Гавриил Сапунов несколько раз был у своего барина и слезно просил не губить

его, не отдавать в солдаты. Но Афонов и слышать не хотел. Благородный и добрый Агац просил за него и, наконец, Марфа Осмяткина на коленях со своей матерью просили барина не разрушать их брак, не отдавать Гаврюшу в солдаты.

Но ничто не смогло склонить барина к отмене его решения.

— Вот что я вам скажу раз навсегда,— наконец, ответил Афонов Осмяткиным: — внесите мне полторы тысячи рублей, и я вам отдам Гаврюшу навсегда.

Марфуша не перенесла такого жестокого удара и, не окрепши от недавно перенесенной болезни, вновь заболела и первые дни расцветшей весны встретила в постели. Открылось кровотечение горлом; она худела очень быстро, проводила бессонные ночи и страдала от сильных болей в груди. Еще так недавно веселая, жизнерадостная, Марфуша таяла с каждым днем и даже для близких родных делалась неузнаваемой. Она и встречала и провожала день, справляясь о Гаврюше. Ее утешали как могли, уверяя, что он не будет годен в солдаты и придет к ней с забритым затылком.[1]

С непреодолимым стремлением жить, она с полным доверием относилась к таким уверениям и спешила делать распоряжение о венчальных цветах и о платье, радостно уверяя и себя и других, что как только Гаврюша освободится от рекрутской повинности, так они немедленно обвенчаются. Но для Дарьи Ильинишны пред-

[1] В то время при приеме в солдаты годным брили лоб, а негодным брили затылок.

ставлялась плачевная картина, которую подготовляла им жизнь. Не было надежды, чтобы эти два любящие сердца получили право на счастье. Казалось, один из них был намечен смертью, как финальный монолог разыгравшейся семейной драмы.

Проходили дни, и тяжелые дни ожидания для Марфуши. Наконец наступил месяц, в который Гаврюша должен был стать под рекрутский станок, для определения узаконенной меры человека, годного быть солдатом. Ночь на этот день Марфуша провела очень тревожно, и усилившиеся боли в груди заставляли больную переносить большие страдания. К утру ей будто бы стало легче: она покойно и с веселою улыбкой встретилась с родными. Боли в груди оставили ее. Но все же она была слаба, часто впадала в забытье и вновь открывала глаза, звала к себе мать и просила ее, чтобы она не пускала к ней Дудышкина.

Были минуты, когда она приподнималась с подушки; быстрым и острым взглядом смотрела она куда-то вдаль, и радостная улыбка играла на ее устах.

— Скажи мне, мама, скоро будет два часа? — уже не в первый раз спрашивала Марфуша Дарью Ильинишну.

— Да я уже тебе много раз говорила, голубка моя, — со скорбью в душе отвечала мать. — А для чего тебе нужен этот час?

— Сегодня, в два часа, я перевенчаюсь с Гаврюшей, — радостно улыбаясь, ответила Марфуша.

Бедная мать не могла не принять ее слов за

болезненный бред и только глубоко вздохнула, но ничего ей не возражала.

В два часа с минутами неожиданно не вошел, а вбежал Гаврюша в комнатку к Марфуше и сел на краю ее кровати. У него затылок был выбрит.

— Гаврюша!— крикнула Марфинька и, поднявшись энергично с постели, обняла его обеими руками.

Но спустя минуту она как-то странно опустила свою голову на его грудь и глубоко вздохнула. Голова ее, точно отсеченная мечом, свалилась и повисла на груди бедного Гаврюши.

— Марфуша! Что с тобой? Меня не выбрали, Марфуша.

Но Марфуши уже не было. Она умерла на его груди...

Я упомянул, что изредка обыватели города посещали театр.

Без преувеличения скажу, что театр был всегда у харьковцев излюбленным препровождением времени. Если для многих из небогатых обывателей это удовольствие редко выпадало на долю, то только потому, что их средства не позволяли часто пользоваться им.

Но о театре я буду говорить более подробно в недалеком будущем.

В настоящее время нахожу необходимым сказать, что частому посещению театра небогатым обывателям города нередко мешала невылазная грязь, царившая в то время в Харькове и охраняемая городским управлением с особенною настойчивостью.

Грязь в Харькове была не только глубокая и

продолжительная, но даже опасная для жизни. Было бы непростительно не остановиться над этой грязью, которая нисколько не уступала по своим высоким качествам той грязи города Тамбова, в которой недавно утонула лошадь, стоившая шестьсот рублей. В учебных заведениях города во время грязи устанавливались ежегодно так называемые «грязные каникулы». Были улицы, по которым невозможно было добраться до своего жилья ни пешком, ни в экипаже; и только верхом, плывя чуть не по брюхо лошади в грязи, можно было доехать до жилья. Экипажи ломались в такую грязь как соломинки; лошади грузли настолько, что нужно было вытаскивать их посредством волов. При погребении усопших были случаи, что несшие покойника на нарах вязли в грязи, спотыкались и опрокидывали гроб с покойником в грязь посредине улицы. Почва, состоявшая преимущественно из чернозема и суглинка, во время распутицы делалась на улицах настолько вязкой, что из сапога с высокими голенищами вынималась нога, а сапог оставался в грязи.

Более всего замечательны по невылазной грязи были площади, которых в то время было больше, чем теперь, и занимали они значительно большие пространства, чем занимают площади настоящего времени. Площади — Мироносицкая, Конная и Базарная — с азартом оспаривали друг у друга пальму первенства за невылазную грязь. Но Мироносицкая площадь одержала победу над другими площадями уже потому, что кроме грязи она была долгое время богата разрытыми могилами и ямами от погребальных

склепов, так как представляла собою упраздненное городское кладбище. Какою-то ловушкой, какую строят для ловли медведей, была эта площадь.

По левой стороне Сумской улицы дом, бывший Сливицкого (ныне Шатровой), был последний частный дом. Затем следовал институт благородных девиц, университетский сад и Ветеринарная улица.

На Мироносицкой площади, после продолжительного забора от угла улицы, был домик в три окошечка, принадлежавший Сливицкому (ныне Рудневой) и смотревший на широкую площадь, заставленную густо памятниками, оградками, капличками, плитами надгробными, простыми могильными холмами с крестами у изголовья. Не мало было чугунных, каменных и мраморных плит с зияющими норами, точно ранами, от провалившейся в склеп земли.

Вся эта картина полного разрушения и пренебрежения к месту упокоения когда-то усопших людей и даже к порядку и благообразию стояла много и много лет, наводя и страх и ужас на обывателя патриархальной старины в ночное время и днем.

Эта площадь, представлявшая собою картину безобразия и разрушения, была не безопасна для прохожего как во время грязи, так и в сухую погоду.

В брошенных на произвол всеразрушающего времени часовнях, капличках и разных склепах с начала дней весны поселялись люди злой воли и распущенного нрава и жили там как в своем углу. Временами, по ночам, для того чтобы не

так открыто держать свой приют на виду у всех, эти люди гнездились в подземных склепах, построенных из кирпича со взводами в виде небольших погребов. Там, сидя на гробах усопших, они при свете сальной свечи или ночника (каганца) играли в три листа. В темные ночи из этих усыпальниц виднелся красноватый огонек и шел дым, застилавший собой соседние склепы и могилы. Это в склепах готовился ужин; мраморная надгробная плита изображала собою кухонный стол, и тут, над гробами мертвых, шла стряпня для предстоящего табль-д'ота проголодавшихся жильцов гробниц.

Иногда эта непритязательная и веселая компания в этих усыпальницах совершала вакханалии совместно с прекрасным полом, и тогда, кроме света, слышались еще звуки бандуры нищего слепца, нанятого играть для такого пышного бала.

Грустно останавливать внимание на темных сторонах родного города. А еще более грустно эти темные стороны социального строя жизни родного города предавать гласности. Но во имя блага грядущих поколений я не могу умолчать о том, что русский человек вообще к своей родной старине, а также и к месту вечного упокоения в особенности, относится если не с холодным равнодушием, то как-то индиферентно, невнимательно. Кому известен маленький городок в Пруссии — Штетин? После Зюнде-Мюнде — это было первое место, в котором я остановился на сутки, чтобы осмотреть вблизи все то, что я наблюдал с палубы парохода, плывя по Одеру и поражаясь тем благоустройством, какого я не встречал на своей родине. Осмотревши окрест-

ности, мне пришлось остановиться у упраздненного кладбища, на поле которого шла оживленная работа. На мой вопрос, что делают рабочие и для чего они выкапывают кресты, принимают бережно монументы и заравнивают землю, мне объяснили, что это кладбище, как уже вошедшее в черту города, упразднено, почему все гробы с останками усопших бережно вынимаются из земли, снимаются монументы, ограды, кресты и металлические решетки; уничтожаются каменные склепы и тщательно заравнивается вся местность, делаясь годною для постройки домов и для проведения как водопроводов, так и улиц. На вновь отведенном месте для кладбища, вблизи храма, вырывается большая общая могила, у изголовья которой ставится один из крестов и обносится металлической решеткой. Надпись гласит: «Общая могила останков усопших с такого-то по такой-то год». Что касается крестов, монументов и решеток, то весь этот материал превращается в деньги, на проценты с которых ежегодно на общей могиле совершается поминовение и ремонтируется могила.

Не знаю, можно ли не отнестись благоговейно к такому уважению к останкам когда-то живших и усопших людей? Между тем, у нас ничего нет подобного. Говорить ли о том, что кладбища наши, даже неупраздненные (как, например, Холодногорское), содержатся нерадиво. Что же касается упраздненных кладбищ, то о таковых едва решаешься говорить. Я описал картину, какую долгое время представляло собою кладбище Мироносицкое. Кладбище Каплуновской церкви, в свою очередь, долгое время служило местом хи-

щения плит, решеток и крестов людьми низкого уровня нравственности. Кому не памятно изобилие костей и гробов, которые были вырываемы при укладке водопроводных труб сзади Николаевской церкви? В то время, когда строились дома Ковалева, Медведева (ныне Укше), Карпова (ныне Питры), Мишукова (ныне Гладкова), Мухина (ныне дом городской думы), гробы и кости усопших ставили втупик строителей, не знавших, что с ними делать. И мне невольно приходит на память могила m-me Staël [1] в роще белых акаций. Могила на далеком расстоянии от ее креста обнесена оградой, на углах которой следующая знаменательная напись:

C'est mon répos éternel; mon âme vous prie: ne le derangez pas! S t a ë l. [2]

В настоящие дни в таком же невнимании находится упраздненное кладбище на Конной площади.

Говорят: «примеры заразительны». Было бы желательно, чтобы пример Запада, совместно с могилою Сталь, заразили и нас сердечным отношением к нашим усопшим отцам и дедам.

Мироносицкая площадь в те дни служила рассадником суеверий и различных легенд, ходивших по городу о том, что мертвые вылазят из своих гробов и гоняются за прохожими, требуя от них иные молитв, другие — ограждения их места упокоения от мирской грязи и суеты...

[1] Французская романтическая писательница (1766—1817).

[2] Здесь вечный отдых для меня; моя душа вас просит: не тревожьте ее! Сталь.

Но как бы то ни было, а через эту площадь для многих лежал путь к концу Немецкой улицы и к улицам, примыкавшим к ней.

Если город освещался посредством конопляного масла, которое давало более чем жалкий свет, то такие громадные площади совсем не освещались и потому в безлунную ночь представляли собой тьму кромешную. А во время распутицы они представляли собою тундру в малом виде. И были случаи, что прохожий попадал на могилу, доски которой погнили, и проваливался в нее всею тяжестью своего тела, ломая себе руки или ноги. На крики его, обыкновенно, сходились живые жильцы склепов и охотно вытаскивали упавшего из медвежьей ловушки, довольствуясь самой ничтожной благодарностью. О грабежах не часто было слышно. Грабежами и даже убийствами отличались пригородные кабаки, в которых продавалась дешевая водка.

Я сказал выше, что суеверия в Харькове были явлением, чрезвычайно распространенным. Достаточно иногда было человеку выделиться из среды других своим состоянием или особенно счастливою торговлею, и легенда уже складывалась среди обывателей города как о человеке не таком, как все люди. О нем говорили, что он свою душу продал чорту, и потому его торговля идет так широко и удачно. А если такой человек умирал, то он непременно до сорока дней должен был ходить по городу и непременно в белом саване, хотя бы всем было то ведомо, что его похоронили в черной сюртучной паре. Такая ле-

генда ходила долгое время о купце Павлове, которого торговля колониальными товарами, оптом и в розницу, была так велика и прибыльна, что составляла предмет зависти для большинства торговцев. Но о купце Павлове я буду говорить в свое время, а теперь, возвращаясь к Мироносицкой площади, я спешу сказать, что вера в возможность посещения живых умершими иногда приводила к трагической развязке. Эти суеверия создавались теми, кому чуть не ежедневно приходилось переходить кладбища, выигрывая и расстояние пути и время. Нет сомнения, не раз и не одному из прохожих приходилось видеть, как вдалеке от него вдруг выходил из земли человек и шел куда-то в пространство. Говорить ли, что вышедший из земли человек был не кто иной, как живой жилец склепа или усыпальницы; но прохожий в ночное время принимал его за мертвеца. А если выходила из склепа женщина в белой рубахе, то иллюзия у труса дополняла веру в то, что он видел не живого человека, а мертвеца. Да и кому было бы заняться разубеждением там, где и рассказчик и его слушатели были склонны верить всякой небылице, лишь бы эта небылица была мистического содержания.

Однажды, молодая девушка, лет двенадцати, Матрена Безрукова, совместно со своею матерью, Ириной Федосеевной, возвращалась поздно домой, неся в корзине белье, взятое ею в пансионе Сливицкого, который помещался в собственном доме, ныне принадлежащем г-же Шатовой.

Ирина Федосеевна была прачка.

*

Настала осенняя пора. Грязь была еще небольшая. Нога не вязла в ней, но скользила, нарушая часто равновесие тела пешехода и тем самым затрудняла его ход. Ирина Федосеевна с дочерью своей Матрусей поспешно шла, чтобы до полуночи притти домой, так как в полуночную пору чаще всего вылезали из склепов и могил мертвые, гоняясь за людьми, и хотя никогда не обижали их, но нередко обращались к ним с просьбой или молиться за них, или исправить их могилу, грозя в противном случае мстить им всю их жизнь. Желая сократить путь, они шли по диагонали площади, пересекая места, на которых в настоящее время расположены дома Ново-Чернышевской улицы и параллельно ей Мироносицкой.

Ночь была темная. Частью скользкая грязь, частью тяжело нагруженная бельем корзина шатали их из стороны в сторону и сбивали с протоптанной пешеходами тропы. Как мать, так и дочь были робкие люди. Легенды, ходившие по городу о мертвецах, были им хорошо известны. Все это еще более делало их шаги неверными, сбивало их с пути и заставляло через силу торопиться.

От могилки какого-то усопшего остался неправильный и весьма низкий холмик, на который несчастная девочка Матруся ступила грузно обеими ногами. Но едва она сделала один-два шага, как доски, которыми нередко закладывают могилы, насыпая могильный холм, от большой ветхости сгнившие, не выдержали тяжести тела девочки и провалились в могилу, увлекши за собой девочку. Мать начала взывать

о помощи, Матреша начала выбираться из могилы, но все было напрасно. Борты могилы обрушивались, она неоднократно вновь погружалась в нее и, обессилевши от борьбы и страха, заявила своей матери, что мертвец держит ее за ноги. Услышавши это, мать оставила дочь и белье и бросилась бежать, вопя о помощи.

Но раньше рассвета дня ей не пришлось притти с людьми на помощь к своей дочери, которую застали в могиле в исступленном состоянии от страха. Причиною такого опоздания матери с помощью были все те же поверья, вследствие которых никто не желал итти раньше рассвета дня, боясь, чтобы за спасенную от гибели девочку самому не попасть в костлявые объятия приятеля с того света.

Матруся перенесла сильную горячку, хотя молодой организм ее не дался в руки смерти. Она выздоровела, но, увы, потеряла рассудок...

На первых порах мать поместила ее в отделение умалишенных в богоугодное заведение Сабуровой дачи. Но по истечении полугода она ее взяла, частью потому, что врачи признали ее уже выздоровевшею, а частью потому, что Матруся не раз жаловалась матери, что ее прислуга бьет и морит голодом.

Жила Матруся у матери, но при плохом надзоре, так как постоянное мытье и уборка белья поглощали все время матери, отнимая даже часы ночи. Матруся стала уходить из дома и блуждать по окраинам города. Она любила открытое и широкое поле, засеянное хлебами или убранное ковром цветущих злаков. Нередко ночью в одной рубахе, несмотря на зимнее время,

ее ловили за городом и приводили домой прозябшею до костей. Летом она почти не жила дома и, блуждая по полям, нередко встречала там утреннюю зарю и сама приходила домой веселою и жизнерадостною. К этому времени ее родные привыкли и, занятые тяжелым трудом, предоставляли ей полную свободу, зная достоверно, что она никогда никого не трогала.

Среди обывателей города, а особенно окраин его, сложилась легенда, будто бы какая-то девушка каждую ночь встает из гроба на Мироносицком кладбище и ходит по городу—ищет того, кто унес крест с ее могилы и разорил место ее упокоения. И когда она найдет виновника такого преступления, то она задушит его костлявыми руками так, как чуть-чуть не задушила она дочку прачки, Матрусю. Легенда эта наводила ужас даже на людей из богатого круга. Многие из ремесленников ночью не иначе ходили по городу, как вооруженные колом или каким-либо иным орудием, боясь возможности встречи с мертвецом, жаждущим мести за свой утраченный покой. Более всех боялись этого мертвеца женщины и положительно отказывались куда бы то ни было итти ночью. Причиною такой боязни было и то поверье, что женщины-мертвецы более любят нападать на женщин, чем на мужчин...

Бедная Матруся, как я уже сказал выше, от сильного испуга потеряла рассудок. Но ее умопомешательство из обостренного и беспокойного перешло в тихое, меланхолическое. Она ни с кем

не вступала в разговоры, сторонилась людей, искала уединения, вела беседу шопотом сама с собой и, дождавшись лета, все чаще и чаще уходила из дома в поле, к берегам рек, на лоно природы, где проводила время, безмолвно любуясь всем, что окружало ее в те часы дня или ночи. Широта и простор поля нередко приводили ее в такой экстаз восторга, что она начинала бегать по полю, петь, плясать и издавать звуки радости.

Нередко она исчезала из дома на двое суток, ночь проводила под открытым небом и ничего не ела. Если ее дома запирали и лишали возможности уйти, она забивалась в какой-либо узкий и темный уголок и там по целым дням тихо плакала и что-то шопотом говорила сама с собой. Но едва надзор за нею ослабевал, как она вновь уходила в свое любимое поле, где она пела какие-то песни или восторженно смеялась, следя пристально за движением облаков или смотря на мерцание звезд украинской ночи. Часто видели ее в одной рубахе, босою, с распущенными по плечам волосами и с блуждающими глазами. Видавшие ее в таком наряде спешили уйти от нее и начинали сомневаться в том, что они видели Матрусю, а не кого-либо другого. Не мало было и таких, которые принимали ее за легендарную девушку-мертвеца, ищущую того, кто разорил ее могилу.

Из числа таких пугливых и расположенных легко верить всяким предрассудкам был Трофим Кочанов, парень лет восемнадцати, живший мастером у подрядчика кровельных дел Сухотина. Худой, чахлый от постоянной возни с вареным

маслом, страдающий астмой, малодушный, Трофим нередко, по распоряжению своего хозяина, работал за городом и возвращался поздно ночью домой.

Однажды, при слабом свете луны, Трофим возвращался с одного из хуторов, расположенных по берегу реки Немышли. Ночь была теплая. Переваливаясь с ноги на ногу и мурлыча себе под нос какую-то нескончаемую песню, Трофим, казалось, был в веселом настроении духа и поглядывал на безбрежные поля, расстилавшиеся перед ним по правому берегу реки Немышли. Уже он приближался к городу, и столбовая дорога, ведущая в г. Чугуев и усаженная развесистыми вербами, уже была близка к его пути. Вдруг, неожиданно, в глубоком теневом пятне, образовавшемся вокруг развесистой вербы, мелькнула какая-то белая чигура, которая сразу выросла, сделалась высокою и зашаталась из стороны в сторону, точно ветвь, колеблемая ветром.

Трофим остановился и начал пристально присматриваться своими подслеповатыми глазами, проверяя, уж не обманывает ли его зрение, что ему чудится что-то похожее на быль.

Но фигура выпрямилась, вышла из теневого круга и, оставив в стороне от себя вербу, под тенью которой она скрывалась, вышла на открытое место и, поднявши руки к небу, еще полному блещущих звезд, что-то громко запела. Серебристым звуком разлился ее голос в ночной тиши и там, где-то далеко, далеко замер в воздухе.

Трофиму вспомнилось о девушке, которая по ночам встает из своей разрушенной могилы и

ходит по полям, желая найти того, кто нарушил ее вечный покой. Он присел, пригнулся к земле, укрываясь за большим пнем полуразбитой вербы, и начал следить за ее движениями, боясь быть ею замеченным.

Рассмотревши, насколько мог, что фигура, певшая песни, была женщина, он еще более уверился в том, что это была именно та девушка, которая встает из своей могилы и по ночам бродит по земле.

Наполовину он был прав.

Это была несчастная Матруся, которая, по обыкновению, блуждала по полям и, отдаваясь вся созерцанию природы, легко приходила в экстаз, как человек чуткий к возвышенной красоте и при этом больной нервами.

Пропевши какую-то короткую песнь, обращая взоры свои к небу. Матруся звонким хохотом нарушила покой ночи и побежала по направлению к межевому столбу, стоявшему вблизи ее. У столба она остановилась и, упавши на колени, залилась горючими слезами, поникнув головой к земле.

В эти минуты, казалось, она была в полном сознании и, созерцая величие природы, впала в молитвенное настроение своею чистою и еще не тронутою тлением греха детскою душою. Да и нельзя было не проникнуться благоговением к этой чудной и величественной картине природы.

То там, то здесь, как море, колыхались поспевавшие пшеница и рожь. Время было далеко за полночь, и к восходу лучезарного солнца, точно к празднику святому, готовилось небо,

очищая себя от почивавших на восточном его горизонте облаков. В ближайших хуторах слышался крик петуха. Звезды начинали меркнуть и исчезать в эфире неба; на Немышле изредка раздавались крики заночевавших гусей; перепела во ржи перекликались; в выси неба жаворонок пел утреннюю молитву богу. И всю эту богатую плодами землю, и всех этих вещунов близкого рассвета утра, точно охраняя от беспредельной и всепоглощающей вечности, покрывал дивный купол неба, казавшийся высеченным из чистого кобальта...

Матруся, закрыв лицо руками, безмолвно молилась...

Между тем Трофим, пользуясь тем, что она стояла к нему спиной и не видала его, тихонько, почти ползком подошел к ней и со всего размаха навыкшей руки кровельщика ударил ее зубилом по голове.

Как скошенный стебель травы, свалилась Матруся и обагрила своею кровью только что расцветшие цветы полевого жасмина и белой ромашки. Ее череп был раздроблен до мозга, она была убита.

Трофим толкнул ногой свалившуюся Матрусю и, убедившись, что она убита, злобно промолвил:

— Вишь, проклятая. Теперь не будешь ты пугать людей да искать, кто разорил твою яму...

Взваливши на плечо окровавленное зубило, Трофим быстро и с спокойной совестью пошел по столбовой дороге по направлению к Харькову.

Возвратившись в мастерскую, помещавшуюся на Нетечелской набережной, в доме, бывшем Карталова, у маленького мостика, через проток реки Нетечи, Трофим встретился со своим хозяином, кровельщиком Сухотиным. Обрадованный такою встречею, он поспешил ему рассказать, что он убил и как убил ту самую мертвячку, которая ходила по городу и искала того, кто разорил ее могилу.

— Ну, дяденька-хозяин, теперь мертвячка проклятая не будет пугать людей и шляться по ночам. Я ее зубилом убил, — весело, похваляясь своим подвигом, говорил Трофим.

— Да что ты, сумасшедший, говоришь? — с ужасом крикнул хозяин.—Какую там мертвячку ты убил?

— Ей-богу убил. Вот посмотрите на зубило,— оно все в ее чертовской крови.

Недолго размышляя, Трофима связали и сдали полицейскому начальству, которое не медля препроводило его в острог.

Начались допрос и следствие. Восемь лет просидел Трофим в остроге, пока суд постановил решение по его делу. Ему уже было двадцать шесть лет от роду. Быть может, сидел бы он в остроге еще большее число лет, если бы не встретилась необходимость поспешить с решением по его делу.

В похвалу того времени нужно сказать, что тогда было меньше острогов и домов заключения, чем теперь. И потому в харьковскую тюрьму приходилось заключать не только преступников, совершивших преступления в г. Харькове, но и в других городах. Это нередко вело к

тому, что в харьковском остроге становилось слишком тесно и нужно было употребить экстренные меры для освобождения нескольких мест в виду ожидаемого прибытия этапа арестантов из уездов губернии. Началась проверка заголовков уголовных дел, и откладывались к немедленному решению те дела, которые ожидали резолюции пять и более того лет. А так как Трофим сидел в остроге уже более восьми лет, то его дело и было немедленно решено и сдано к немедленному исполнению.

— И зачем вы задерживаете такие старые дела? — с неудовольствием говорил председатель уголовной палаты своему секретарю.

— Тут недостает свидетельского показания о его умственных способностях, — ответил секретарь.

— Какие там умственные способности? — нетерпеливо возразил председатель. — Подсудимый — видимый дурак, а вы толкуете о его умственных способностях. Сегодня же напишите резолюцию: наказать его пятьюдесятью ударами плетей через палача и сослать в каторжные работы на двадцать лет. Вы знаете, что нам нужно очистить в остроге место для нового этапа?

Приказание было в точности исполнено, и через пять дней после решения Трофима везли через весь город на Конную площадь. А вслед за ним, в последующие дни везли других преступников, таким способом очищая место для имевших вновь прибыть арестантов. И для обывателей города на несколько дней открывался даровой спектакль, напоминавший арену римского цирка.

Толпами за колесницей шли и бежали старики, старухи и молодые девушки, женщины с грудными детьми, дети всех возрастов и обоих полов и, к стыду прошедших лет, на площади, где был устроен эшафот, стояли коляски или парные сани, запряженные тысячными рысаками, которые горделиво храпели и рыли копытами землю, кичась, что в экипажах, ими везомых, сидели молодые и старые дамы, а рядом с ними и красавицы-барышни. Умышленно умалчиваю о том, чьи были эти лошади и экипажи, так как непристойно поминать лихом то, что давно уже миновало.

Тяжело смотреть на такие сцены, но тяжело и описывать их. Трофим не выдержал тяжкого наказания и в тюремной больнице, пролежав с неделю, умер. А толпа, шедшая и бежавшая за его колесницей, возвращаясь домой, галдела на разные лады.

— Вишь, варвар Трошка! Так ему и надо, — говорили одни.

— Да как он, бедняга, не разглядел, что это не мертвячка, а живая девушка? Знать, крепко выпивши был, — говорили другие.

— Ну вот, поди ж ты. Сказано: мастеровой человек — шел с работы, ну и выпил. . .

— А тут дьявол подвернулся. Уж он рад попутать человека крещеного, — в ответ заканчивал мысль своего собеседника шедший рядом портной.

— Да, да. Истинно так. Правильно изволите говорить, — утвердительно отвечал собеседник.

— Да так ему и надо, — где-то в стороне слышался возглас.

— Нельзя не наказывать. Только строгостью и можно исправить людей, — с достоинством говорил какой-то майор в отставке какой-то шедшей с ним разодетой барыне.

А дети?

О, дети, юные и чистые души, еще незапятнанные кровью ближнего, они группами возвращались с этого занятного зрелища и, переполненные вынесенным впечатлением из виденной ими живой картины, перебивая и не слушая друг друга, рассказывали, перечисляя малейшие подробности о том, как палач засучил рукава себе, да какая у него была плеть, да как крикнул подсудимый от первого удара и как потом, на седьмом ударе, замолчал и уж больше не кричал.

— Нет на восьмом! Я сама считала, — уверенно противоречила девочка.

— На восьмом? Ты много знаешь, — с негодованием протестовал мальчик.

— Я сам считал тоже, — кричал второй мальчик. — Он замолчал на десятом ударе. А потом начал стонать...

— Да, да, — крикнула обрадованная известием девочка. Он начал стонать... А потом и замолчал...

И шли дети, всё попрежнему жизнерадостно и горячо делились они впечатлениями ими виденного зрелища. И что сеялось в эти минуты в их души, представляющие собой неистощенную и разрыхленную почву, на которой всякое зерно способно принести плод сторицею? И что кому из них более всего понравилось и что у кого запало глубоко в сердце?.. Никто не задавался такими вопросами и никто не ведал и не подо-

зревал ничего, пока взросшее семя не разрешалось расцветом черного цветка, полного безобразия и зловонного запаха, в тяжелые годы их возмужалости.

Среди всей этой толпы детей одна девочка вела под руку брата своего калеку, который, на костылях и при помощи сестры своей, едва мог итти, а все же шел и выстоял весь процесс наказания.

— А как ты думаешь, Вера, отчего это убийца перестал кричать? — спрашивал сестру свою калека.

— Пойдем, пойдем скорее, Миша. И зачем мы пришли сюда? Господи, как мне жаль его...

— Да что ты, Вера, одурела? Убийцу тебе жалко? — сердито возражал калека, едва передвигая ноги.

— Миша, Миша, грех тебе будет. Уйдем скорее, — и Вера повернула за угол в улицу, противоположную площади казни.

Описавши целый ряд способов и возможностей пользоваться развлечениями и увеселениями совместно с зрелищами, какие выпадали на долю бедного и трудолюбивого люда того времени, я на этом последнем описании мог бы остановиться.

Но для полноты перечня всех развлечений я опишу еще некоторые из временных увеселений.

Время от времени приезжал в Харьков цирк, состоявший из сборной бродячей труппы клоунов, акробатов и наездников. Он строил для себя

временный балаган из шелевок на Михайловской площади. Большой величины обруч, обставленный кругом сальными свечами, представлял собою люстру, которая висела посредине цирка. По краям были сделаны стойла, которые назывались ложами, а затем амфитеатром шли скамьи вокруг всей арены цирка.

Желая привлечь в свой цирк побольше зрителей, антрепренер цирка время от времени открывал по улицам города торжественные шествия. Колесница, на двух колесах, древне-римского фасона, какие обыкновенно изображают на фронтонах театров и на триумфальных арках, запрягалась парою лошадей. Молодая наездница, в римском костюме времен цезарей или же молодой наездник, одетый в трико и в тоге, в сопровождении клоунов и наездниц, верхом, в костюмах вакханок, с жезлами в руках и в венках из виноградных листьев, в день большого представления ездили по большим улицам города, трубили в трубы и тем привлекали к себе внимание жителей, возбуждая желание побывать в цирке.

Также временно наезжал в Харьков зверинец и помещался с своим балаганом на Николаевской площади, где в настоящее время возвышается фонтан. Ревели по ночам львы, рычали гиены и раздирали уши своим криком обезьяны. При зверинце почти всегда находился украинской породы бык или теленок, у которого по странной игре природы была какая-либо аномалия в наружных частях тела. Это считалось чудом из чудес, и зверинец всегда посещался усердно публикою.

Наезжал также в Харьков время от времени музей, в котором было все, кроме редкостей.

Монаха Шварца был карман,
И знаменитой Ленорман,
Там были тройка, туз, валет,
Которыми она Наполеону,
Вещала царскую корону;
Там Лютера висел жилет,
Убийцы Генриха стилет,
И масляный троянца Гектора портрет.
Там было все. Из золота морского слитки,
И инквизиции там были пытки,
Костюм Батыя, весь из шелка...
Лишь не было там редкостей и толка.

Приезжала в Харьков и панорама, в которой показывались города Европы с непременным Парижем и Стамбулом во главе. Были виды Венеции, по каналам которой разъезжали лодки, напоминавшие байдарки на Дону. Но виды городов России, даже Москвы и Киева, всегда отсутствовали. Не было недостатка и в веселых картинах. Показывали римский карнавал и двух английских боксеров, с оголенными по плечо руками и в русских рукавицах.

При панораме, также и при музее, как необходимость, без которой музей — не музей, всегда в особом помещении и за особенную плату показывалась прекрасная Венера.[1] В панораме эту Венеру, изображенную красками на полотне, представляла нагая рыжая девушка с носом, вздернутым кверху, и с хорошо откормленным телом. А в музее на оттоманке лежала восковая фигура, изображавшая нагую девушку, до-

[1] Из греческой мифологии — богиня, покровительница любви и красоты.

вольно жирную и некрасивую. В одной руке она держала конец чубука от кальяна, тут же стоявшего, а другой рукой поддерживала свою голову.

Глупо смотрела Венера стеклянными глазами на зрителей; а грудь ее вздымалась так высоко, что напоминала отдышку после жирного обеда и хорошей выпивки. На обывателей же города эта дышащая Венера наводила и ужас, и удивление, заставляя потом много дней рассуждать о великом искусстве иностранцев.

Все эти редкости и дикости базарного искусства смотрели обыватели города за свои трудовые гроши. И составляли они по ним понятие о предметах, о городах и людях, с которых снимки были достоянием музеев и панорам...

Для законченности начертанной мною картины я ко всему сказанному могу только прибабить еще несколько слов о свадьбах, которые в длинные мясоеды доставляли обывателям города не малое удовольствие. Но что это было за удовольствие? Это было время разгула и безобразной вакханалии в продолжение трех и более дней после каждой свадьбы. Справляющие свадьбу, так же как и принимавшие в ней участие, все эти дни, кроме расхода и убытка, для себя ничего не имели. На другой день свадьбы молодые, в сопровождении сватов, свах и других членов свадебного штата, шли по улицам города с музыкантами к отцу и к родным как жениха, так и невесты, и во время их шествия картины скабрезного характера следовали одна за другой. Напрасно канкан приписывают изобретению парижан. Это танец архаического происхожде-

ния и ведет свое начало от времен доисторических. Все дикие племена совершают свои скотские оргии с этим танцем. И у нашего простого народа свадебные танцы, даже танцы при религиозных обрядах некоторых сектантов имеют характер канкана. Тем же характером отличаются танцы свадебные у малороссиян. Танцы — «журавель», «метелица» и другие — полны движений, напоминающих симптомы болезней нимфомании и сатириазиса.[1] При этом поются женщинами песни такого содержания, что ухо, облагороженное воспитанием, не может слушать их равнодушно. И все это совершалось и пелось открыто, на улицах и площадях, привлекая к себе внимание мальчиков и девочек, которые кучками бежали за свадебным кортежем и с малых лет научались тому отвратительному обычаю, который в зрелые годы служит почвой для развития дурных инстинктов.

Никто не решиться отрицать, что жизнь человеческая делится сама собою, без участия кого-либо извне ее, на две существенные половины: на половину, переполненную трудом, и на другую половину, предназначенную для отдыха и удовольствия. Но важно то, что нет такой силы и власти на земле, которые бы могли подавить у человека стремление к удовольствию и отдыху. И потому, если нет отдыха и удовольствий высшего порядка, которые смягчают нрав, развивают ум и облагораживают образ жизни, то человек, согласуясь с уровнем своего развития,

[1] Нимфомания — болезненно-повышенное влечение женщины к мужчине; соответственное состояние у мужчин — сатириазис.

сам создает себе и отдых, и удовольствие, не справляясь о том, хороши они или нет.

Но такими мыслями доброе старое время не задавалось, и потому простые обыватели города, к сожалению, как я уже указал выше, пользовались и отдыхом, и удовольствиями жизни, заставлявшими желать много лучшего.

К рассказу об удовольствиях, какими пользовались обыватели Харькова, считаю не лишним присовокупить кое-что и о тех неудовольствиях, какие нередко выпадали на долю их от самоуправства и хищнической воли богатых жителей города. Особенно страдали от этого крестьяне, привозившие на базар, в воскресные дни, сено, овес, муку, живую птицу и другие сельские продукты для продажи. Затем, жертвами самоуправства и хищничества являлись торговки, которые, живя на окраинах и в предместьях города, на Ивановке, на Журавлевке и на Основе, занимались приготовлением к продаже различной птицы, масла, творогу и разной огородной зелени. Но эти постоянные торговки городского базара насколько страдали от самоуправства богачей и власть имевших, настолько и сами изощрялись в смелом и хищническом способе приобретения вышеперечисленных продуктов от простодушных и доверчивых сельских жителей.

Торговки в субботу вечером и в воскресенье с рассветом дня целыми группами, разделяясь при этом по специальностям своей торговли — на птичниц, на масляниц и на огородниц, — выходили за версту и более того за город на дороги, по которым обыкновенно везли крестьяне свои продукты в Харьков для продажи. Едва

такая подвода успела приблизиться к группе женщин, ожидавших ее, как ее хозяина-крестьянина обступали кругом, лошадь с подводой останавливали и начинали приторговывать всю птицу или весь продукт, помещавшийся на возу. Торг шел ожесточенный, и от крестьянина требовали, чтобы он огулом продал свой товар за такую-то сумму. При этом шли неистовые божбы и уверения, что на базаре ему не дадут такой высокой цены за товар, какую они ему предлагают. Настаивания и уверения были так горячи и отличались таким враждебным тоном, что их нельзя было отличить с первого взгляда от настойчивых требований и даже более того.

Крестьянин, добродушный и доверчивый, после борьбы с этими пешими амазонками,[1] наконец, сдавался на капитуляцию и продавал им весь свой товар, не довезя его до базара. Быстро покупщицы, отдавши деньги, разбирали товар по рукам и возвращались в город, предварительно согласившись между собой держать цену. Было не мало в Харькове чиновников и купцов, которые приходили на базар, выбирали для себя необходимый товар и, назначая сами за него цену, швыряли деньги крестьянину или торговке и уезжали с отнятым товаром домой. Особенно отличался таким способом покупки жизненных продуктов весьма богатый купец Кутильников, имевший дом на Николаевской площади, ныне принадлежащий Васильеву. Кутильников был известен всем под именем «Прима».

[1] Амазонками древнее греческое сказание называет воинственный народ, состоявший исключительно из женщин. Амазонки воевали верхом на лошадях.

Он имел привычку почти за каждым словом говорить: «прим сказать» (сокращение — примером сказать) и потому его все и знали под именем «Прим».

Появление «Прима» на базаре среди торговок производило панику. Первая торговка, увидавшая его, спешила передать даже недругу своему — соседке, что по базару ходит «Прим». Что было особенно редкого и дорогого, немедленно пряталось; но «Прим», наподобие Чингиз-хана, настигал и выхватывал своими загребущими руками то, что ему приходилось по сердцу. Если же какая-либо торговка не желала брать за товар предлагаемую цену, то его камышевая палка немедленно начинала убеждать торговку в безрассудном ее упорстве и тщательно массировала спину и ребра несговорчивой продавщицы. Впрочем, «Прим» не составлял собою исключения.

Если «Прим» выбирал себе два-три воза сена или овса, то, не спрашивая крестьянина о цене, приказывал везти возы с сеном в его дом, следуя за ними экипажем, нагруженным разными жизненными продуктами, приобретенными при посредстве камышевой палки. Во дворе своем «Прим», сложивши сено, отдавал крестьянину ту сумму денег, какую он желал ему дать. Всякое сопротивление крестьянина оканчивалось тем, что его выгоняли со двора и запирали за ним ворота. И не было во всем городе ни места, ни человека, у которого обиженный крестьянин мог бы найти для себя суд и защиту...

Мне приходилось не раз слушать хвастливые отзывы о том, что в настоящее время санитары тщательно следят на базарах за доброкачествен-

ностью и свежестью провизий. Но и в описываемое мною время еще с большим тщанием следили за тем же. Особенно ревностно следил за этим квартальный Дудышкин, с которым я недавно познакомил читателя моих воспоминаний.

Дудышкин обыкновенно приходил на базар в сопровождении полицейского солдата, который нес из дерюги большой мешок. Пройдя к торговке, у которой была битая птица, он приказывал солдату взять в руки указанную им индейку и понюхать, не имеет ли она запаха испорченного продукта.

— Ну, что? — спрашивал квартальный у солдата. — Воняет?

— Воняет, ваше скородие, — отвечал солдат.

— Я так и думал, — с негодованием говорил Дудышкин. — Вот так доверяться им, этим сатанинским душам. Клади индейку в мешок...

— Да что вы, ваше высокородие? — вопила торговка. — У меня вся птица ночью резана, теперь видите какой мороз. Ей-богу, свежая...

— Молчи, молчи, глупая, а не то я весь товар твой забракую... — сердито и внушительно отвечал Дудышкин и продолжал пересматривать овощи у ее соседок, тщательно откладывая в мешок все, по его мнению, негодное для пищи, радея, конечно, о здоровьи городских жителей. А солдат-эксперт, как неподкупный гигиенист, определял достоинство и качество товара...

Такою жизнью униженных и оскорбленных, бесправных и угнетенных жило значительное большинство населения Харькова в описываемые мною сороковые и пятидесятые годы. Жизнь этого населения при неусыпном труде и скудном

заработке, при полной зависимости от произвола оценки труда и работы, при скудных удовольствиях сомнительного достоинства; жизнь, какая-то полумонастырская, при ограниченном куске хлеба и без духовной и умственной пищи, тянулась вяло. В молчании проводили люди дни и годы своей жизни, ходили во тьме ощупью и руководились преданиями своих отцов и дедов.

Без крика и шума надвигалась новая полоса жизни. Поколения сменялись поколениями, и люди уже не раз, после радостной встречи первой своей весны, переживали зиму и стужу непроглядной старости, сознавая в душе, что:

Старые свои, чай, кости,
Пора покоить на погосте...

Шло время, говорю я, а на востоке едва заметною полосой занималась, между разорвавшимся пластом нависшей тучи, светлая, отрадная заря новой жизни...

Севастопольская война была в полном разгаре. Отчаянный бой защиты своей родины дошел до крайней степени своего подъема.

Не только военные люди, но и граждане города, обыватели сел и деревень как будто слились в одну неразрывную силу, в титаническую мощь легендарного богатыря земли русской, и ополчились на врага, отстаивая пядь земли, когда-то омытой кровью русского солдата. Не было дня, чтобы в Харьков не приезжали из Севастополя раненые и выздоравливающие воины славной рати.

И что за чудные дни жизни пережили в то время харьковцы, слыша постоянно от храбрых бойцов за родную землю о различных под-

вигах храбрых солдат, о чудодейственной храбрости Корнилова, Тотлебена, Хрулева и о различных пластунах-охотниках,[1] искусно и удачно делавших вылазки против неприятеля.

Раненые и выздоровевшие, но уволенные в продолжительный отпуск на поправку, по распоряжению начальства, размещались по домам, на частных квартирах, бесплатно. На содержание же их отпускались суммы тем, которые не желали безвозмездно кормить раненых. Не утверждаю, чтобы все, но не помню таких, которые бы желали получать провиантные деньги. Все богатые и зажиточные люди города с радушием давали защитникам отечества приют, покой и пищу.

Высшие чины и офицеры действующей армии имели квартиры в домах и семьях богатых дворян, чиновников и купцов. И лишь немногие из богатых купеческих семей отказывали им в квартирах и на свой счет нанимали для них номера в гостиницах, платя свои деньги за содержание. Причиною этого, в большинстве случаев, были взрослые дочери, при которых принимать в дом молодых квартирантов считалось неподходящим делом. Но таких семей и домов было весьма немного. Они преимущественно принадлежали богатым купцам старообрядческого толка.

Об этом я буду говорить более подробно в следующих главах. Итак, как я сказал, что отрадная заря уже загоралась на востоке, что светлый рассвет радостного утра чувствовался всеми.

[1] Пластунами назывались разведчики-казаки в черноморском войске. В пластуны выбирались самые выносливые люди. Пластунские команды учреждены в 1842 году.

Несмотря на то, что в местных «Ведомостях», как и вообще в прессе, не было никаких намеков на нововведения, но бог весть почему начали блуждать среди народа слухи о какой-то воле, о каких-то отпускных и об уничтожении дней барщины. Хотя не мало было стариков, которые этим слухам не придавали серьезного значения и даже совершенно игнорировали их, слухи, тем не менее, не переставали циркулировать среди народных масс, производя на них отрадное впечатление.

Так вешние воды ничтожным и едва заметным отверстием пролагают себе путь через запруды и уносят то, что мешает им широко разлиться на нивы, жаждущие влаги...

В последней статье моей я остановился на рубеже шестидесятых годов. Но я был бы не прав, если бы в настоящее время повел речь о Харькове, каким он был с своими обывателями в шестидесятых годах. Много еще не сказано о том, что творилось в пятидесятых годах, и потому мне не раз придется возвращаться к этим годам, чтобы заполнить образовавшиеся пробелы, так заметные для наблюдательного человека.

Возвратившись из-за границы, я, как художник, был озабочен, когда мне сказали мои товарищи по профессии, что в Харькове не требуются ни картины вообще, ни пейзажи в особенности, и в художниках Харьков не нуждается. Что же касается скульптуры, то о таковом звере харьковцы даже не имеют никакого представления, если не считать за скульптурные произведения гипсовых котов, качающих на проволоке своими

головами. Хотя спешу сказать, что в то время в Харьковском университете был небольшой музей изящных искусств, а на кафедре по истории изящных искусств был академик Репнин, дом которого находился на углу Екатеринославской улицы и Жандармской площади. Кроме почтенного академика Репнина, в то время в Харькове были художники: два брата Колтуновские, Савицкий, Карпо, Гринфельд, Глинднер, Волошинов, Бесперчи и один из выдающихся живописцев — Куликовский, имя которого осталось в названии Садово-Куликовской улицы, на которой он первый поселился, почти среди леса, и имел собственный дом с живописною мастерскою. Его конкурентом по работе, не менее талантливым, был живописец Д. О. Ланевский. Что касается художников академического образования, то, бесспорно, в то время выдающимся художником был Бесперчи, который, после попыток Венецианова и Федотова начать писать картины из народной жизни, одним из первых остановился на народных сюжетах — из жизни малороссиян. Не менее талантливым художником по портретной живописи был художник Ладин, сын известной и талантливой актрисы Ладиной, имевшей амплуа комических старух, свах и ворожей. Затем, художник Волошинов, специальность которого была перспектива и nature morte [1] избранного им жанра искусства.

Кроме этих представителей искусства в Харькове, в те годы я застал помещицу Звереву, имевшую свой дом на Михайловской площади,

[1] По-французски, буквально — мертвая природа.

ныне принадлежащий С. Ф. Мирошкину. Любили также рисовать масляными красками — г-жа Танская, помещица Кульчицкая, девица лет восемнадцати, с которой художник Ладин, как портретист по специальности, написал прелестный портрет с известной в то время красавицы княжны Ахматовой, произведший хорошее впечатление на академической выставке в Петербурге. Помещица Кульчицкая хорошо работала акварелью портреты-миниатюры на слоновой кости, но не жила постоянно в городе, а наезжала из своего богатого имения в Харьков, преимущественно в Троицкую ярмарку. Но было бы грешно умолчать об акварелисте студенте Левдике, писавшем портреты. При университете в то время был синдиком[1] Касинский; как дилетант и любитель, он рисовал масляными красками и считался непогрешимым судьею по оценке художественных произведений. А если к этому перечню мы прибавим три-четыре иконописных мастерских, имевших по пятнадцати живописцев, то недочет в перечне художников выразится в лице двух-трех личностей, не игравших особенно важной роли в деле искусства.

Еще в те годы был известен живописец Грицко Хмара, страстно любивший искусство и положивший живот свой за него. Но о нем, впрочем, буду говорить особо.

В Харькове в описываемые годы не было ни одного магазина картин и эстампов, где бы можно было купить какую-либо гравюру или какой-

[1] Юрисконсульт.

либо эстамп. О городском музее и помышлять не было никакой возможности уже потому, что никто никогда о нем не говорил и никто в нем не нуждался. Если же иной раз молодой чиновник проездом из Петербурга хвастливо заводил речь об Эрмитаже и его драгоценностях, что несколько щекотало и возбуждало умы юных обывателей города, то на сожаления, что у нас нет картинной галлереи, немедленно появлялись возражения со стороны отцов и дедов, столпов и мудрецов богоспасаемого града, его же твердыню ни громы не поколеблют, ни разверзшиеся хляби не подмоют, дондеже старцы мудрые не умрут и град великий не оставят на руцех юности неразумной.

— Да что ты, Павел, глупые желания лелеешь в душе своей? Разве можно нам, провинциалам, нам, маленьким человечкам, мечтать о музеях, о картинах, об Эрмитаже? Эта роскошь только царям впору да богачам. Да и на что нам эти картины? — обыкновенно отвечал отец своему сыну, увлекшемуся рассказом проезжего петербуржца об Эрмитаже и его сокровищах.

И мудрый отец по-своему был прав.

В Харькове, в предместье Основа, в собственном имении жил богатый помещик Квитка, у которого была прекрасная и весьма разнообразная картинная галлерея, вмещавшая в себе картины кисти известных художников шестнадцатого столетия. А из современных тому времени знаменитостей были картины Айвазовского и Калама. Кроме того, эта картинная галлерея была богата значительным количеством эстампов, гравюр, акварелей и набросков карандашом

известных мастеров. Но никто не интересовался этим хорошим собранием художественных произведений, относясь к нему не с любовью, а скорее терпеливо, как к слабости богатого русского барина.

Весьма интересные картинные галлереи были у Кузина и Алфераки. Но о их существовании знали весьма немногие, хотя доступ к ним был не так труден, как, быть может, это думали.

В небольшой картинной галлерее Кузина была весьма выдающейся художественной работы картина внушительных размеров нашего известного баталиста академика Бабаева, «Взятие крепости Гуниба, на Кавказе — место резиденции Шамиля». Не менее прекрасной работы написаны им наместные образа в домовой церкви архиерейского дома по заказу архиепископа Филарета. Василий Великий, совершающий литургию, особенно вышел удачным по экспрессии и правде, верной натуре. Бабаев писал все предметы, вошедшие в сюжет образа: ризы, престол, чаши, дискос, евангелие, светильники и проч. и проч. с натуры, почему образ представляет собой нечто жизненное, влекущее к себе и возбуждающее религиозное настроение у молящегося. К сожалению, по неизвестной причине, с образов кисти Бабаева написаны копии и вставлены в иконостас, а оригиналы развешаны по стенам домовой церкви...

Не менее интересен и талантлив по работам был художник Бесперчи. Он разрабатывал сюжеты из народной жизни малороссиян. Размер его картины всегда был небольшой, кабинетный, но по сюжетам всегда его картины были полны

интереса и жизненной правды. Особенно мне памятна картина его работы: крестьянка лет четырнадцати везет своего седовласого старика-отца, несколько охмелевшего, домой — «до своей хаты» — из шинка. Все небо покрыто темною грозовою тучею. Ветер уже начал крепчать и вот-вот туча заволокнет собою солнце, ярким пятном отразившее свои лучи на смуглом лице старика и на белой сорочке девочки, со страхом смотрящей на движение тучи.

Не менее прекрасны были пейзажи Гринфельда. Его «Пожар в деревне ночью» и «Задний двор малороссиянина» особенно были хороши и правдивы.

Все это было и говорило само за себя, а среди харьковской публики не находило себе сочувствия.

За исключением весьма немногих личностей, большинство настолько относилось холодно и индиферентно к искусству, что живопись считалась несерьезным занятием, не продуктом таланта и влечения, а забавой (правда, благородной, желательной забавой) в свободное время. И потому меня на первых порах поражали требования знакомых, посылаемые по моему адресу, «написать картинку» то тому, то другому, не придавая никакого значения труду и искусству, могущим быть затраченными на выполнение такого интересного заказа. Да и вообще, как я уже сказал, на это занятие смотрели как на приятное препровождение времени.

— А вы все картинки рисуете?—задаст вопрос внезапно зашедший к художнику гость, заставший его за работой.—Занятное, я вам скажу,

дело. Но только не прибыльное. Вы бы лучше на службу поступили. Знаете ли, все как-то виднее и прибыльнее.

И так говорит другой, третий...

И вот художник, насидевшись вдоволь без заказов и без продажи картин, начинает хлопотать о месте и, пристроившись в гимназию учителем чистописания и рисования, складывает свои художнические доспехи и начинает выводить прежде элементы буквы, а потом отдельные буквы и, наконец, целые слова. А впереди... старость, со слабостью зрения и пряжка за сорок лет службы без пенсии. И для того, чтобы закончить такие великие блага мира сего, нужно было строить громадное здание академии с завидным штатом служащих, а учащимся — пробыть на скамьях не менее шести лет, а затем художникам, с выдающимися способностями, ехать на три года пансионерами за границу для приобретения и высших знаний по искусству и высшего знания по академическому уставу.

По возвращении из-за границы незаметно тратится еще год на заботы по отчетности в качестве пансионера и претендента на высшую степень. И так десять лет усидчивой двенадцатичасовой работы, утром и вечером, в классах академии, пребывания за границей, высшая степень, специализация в отделах живописи, — все это сводится к одному жалкому знаменателю: к обучению детей чистописанию (?) и (самое счастливое положение!) — к превращению себя в мастера иконописных дел. Я с умыслом не упомянул об уроках рисования, идущих рядом с уроками чистописания. Как в мужских гимназиях,

так и в частных пансионах того времени, мужских и женских, уроки рисования — это были часы нравственной пытки для учителя. На уроках рисования обыкновенно рисовать не учились, а шалили. Крик, шутки, еда пирогов и разной закуски, переписка стихов и спряжение глаголов на французском языке, насмешки над учителем, кидание шариков из жеваной бумаги в потолок и на классную доску и пускание посредством щелчков бумажных петушков на классный журнал — вот те занятия, которые сопровождали каждый раз класс рисования. Ни угрозы учителя, ни ласковые просьбы, ни даже плохие отметки в журнале за поведение и успехи — ничто не помогало. Да оно и понятно. Классы рисования стояли вне рамок распределения лекций. Отметки по рисованию не принимались во внимание, и самый предмет рисования считался приватным, ненужным, бесполезным...

Я сказал выше, что художник, посвятивший себя иконописному искусству, как сделал это баталист Бабаев, Бесперчи, Репнин, да и все другие, был в то время еще в положении завидном. Но что это за работа была и какие заказы приходилось исполнять ради насущного куска хлеба? Для иллюстрации этого я прошу читателя проехаться со мною по городам и весям, чтобы воочию увидеть заказы и заказчиков.

В имении вдовы генерала Тарасова, Воронежской губернии, я работал иконы для вновь выстроенной ею в деревне церкви. Почтенная старушка имела двух молоденьких внучек, которые, к сожалению, умерли, заставивши ее последние

годы своей жизни оплакивать их преждевременную кончину.

У нее остались два небольших портрета, писаные акварелью и по ее замечанию очень похожие на усопших ее внучек. Им было лет по пятнадцати, не более. Добрая и чадолюбивая бабушка захотела увековечить их красоту и поставила меня в обязанность написать с их портретов на северные и южные двери архангелов: Михаила и Гавриила, сохраняя при этом в лицах точное сходство с портретами.

Дилемма была такова: или весьма интересный заказ и полное расположение заказчицы, или — отказ с плохим отзывом обо мне как о художнике. Я выбрал первое и написал двух архангелов с портретов ее любимых внучек.

Исполнивши ее заказ, я, по ее же рекомендации, получил заказ в сорока верстах от ее имения у брата ее мужа, тоже генерала Тарасова, когда-то служившего на Кавказе и вследствие серьезной раны вышедшего в отставку.

Генерал по своему характеру был противоположностью доброй и любезной сестры своей. Он был настойчив, груб и даже деспотичен. Не любил генерал противоречий, почти не имел терпения выслушивать мнение, идущее вразрез с его мнением, и при малейшем с ним несогласии немедленно принимал вид наступающего воина и переходил в разговоре с вы на ты.

Иконы для его церкви я писал зимою у себя на дому, а летом привез их на место назначения, предполагая сдать работу и возвратиться в Харьков. Но мои надежды не оправдались.

Боевой генерал принял меня весьма радушно, отвел в мое распоряжение целый флигель в шесть комнат и три прислуги, с отдельным экипажем и парою лошадей, так как вследствие задержки работ по иконостасу мне предстояло прожить в его имении около месяца.

Генералом постлано было для меня очень мягко, но спать оказалось твердо.

Распаковав иконы и приведя их в должный вид, я сделал в отведенном мне флигеле выставку и пригласил генерала осмотреть исполненный мною его заказ.

Генерал тщательно осмотрел иконы, на некоторых попробовал пальцем доброту красок и грунта, спросил, употребляю ли я охру, и если употребляю, то какую — простую или заграничную, и, наконец, перешел к добротности лака, которым должны быть покрыты иконы.

— Вот уж я бы на лики Иисуса Христа и матери божией совсем не употреблял охры. Помилуйте: охрою полы красят и ею божественный лик пишут! Совсем не пристало...

— Почему же? — возразил я. — Охра — это общепринятая краска. А в Академии она считается основною краскою...

— Да что Академия? И в Академии вашей болваны учат делать несообразности.

Наконец генерал подошел к изображению архангела Михаила.

— Это кто такой? — спросил генерал, указывая на архангела.

— Это — архангел Михаил, — ответил я.

— Гм. Что же это он? Не холодит и не греет; не мылит и не бреет?

*

— То есть как это? Я вас не понимаю, генерал.

— Да очень просто. Он — воин. Его миссия — побеждать. А вы написали не то юношу, не то душеньку, которая сердится за то, что модистка нового платья не несет. Куда этакому с дьяволом сражаться? Будь у меня в строю такой солдат, я бы его сдал в госпиталь. А на войну не годится...

— Но видите ли, генерал... — начал было я в свое оправдание.

— Да что там видеть! Вы, конечно, не виноваты. Это Академия так учит. Когда я был в Петербурге, то был приглашен в комиссию по пересмотру академического устава. Я тогда доказывал, что для прогресса искусства необходимо вменить в обязанность господам преподавателям придерживаться не античной красоты лиц и фигур, а соответствия типам изображаемых лиц. Если ахрангел был воин — ну и надо изобразить бравого, рослого и сильного воина... А это у вас кто такой? — спросил генерал, указывая на Иуду, на иконе «Тайная вечеря».

— Это, конечно, Иуда, — ответил я. — Вот и кошелек с деньгами он держит в своих руках.

— Вот опять несообразность. Вы мне изобразите его в сивой шапке, чтобы всякий, кто взглянет на него, сразу бы узнал...

— Но...

— Да что там «но»! — Я говорю — значит, надо сделать, чтобы нам не ссориться и расстаться так, как встретились. Ты, меня, друг, не серди! — закончил генерал и вышел из моего флигеля.

Я терялся и не знал, что мне делать. Но, говорят: «человек ночь переспит и уже другим становится». Проспав плохо ночь, я утром отправился к священнику с желанием посоветоваться с ним о таком капризном требовании генерала.

Отец Стефан, старенький священник, тихий нравом, отчасти флегматичный, по экспрессии лица как будто чем-то удрученный и приниженный, выслушал мой рассказ о требовании генерала Тарасова.

— Что ж я вам скажу, милый молодой человек, — разведя руками сказал мне отец Стефан: — сказано в писании «твори волю пославшего тя», — стало быть, и надо творить, так как вы не будете грешны, а он будет грешен против соборных постановлений по иконописанию. А тут, видите ли, скажу вам, дорогой мой: генерал наш уж очень крутенек. Вот третьего года приехал к нему молодой, вот как вы, землемер, вызванный по его желанию для промерки земли. Дело в том, что соседи генерала, казенные крестьяне, оспаривали у него полторы десятины земли, которые он будто бы неправильно присвоил себе. Молодой землемер сделал промер его земли, и оказалось, что против утвержденного плана у генерала не полторы, а почти две десятины лишних. Но землемер об излишке уже молчал. Между тем Тарасов требовал, чтобы землемер отказался. Между ним и генералом начались пререкания и несогласия. А знаете ли, чем все это окончилось? Генерал завел землемера в свой сарай и там высек его как должно быть.

— Что вы, отец Стефан, говорите?— вскочивши с своего места, возразил я почтенному

старцу. — Да какое же он имел право на это? Да куда же смотрели, наконец, господа исправник, становой и прочие власти?

— И полноте: все эти люди свои! Будут они ради землемера за правду стоять? Вы знаете, как генерал принимает на праздниках причт церковный? . . Вот в прошлую святую пасху пришел я к нему с причтом поздравить его с праздником и похристосоваться. Но куда тут христосоваться, коли он никому руки не подаст?

— Да, да! — поспешил я подтвердить сказанное. — Он и со мною повидался, не подавая мне руки. Я к нему, а он обе руки заложил за спину, да так со мной и разговаривал все время.

— Он со всеми так, за исключением равных и высших себе. Да. Так вот мы пришли к нему с поздравлением. Он вышел, помолился, поцеловал крест и, пробормотав вполголоса «воистину воскрес», ушел, ничего не сказавши. Ждем мы и ждем, а уйти не имеем права, пока он не вышлет сказать, что мы можем уйти. Наконец лакей выносит на подносе всем нам троим по рюмке водки и по куску пасхи. А на каждом куске лежат деньги по чину: священнику, мне — один рубль, диакону — полтинник и пономарю — четвертак, что мы и приняли, по указанию его лакея, который, раздавши нам великую и богатую милость своего властелина, сказал: «теперь барин сказал, что вы можете итти домой». И так каждый год.

Не могу я не остановиться на личности священника отца Стефана Покровского. Худой, высокого роста, с белыми как снег волосами и с

длинною, мягкою, как лен, бородою, с кроткими глубыми глазами, аскет по жизни, вдовец по положению, семидесяти шести лет, отец Стефан своим радушным обращением и всегда кротким голосом невольно привлекал к себе того, которому суждено было встретить его на своем жизненном пути. Несмотря на свои лета и на режим жизни, напоминавшей жизнь аскета, отец Стефан не переставал интересоваться всем, что творилось в текущей жизни, и желал стоять в курсе всего, что совершалось на белом свете. Но более всего его интересовали верования и убеждения русских людей и взгляды их на религию. Изучая с полною любовью к делу жизнь и убеждения крестьян, он подметил характерные черты их нравов и сумел взглянуть в потайные уголки их души. Уже он мечтал о школах грамотности и лелеял эту мечту, придавая школам даже преувеличенное значение в их влиянии на благосостояние народа. В беседах с ним, нередко до утренней зари, при теплых июльских ночах мне пришлось выслушать от него не мало веских замечаний касательно благосостояния и развития народа русского. Отец Стефан хотя был вдовец, но жил не один. В его чистеньком домике совместно с ним жила сестра его, старушка почти шестидесяти лет, а по целым дням толкались в его доме крестьянские дети, мальчики и девочки, которых он учил сам грамоте, а главное — по несколько раз в день вел с ними беседы, бесспорно приносившие детям не мало пользы.

Заинтересовал он и меня своими беседами с детьми. Выждав время, когда его окружили дети

в его небольшом садике, где стояло несколько ульев с пчелами, а на особенном столбике, покрытом крышею, был врезан в дерево образок св. Зосимы и Савватия, я присоединился к их кружку, чтобы послушать речи доброго и сердечного старика.

Человек восемь детей обоего пола, от десяти до двенадцатилетнего возраста, окружили старика и, жизнерадостно улыбаясь, забрасывали его различными вопросами и жалобами на своих сотоварищей.

— Тише, тише, дети, шалуны вы этакие, — усаживаясь посреди их, весело обратился к ним отец Стефан. — Ну вот ты, Петруша, подойди-ка ко мне поближе, я у тебя спрошу кое-что.

К старику весело подошел курчавый, светлый шатен с голубыми глазами мальчик и, почтительно наклонившись перед священником, протянул к нему руку за благословением.

— Ну, мой умник, голубчик, вот ты скажи мне: господня заповедь говорит: «не убий». Хорошо. Если ты возьмешь толстую дубину или топор и ударишь им человека так, что тот умрет, — будет ли это убийство?

— Конечно, будет, — смело ответил мальчик.

— Умно, голубчик, умно. Ну, а если ты напрасно обвинишь в чем-либо своего товарища и его, поверивши твоим словам, жестоко наказывают?

— Все равно! — ответил Петруша. — И это будет убийство, но только убийство душевное, а не телесное, за которое будешь отвечать перед господом...

— Так, мой дорогой, так, мой голубчик, — радостно сказал отец Стефан и поцеловал мальчика.

— А скажите, отец Стефан, они грамотные? — спросил я у старика.

— Да, эти-то дети грамотные, — ответил мне священник. — Но только что же это? — Капля света в море невежества и тьмы. Да русских детей недостаточно учить грамоте: их воспитать нужно — так я думаю. Ну, а какое уже тут воспитание, коли нет ни школ, ни учителей, ни любви к ним, ни радения об их участи? А уж куда как хороши и пригожи в душе русские дети... Я их достаточно изучил и убедился: если бы не отказали мы им в нашей любви и внимании, наше дорогое отечество скоро бы не только сравнялось с государствами Запада, а стало бы впереди многих из них.

— А вот, говорят, что скоро будет уничтожение крепостного права, — сказал я в ответ чадолюбивому старцу.—Тогда, поверьте, займется заря новой жизни.

— Слышал я и об этой радостной вести. Дай бог, чтобы было так. Но... мне уж не дождаться этой зари, — с тяжелой грустью ответил старик.

В это время к нам в садик пришел крестьянин и попросил отца Стефана окрестить его ребенка.

— Хорошо, хорошо, друг мой. Приходи с кумовьями, я окрещу.

— Что же вы, батюшка, прикажете заплатить вам? — спросил крестьянин, кланяясь.

— Святым крестом, мой друг, не торгуют. Ты приходи с кумовьями и я окрещу твоего ребенка,

— Вы слишком снисходительны! — сказал я, проводивши глазами крестьянина.

— Да мы, я вам скажу, так уж сроднились с черствыми чувствами себялюбия, что если кто на линию отступит от общепринятого правила, уж он кажется лучшим из людей. А на самом деле — он такой же, как и все, поверьте мне...

Разошлись из садика дети, и последние лучи заходящего солнца уже потухали наверху старой развесистой березы. Я поднялся с своего места и начал прощаться с отцом Стефаном.

— Да уж посидел бы еще, — нехотя подавая руку, сказал мне старик. — Так вот что-то меня гнетет и тянет за сердце, уж не пришел ли час моей смерти?

— Что вы, что вы, отец Стефан? Вы очень устали, вам отдых нужен, вот и все. А вы о смерти думаете,— успокаивая старика, говорил я.

Полагаю, я привел достаточное количество случаев из практики профессионального художника для того, чтобы до некоторой наглядности познакомить читателя с отношением публики к художнику, а также и с теми требованиями, какие были предъявляемы обществом к искусству как в г. Харькове, так и в соседних губерниях. Хотя Харьков и служил местом, из которого, как из источника, черпали художественные силы соседние губернии, но все эти требования сводились к тому, чтобы написать новые образа или же реставрировать старые. Что же касается заказов на картины, то художник не имел их. Художники всех специальностей, для того чтобы хоть как-нибудь существовать, должны были

приниматься за иконописное мастерство, отбросив как ненужный хлам все приобретенные в Академии приемы композиции письма, колорита, перспективы, пластической анатомии и даже экспрессии лиц, так как в иконописной живописи над всеми состояниями человеческого духа царит неизменно одно благоговейно-созерцательное, святое настроение. Костюмы, лица, цвет волос и платья, глаза и оклад бороды, аттрибуты, окружающие святого, — все подчинено строгим условиям, из рамок которых нельзя выходить никому. Но, кроме этих тяжелых условий, художник должен был подчиняться мастерам серебряных риз, которые, выковывая одеяния для икон из благородного металла, оставляли для художника только незначительные отверстия для лица и рук, не обязывая его писать всю икону. Но было бы слишком поверхностно на основании вышеприведенных фактов сделать заключение, что люди того времени не любили искусства. Дело в том, что русскому искусству не повезло в его развитии. По введении христианства греки принесли в Россию искусство византийское, аскетического характера, строго условное и направленное только к служению религиозным целям. Русский народ воспринял всею душой христианскую религию, а с нею и искусство, занесенное ему греками. Кроме религиозных сюжетов, все другие задачи искусства были отодвинуты на задний план, как принадлежащие к разряду искусств, составляющих предмет роскоши.

С открытием императрицею Екатериною Второю Академии художеств, казалось, для рус-

ского искусства были сделаны ясли, в которых его вскормят, воспитают и возрастят. Но тут, к несчастию, всему благому помешало веяние идей того времени.

В Академии за учителей искусства были приняты антики древних греков и великие гении XVI столетия, времени Возрождения искусства в Италии. Учиться искусству в Академии того времени значило подражать во всем вышеупомянутым учителям. В талантах — и даже больших размеров талантах — не было недочета среди русских людей. И появился целый ряд картин на мотивы из греческой мифологии, совершенно чуждой русской душе и потому не нашедшей к себе ни сочувствия, ни любви среди общества. Академия художеств, а с нею и ее питомцы-художники стояли в стороне от народной жизни; а народ сам по себе стоял вдалеке от Академии и ее искусства. И только там, где искусство проявляло себя сюжетами из народной жизни, оно находило к себе сочувствие среди русских людей. Это весьма выразительно сказалось в симпатиях народа к художникам — Венецианову («Причащение старостихи Маланьи», «Вот, те и батькин обед») и Федотову («Приезд жениха», «Поздравление с Новым годом», «К милашке в гости») и другим. В Харькове мы видели такие же симпатии к картинам из народного быта художников Д. И. Бесперчи, Гринфельда и других, писавших на жанровые темы.

В Харькове в те годы был иконописец, малороссиянин Хмара. Все свободное от занятий иконописью время он употреблял на то, чтобы с

натуры изображать природу Малороссии и семейный быт ее обитателей:

И ставок,
И млынок,
И вишневый садок.

И его картины небольших размеров раскупались за недорогую цену охотно.

Среди харьковских художников находился в то время живописец вывесок и гербов, Иван Козьмич Хамло-Сокира. В юношеские годы Сокира пользовался расположением известного писателя Г. Ф. (Грицько-Основьяненко), который любил Хамло-Сокиру за его несомненный и выдающийся талант. Поддерживая его материальными пособиями, как человека совсем бедного, Квитка готовил его в Академию и давал ему средства на приобретение среднего образования. И, казалось, у Хамло-Сокира все шло хорошо. Он был не ленив и после трехлетних занятий с двумя студентами сделался неузнаваемым в манерах, в обращении и в своих суждениях. Но неожиданно его благодетель умер. Это так поразило Ивана Козьмича, что он на семнадцатом году, почти готовый к поступлению в Академию, начал пить, опустился и скоро умер.

Он с большой любовью иллюстрировал масляными красками повести и рассказы Григория Квитки. Я видел две его картины: «Козырь-дивка» и «Солдатский портрет». По композиции и силе экспрессии они были полны задатков крупного таланта. Однажды, возвращаясь в морозный вечер с Журавлевки со своими художественными принадлежностями, Хамло-Сокира на-

столько увлекся закатом солнца, превратившего снежную долину в перламутровую сплошную пластину (что нередко бывает), что, недолго думая, нашел у какого-то бесконечного плетня безлюдный тихий уголок и уселся набрасывать с натуры эскиз. А чтобы мороз не мешал ему, он поставил возле себя бутылку «дешевки»[1]. Долго ли рисовал он — неизвестно. Его нашли замерзшим в сидячем положении. На коленях его стояла шкатулка с картоном и красками, а о-бок его — пустая бутылка из-под «дешевки».

Был еще в Харькове иконописец Павел Кудряшев, который долгое время жил мастером у иконописца Куликовского. Он имел страсть писать картины юмористического характера, преимущественно из еврейского быта. А если мы вспомним, что в шестидесятых и семидесятых годах вышли из Харькова такие крупные таланты, как Репин, Крамской, Семирадский и Крюков, — то упрекнуть Харьков и харьковцев в отсутствии художественных стремлений будет грешно.

Я упомянул выше, что у богатых помещиков того времени были картинные галлереи. Но в большинстве случаев это были картины, купленные нередко за весьма дорогую цену за границей и на самом деле не имевшие никакой цены, за отсутствием художественных достоинств. Почти не было галлереи, в которой бы не висели две-три картины Рафаэля или Мурильо. Оказыва-

[1] «Дешевкою» в то время называлась водка, купленная в кабаке за городом. Она была крепче городской и дешевле.

лось, что эти два гения писали (вероятно, для русских бар) и стада коров, и кузни, и пейзажи. А уж мадонн их кисти не было числа...

Приобретатели этих картин плохо понимали или совсем не понимали ничего в искусстве, и их иностранцы обманывали. Да оно и не удивительно. Нельзя же приобрести понятие о чем бы то ни было из воздуха, а тем более запастись понятием об искусстве. Откуда же было приобрести эти понятия хотя бы харьковцам, а помещикам тем паче? В гимназиях, в институтах, в кадетских корпусах и лицеях преподавалось искусство ad libitum [1], составляя собою приватный предмет. Выставки картин были только в Петербурге и то один раз в год — академическая выставка. Харьков не имел никакого представления о выставках, а когда мне, в шестидесятых годах, вздумалось в собственной квартире, для ознакомления публики с работою прозрачными красками на стекле, по методу Мюнхенской королевской школы, выставить на четырехаршинном зеркальном стекле икону: «Взятие на небо божией матери» (по Мурильо), то на наши многократные приглашения (бесплатно) пожаловать смотреть икону дружно отозвались только господа художники, проживавшие в г. Харькове, да преподаватели гимназии и профессора университета. И все это происходило не от равнодушия к искусству, а от совершенной новизны приглашения. Когда в первый год открытия своей деятельности Общество передвижников открыло выставку в Екатеринославе, то на нее явилось счетом

[1] По своему изволению.

семь человек, при чем один из этих семи подошел к распорядителю выставки с вопросом:

— А позвольте вас спросить, когда начнется представление?

— Какое представление?

— Да ведь должно же быть какое-либо представление?

— Никакого представления не будет, и напрасно вы будете ожидать его...

— Вот оно какое дело. Ну, извините за беспокойство.

Простоявши не более недели, выставка была закрыта вследствие отсутствия посетителей.

Вспомнив о харьковских художниках былого времени и об отношении харьковцев к искусству, не могу не рассказать о печальной судьбе первой натурщицы, попавшей в Харьков и здесь нашедшей трагическую кончину. Начну, однако, ab ovo.[1]

При Академии художеств всегда есть пять-шесть так называемых присяжных натурщиц. Они не получают определенного жалования, но по требованию художника, работающего в академической (казенной) мастерской, позируют и получают от казны за каждый сеанс в три часа по пяти рублей. Эти же натурщицы бывают на сеансах и на частной квартире художника по добровольному соглашению о цене за сеанс.

В числе таких натурщиц была очень миленькая «субретка», из петербургских мещанок, лет восемнадцати, Елизавета, известная всем художникам под именем Лели. Счастливая наружность

[1] С начала.

этой Лели давала ей хороший заработок, и она почти всегда была ангажирована на сеансы по академическим студиям к профессорам академии. И уж чего с этой Лели ни писали, кого она не изображала собою на академических сеансах!

Леля изображала и св. Парасковью и Марию Египетскую, с нее писали и архангелов. Семь раз с нее изобразили Цирцею; три раза формы ее тела запечатлены в мраморе, изображая Диану;[1] два раза она была прелестной Психеей,[2] а профессор Нееф с нее изобразил своих восхитительных нимф и наяд. Всегда веселая, живая, игривая и находчивая, Леля прекрасно понимала, какую экспрессию нужно придать телу при изображении того или другого лица. Художник, писавший с нее или иссекавший ее из мрамора, лаконически отрывистою фразой заставлял ее дать поворот или движение такие, какие были необходимы в данном случае.

— Торс прямее. Сильнее перегиб талии. Больше движения в руках. Скромность в глазах. Сильнее выразить ямки на щеках. — Все эти технические выражения были для нее понятны, и потому Леля была одной из выдающихся натурщиц.

«Les peuples heureux n'ont pas d'histoire» — говорят французы.[3] Натурщица Леля не принадлежала к тому народу, который не имел своей истории. Ее судьба более чем плачевна, а потому

[1] Богини греческой мифологии.

[2] В греческой мифологии — олицетворение человеческой души.

[3] Счастливые народы не имеют истории.

я останавливаю мои воспоминания на этом эпизоде прошедшей жизни.

В Харьков приехал в средине пятидесятых годов сын очень богатого помещика Херсонской губернии, художник Академии Валерий Петрович Мечников. Попал он в Харьков проездом в имение своих родителей, находившееся в Херсонской губернии; остановившись на время в нашем городе, он нанял для себя квартиру в целый этаж и немедленно занялся живописью, держа себя особняком и почти ни с кем не знакомясь. Он еще в Петербурге задумал писать картину: «Эвридика прощается с Орфеем, увозимым Хароном».[1]

Для выполнения такой картины требовалась нагая натура для фигуры Эвридики. А так как в то время о нагой натуре, даже мужского пола, среди нашего провинциального общества невозможно было и мечтать (у себя дома писать с нагой женской натуры было бы преступлением, а родители Мечникова по отношению к нравственности стояли высоко и от всяких соблазнов держали себя далеко), то молодой и нетерпеливый художник, не стеснявшийся в средствах, недолго думая, решил остановиться на полпути, в Харькове, и на свой счет выписать из Петербурга натурщицу Лелю. Обеспеченная с избытком на проезд из Петербурга и обратно, при прекрасных условиях гонорара за труд, Леля не замедлила приехать к молодому художнику и остано-

[1] Имеется в виду греческий миф о певце Орфее, сошедшем в подземное царство за своей женой Эвридикой. Харон в греческой мифологии — перевозчик через подземную реку в царство теней.

вилась по его же предложению у него на квартире на все время необходимых для картины сеансов.

Все это было настолько ново, настолько необычно, что спустя несколько дней после приезда Лели и Мечников, скрывавший себя от любопытных взоров обывателей, и Леля, приехавшая к нему как натурщица, сделались притчею во языцех и произвели небывалую сенсацию, поднявши на ноги даже полицейское начальство, которое в лице уже знакомого нам квартального Дудышкина являлось к Мечникову за справками: какую картину он желает писать и что за люди — натурщицы, которые позволяют раздевать себя до-нага. Но встретившись с сыном богатого и заслуженного дворянина и заглянув в его кошелек, Дудышкин, как развитой человек, понял в чем дело и удалился навсегда из квартиры художника, порицая невежество толпы...

А в городе ходила из семьи в семью новость о том, как прибыл в Харьков художник-безобразник и пишет картину ужасного содержания, и как он для этого выписал из Петербурга какую-то натурщицу.

— Да, да, — говорила почтенная дама почтенному господину: — уж эти художники. Вот мне ненавистны за это доктора и художники.

— Что вы, сударыня, — спешил возразить ей почтенный господин. — Доктора — еще бы туда и сюда. А вот художники... — и господин в молчании разводил руками: — художники — не доктора. Доктора дело имеют с трупами, хотя и с нагими, а все же с трупами. А художники... — и господин шепнул что-то на ухо почтенной даме.

*

— Да как же это так? — чуть не с ужасом спросила почтенная дама.

— Да так, как мать родила, — вполголоса и пригнувшись к даме, сказал господин.

— Ах ты, господи помилуй! Чего же это полиция смотрит? Ведь это — соблазн! — отвечала дама, качая головой от удивления.

Между тем шло время; безобразник Мечников, запершись в своей квартире, писал свою картину на погибель всего человечества, а натурщица Леля — это исчадие ада — позировала ему в известные часы дня, стоя на нарочно сделанном для нее постаменте. И все это не прошло без внимания среди публики, и обо всем шел толк на разные лады. Девицы не имели права произнести ее имени и должны были строго играть роль «незнаек». Что же касается дам, то многие соглашались с мнением, что натурщица Леля не христианского вероисповедания, а, вероятно, турчанка, убежавшая из гарема.

— Все, все говорят: натурщицы в Петербурге — турчанки из гарема, — говорила Ульяна Матвеевна Прасковье Федоровне. — Потому, согласитесь сами, христианская девушка разве согласится на такое дело?

— Да и зачем эта натура? — рассуждала Прасковья Федоровна. — Ну, нарисовал бы так, как сумел, а то — смотрите-ка!

— Ах, уж не говорите. В Петербурге, в Академии, говорят, рисуют... —И Ульяна Матвеевна на ухо Прасковье Федоровне что-то сообщила.

— Скажите пожалуйста...—пораженная известием, ответила Прасковья Федоровна. — Уж

хотя бы посмотреть, какая она там на лицо, эта турчанка-то.

— Видали, голубушка, видали: говорят, настоящая турчанка — и нос, и глаза, все, все как у турчанки. И сидит, говорят, поджавши ноги как турчанка.

Но как бы ни было, а время сжалилось над обывателями города, и Мечников, окончив фигуру Эзридики, свернул в трубку холст и уехал из Харькова, щедро одарив Лелю за ее труды.

Леле, не долго думая, собраться бы и уехать по-добру да по-здорову из Харькова в Питер, но ее нелегкая дернула остаться в Харькове, в расчете на заработанные деньги открыть маленькую швейную мастерскую, составить себе партию и, выйдя замуж, зажить мирною жизнью хозяйки, жены и матери. Благие намерения, и нужно сказать, что на первых порах у нее было не мало заказов. Ей отдавали шитье многие только для того, чтобы посмотреть на турчанку из гарема.

— Скажите, модистка, вы родом турчанка?— неожиданно спрашивала у нее заказчица.

— Нет, сударыня, я — русская. Зовут меня Елизавета, а фамилия моя — Петрушкина.

— А веры вы магометанской?

— Нет, я — христианка...

— А давно вы крестились? — и проч.

И заказчица спешила передать ею виденное и слышанное своим знакомым при закрытых дверях, с разными комментариями.

Я сказал выше, что Леля была очень хорошенькая и грациозная девушка, и это вовлекло ее в большую беду.

Когда-то Лафонтен сказал устами своего сверчка: «Pour être heureux, il faut être caché». [1] Но такой совет, полагаю, может быть годным для сверчка; что же касается девушки, то я готов утверждать, что дабы быть счастливой, надо быть уродливой.

Не мало у Лели было заказов, но в то же время не мало было у нее и поклонников. Стремясь выйти замуж и доверчиво относясь к ухаживавшим за ней, она доверялась многим и приобрела таким путем поклонников, которые не терпели никакой конкуренции. Особенно настойчиво за нею ухаживал какой-то богатый ремонтер, мешая своим присутствием и щедрыми приношениями тем, которые имели намерение жениться, но не получали на то от нее ответа. Как петербургская ловкая субретка, она настоящих двух-трех женихов держала в резерве, а с ремонтера, как с барана Рамбулье, [2] снимала шерсть.

Надоело, наконец, женихам видеть со стороны Лели такое вероломство.

В туманное зимнее утро, несчастное для Лели, ее нашли в Университетском саду повешенною на суку черноклина. Она была раздета до-нага, и у ног ее лежало ее платье.

Кто совершил преступление и каким путем она могла попасть в зимнюю пору в сад — и по сей день для всех осталось тайной. И, вероятно, нарочно, с издевательством, жестокосердечный Отелло-душегуб раздел ее до-нага, не желая воспользоваться ни ее костюмом, ни ее ценными вещами, которые были при ней.

---

[1] Чтобы быть счастливым, надо прятаться.

[2] Рамбулье — порода овец.

Я уже говорил о том, что государь Николай Павлович ежегодно посещал г. Харьков, проезжая в г. Чугуев для смотра войск и для производства маневров. Ему нравился г. Харьков; он всегда останавливался в нем на несколько дней и посещал милостиво учебные заведения, а также бывал на балах дворянского собрания, даваемых специально в честь его величества. Не менее охотно он посещал балы в Харьковском институте благородных девиц. И что это были за балы! Зал всегда декорирован был с изящным вкусом и с полной роскошью. Из дальних уездов губернии, а также из отдаленных от города имений съезжались в г. Харьков помещики, среди которых не мало было стариков камергеров, гофмейстеров и флигель-адъютантов его величества. Среди танцующей и приглашенной на бал молодежи пестрели в роскошных костюмах парадной формы гвардейцы, из числа которых особенно выделялись ординарцы, адъютанты и офицеры конвоя его величества. Бал украшали красавицы девицы и молодые дамы, костюмы которых были роскошно убраны бриллиантами и драгоценными камнями. Государь всегда приезжал к открытию бала в десять часов вечера. Его величество сопровождали все власти и начальствующие города. Кроме начальницы института, совместно с классными дамами, встречали государя воспитанницы института всех классов. Одетые по-бальному, хотя с простотой, приличною воспитанницам учебного заведения, многие девицы высшего класса и выпуска имели костюмы из дорогих тканей. В то время такое явление было почти заурядное уже и по-

тому, что среди дворян губернии не мало было таких, которых дочери, состоя воспитанницами института, получали от родителей по сто и более рублей в месяц на конфекты и прочие лакомства. Это, конечно, вело к тому, что институтки нередко на свой счет заказывали эконому института приготовить им к обеду какое-нибудь любимое блюдо, купить лакомство, принести фруктов и т. д., что исполнялось с полною аккуратностью. Но более всего эти средства приберегались институтками для счастливых дней приезда императора. Для своего бала, на котором обещал быть государь, институтки на свой счет украшали зал, лестницу и даже двор института различными декоративными деталями. Желая своего драгоценного гостя принять с наивозможным великолепием, институтки просили свое начальство о том, чтобы на их счет, кроме общепринятых плошек и вензелей, все здание института было украшено роскошною иллюминациею. И в ночь бала все здание института, точно усеянное миллионами рубинов, изумрудов и бриллиантов, горело, переливаясь всевозможными цветами. Окна зала, в котором происходил бал, были отворены; лучший оркестр музыки Фодлера или Хорвата увлекал танцующих в вихре волшебных звуков вальса. Все от души веселились, радовались и были вполне счастливы, видя вблизи себя царя, обожаемого всей Россией. Перед зданием института стояла толпа народа, заглушая поэтические звуки оркестра восторженными кликами «ура». Если ночь удавалась теплая, то допоздна народ толпами ходил по Сумской улице, и среди этой толпы в роскошных экипажах ехали семьи

богатых купцов, чтобы хотя издали посмотреть на пышный бал.

Одним из таких пышных балов в институте был бал, данный в честь государя Николая Павловича в 1842 году. Николай Павлович, возвращаясь с маневров в Петербург, посетил этот бал. Бал был блестящ по обстановке и вследствие расположения духа государя — оживлен и весел. Не только цветущая молодежь, но даже и почтенная старость в лице помещиков в чине генерал-лейтенантов и в звании гофмейстеров и камергеров участвовала в первой фигуре мазурки, так как государь сам во главе всех и в первой паре прошел один тур мазурки с окончившей курс два года назад девицей Оконечниковой, дочерью купца первой гильдии, поставщика на всю армию юга России фуража для солдат конницы и пехоты.

На этом же бале было семейство помещика, генерал-лейтенанта Щетинина. Молодой Щетинин — кавалергард, любимый ординарец государыни, в чине подпоручика, одетый в бальную форму своего полка, был одним из первых красавцев на балу.

Сестра молодого офицера Григория Львовича Щетинина, Елена Львовна, воспитывалась в институте вместе с Ольгой Федоровной Оконечниковой, известной в то время красавицей — темной шатенкой с голубыми глазами, грациозной и стройной как пальма. Григорий Львович, посещая сестру свою, давно уже был знаком с Ольгой Федоровной и с согласия родителей своих рассчитывал на ней жениться. Но генерал Щетинин не мог допустить, чтобы сын его про-

сил у купца Оконечникова руки его дочери, не узнав прежде основательно, что Оконечников не откажет ему в руке своей дочери и даже за честь великую сочтет принять такое лестное предложение от сына богатого и знатного генерала. А между тем, стороною было слышно, что Оконечников, хотя и не пренебрегал войти в родство с генералом, намеревался еще несколько лет дать дочери свободу и потом уже подумать о ее замужестве, которое, при ее красоте и средствах, от нее не уйдет. Поэтому вопрос о сватовстве Щетинина стоял открытым.

На только что описанном балу этот вопрос совершенно неожиданно для всех был решен государем к счастью для молодых влюбленных.

Государь в первой фигуре мазурки прошел полонез с Ольгой Федоровной Оконечниковой, которая своей красотой и острым умом произвела на него весьма приятное впечатление.

Подойдя к Оконечникову, государь похвалил его дочь.

— Ну, Оконечников, тебя бог наградил дочерью, которой нужно жениха, достойного ее по красоте и уму, — сказал государь.

— Да уж, батюшка-государь, кого господь пошлет ей в женихи, тот и мужем ее будет, — ответил Оконечников, низко кланяясь государю на его приветливое слово.

— А вот возьми меня в сваты, я ей выберу жениха, который и дочь твою осчастливит, и меня, как свата, не сконфузит. Хочешь, старина? — ласково спросил государь.

— Ваше величество, государь наш батюшка, — с радостною покорностью ответил Оконечни-

ков. — И я, и дочь моя — в божьих руках, в твоей воле, государь. Не взыщи за нескладность моей речи. А уж вот как: от души говорю.

Государь подозвал к себе молодого Щетинина.

— Я тебе, Щетинин, невесту нашел, — сказал государь. — Хочешь, посватаю?

— Я счел бы за великое счастье иметь невесту по выбору вашего величества.

— Ну, вот тебе и жених твоей дочери, — сказал государь, обратясь к Оконечникову. — Желаешь?

Оконечников сделал глубокий поклон и прослезился.

Ольга Федоровна Оконечникова была засватана за Григория Львовича Щетинина, и тут же на балу влюбленные были объявлены женихом и невестой.

— Ну, Оконечников, — сказал государь. — Ты всегда хороший фураж поставляешь для моей армии. А теперь взялся поставлять для моих офицеров и красавиц-невест. За это поздравляю тебя коммерции советником.

Таким образом бал ознаменовался радостными событиями, в которых живейшее участие принимал государь император Николай Павлович.

Когда по окончании всех свадебных пиров и церемоний молодые Щетинины приехали в Петербург и были представлены государю и государыне, то Ольга Федоровна, по желанию императрицы, была назначена камер-фрейлиной.[1]

Государь не дождался конца бала и начал прощаться с воспитанницами, которые, окружив

[1] Придворной дамой.

его со всех сторон, усердно просили, чтобы он оставил им что-либо на память. Николай Павлович отдал им на всех два своих носовых платка. Девицы подхватили этот драгоценный подарок, от которого чрез несколько минут остались мелкие клочки.

Когда государь сел в свою коляску, оглушительные крики «ура» несметной толпы народа нарушили покой ночи. Но когда государь доехал до театра, то народ, ухватившись за колеса быстро катившегося экипажа, остановил его, выпряг лошадей и на своих раменах повез государя.

В это время двоих простолюдинов сильно помяли.

Государь приказал положить их в лазарет и вылечить на казенный счет, а при выпуске из лазарета одарить их от имени императора десятью рублями каждого.

Я уже сказал, что Николай Павлович любил г. Харьков, и потому, видя его не раз утопающим в невылазной грязи и желая хотя несколько облагообразить его, назначил генерал-губернатором города С. А. Кокошкина, сказав ему: «вытащи мне Харьков из грязи». С неимоверною энергией и неустанной бдительностью Кокошкин принялся за это трудное дело. Но слова государя — «вытащить г. Харьков из грязи» — он понял широко и разносторонне, почему его первая и настойчивая деятельность начала чувствоваться жителями города во всех деталях городской жизни. Прежде всего он обратил внимание на полицию и на думу. Городской голова, полицеймейстер и квартальные суетились, под-

прыгивая и подскакивая, точно куклы на щетине, во время игры на фортепиано. Среди этих лиц, зависящих от генерал-губернатора по службе, Кокошкин был тот Эзопов Журавль, которому Юпитер приказал Тевтейское болото очистить от жаб и лягушек. Журавль, без сожаления и не задумываясь, начал хватать лягушек и проглатывать их целиком. Лишь настанет, бывало, божье утро, как уже и есть новость, гласящая, что такой-то квартальный в отставке, а писец при думе уволен, а секретарю выговор дан, а градскому голове губернатор лично сам сделал внушение и пригрозил арестом на гауптвахте.

— Слыхали? — говорили граждане друг другу при встрече: — уже квартального четвертого квартала нет. Проглотил.

— Вот диво! — отвечал собеседник. Да вы знаете? Он всею этой мелкотою закусывает, а градскою думою обедает.

Но как бы то ни было, а болото родного нашего города всколыхнулось и начало плескаться о берега свои, заражая воздух зловонием.

С увольнением то того, то другого чиновника в отставку начали вскрываться такие делишки, которые объясняли давно томившие многих и неразгаданные вопросы: откуда, например, взялся дом у секретаря такого-то; или на какие средства приобрел хутор секретарь сиротского суда; или почему это так малодоходна Благовещенская церковь, в которой старостой купец Л-н, он же и заседатель от купечества в сиротском суде? И оказывалось, что секретарь сиротского суда прикарманивал себе не мало сиротских

сумм; а опекун сирот Хвощевых, купец Култынников, через посредство секретаря Басова, испросил разрешение сената и продал за ветхостью черноземную землю с усадьбою и с домашним скотом. Выручил он за этот «ветхий» чернозем со всем остальным скарбом шестьдесят три тысячи, оставил десять тысяч триста рублей сиротам, а на остальную сумму Басов купил себе хутор на Немышле, а Култынников устроил себе на своем хуторе лошадиный завод. И все это было так хорошо и добросовестно сделано, что все остались довольны. Сироты Хвощевы в радостях хвалились, что у них десять тысяч денег есть: даже купивший землю «ветхую» с черноземом через четыре месяца продал ее за девяносто тысяч рублей.

И со всеми гражданами города Кокошкин обращался одинаково, не различая купца первой гильдии от купца 3-й гильдии или мещанина.

Однажды, призвав к себе купца Л-на, Кокошкин спросил его:

— Скажи мне, Л-н, тебе нравится жить в Харькове?

— Да почему бы не нравилось мне жить в Харькове, ваше-ство? — недоумевая, ответил купец.

— Город Харьков — хороший город? — продолжал подшучивать Кокошкин. — В нем жить и тепло, и весело? . .

— Да почему же бы и не так, ваше-ство? — все еще недоумевая, отвечал купец.

— Ну, так вот что, — серьезным тоном ответил Кокошкин. — Чтобы ты мне непременно в это же лето церковь выбелил и ремонтировал

как снаружи, так и внутри. Чтобы эта церковь была доходная — непременно. И в-третьих, чтобы за этот год все церковные доходы показал мне непременно. В противном случае, я не посмотрю, что ты первой гильдии купец, и сошлю тебя в Иркутск. Слышишь?

— Да помилуйте, ваше-ство! За что же? Я же... — начал было оправдываться Л-н.

— Ну, довольно. Ступай домой и не забывай того, что я тебе сказал, — ответил Кокошкин и ушел из приемного зала.

И с того часа не один день шли толки по городу о нелюбезном приеме Кокошкиным именитого и почтенного купца Л-на.

Церковь через три дня после этой аудиенции у Кокошкина белилась, штукатурилась и вообще ремонтировалась заново. И доходы церкви с каждым днем все росли и росли...

Не менее ревностно Кокошкин следил за выпрямлением улиц города. Кривых улиц он не выносил.

Едва он замечал, что какая-либо улица шла известное расстояние прямо, а потом неожиданно поворачивала вправо или влево, он немедленно принимался за выпрямление. И в этом деле для него препятствий не существовало. Особенно же ревниво наблюдал он за главными улицами города. Но более всех улиц привлекла его внимание Сумская улица, так как по Сумскому шоссе всегда въезжал и выезжал из города государь император и на Сумской же улице находился институт благородных девиц, который так любил посещать государь император. Сумская улица того времени представляла собою стран-

ную смесь города с деревней, крайней бедности с богатством, круглого невежества с высокою культурою европейских институтов. Громадное каменное здание института благородных девиц стояло на ряду с убогой лачугой в три окошечка, срубленной в стояны и заклинцованной в смазку глиною с конским навозом. Это глиняно-хворостяное здание, крытое соломой, принадлежало бублейнице Марьяне Ковалихе; в хижине вместо ворот на ночь, закладывались какие-то доски, а вместо забора или плетня совсем ничего не было. А все же у наивных людей крепко держалось мнение, что вне ворот ходить нельзя.

— Напрасно хлопочете, Марьяна Федосеевна, — бывало, кто-либо скажет ей, видя, как она брешь, образовавшуюся на месте, где должны быть ворота, тщательно закладывает полусгнившими и поколотыми досками: — ведь подумайте: ворота заложили досками, а плетня и забора совсем нет?

— И вот, чудные люди, — ответит с неудовольствием Марьяна Федосеевна: — кто же пойдет во двор по месту, где должен плетень или забор стоять? На это уж надо быть туркомнехристем . . .

За этой лачугой стоял дом в два этажа купца Кожевникова. Затем еще два-три дома и опять лачуга с нескончаемым покосившимся забором, и опять в два этажа дом Гринченкова, купца и подрядчика, ныне купца Гладкова. А от института вверх шел обширный Университетский сад, который от институтской стены делал уклон влево и доходил до начала двухэтажного дома ветеринарного училища, а ныне квартиры

директора ветеринарного института. Сад этот, уклоняясь, едва имел ограду и на всем протяжении, где в настоящее время находятся дома Сухомлинова, Толочинова и далее вправо, влево и вглубь шла земля, принадлежащая купцу Котлярову, который когда-то был богат, а впоследствии настолько обеднел, что, кроме этой земли, у него ничего и не осталось. Эту землю в те годы никто ни за какую цену не желал приобретать. А впоследствии уже наследник Котлярова продавал ее по тридцати копеек за квадратную сажень. Нисколько не задумываясь, Кокошкин от стены института протянул прямую линию и, отрезав таким способом значительный кусок земли Котлярова в пользу Университетского сада, начал строить каменную решетку с двумя воротами, а вслед за сим каменный забор с воротами, которые в настоящее время принадлежат ветеринарному институту. Таким образом левая сторона Сумской улицы получила красивую прямую линию до места, где в настоящее время стоит киоск конно-железной дороги. Что касается купца Котлярова, то, за смертью его, малолетний наследник не сделал против такого захвата никакого возражения и уже в весьма серьезных летах, когда Кокошкина не стало, при императоре Александре II, он возвратил права на свою землю и получил как от университета, таки от ветеринарного института следуемые ему за землю деньги.

Что касается правой стороны Сумской улицы, то от конца ограды храма во имя жен-мироносиц и до места, где останавливается трамвай, не было ни одного дома и улицы: Сорокинская, Ми-

роносицкая, Чернышевская и т. д. почти до Немецкой улицы — все пространство представляло собою жалкий пустырь, заросший бурьяном и служивший местом отдохновения бродячих собак.

Не менее ревностно Кокошкин заботился о предупредительных мерах против пожаров, которые, к сожалению, в то время были очень часты. Пожарная команда города весьма немного была лучше той, которую в настоящее время можно видеть в деревне, возле сельской расправы. Когда из труб начинали качать воду, то пожарная кишка прорывалась сначала от напора воды и, наконец, лопалась, лишая всякой возможности посредством ее гнать воду вверх нагнетательным насосом. Лестницы при пожарной команде тоже были плохи и скорее представляли дрова, окрашенные масляной краской, чем пожарный обоз, в серьезном смысле этого слова. Кроме того, эта смешанность построек, наполнявшая собою все главные улицы города, уже не говоря об улицах второстепенных и об окраинах города, — постоянно служила к усилению пожаров. Солома в большинстве случаев, гонт [1] и безыменка, [2] составлявшие крыши домов небогатых и бедных обывателей, наконец, плетни и заборы, деревянные лестницы и т. д., представляли собою хорошую пищу для огня. Кокошкин приказал ставить на крышах, крытых соломой, гонтом и безыменкой, кадки с водой и помещать больших размеров мочальные швабры.

[1] Гонт, гонот — короткая дранка, иногда с закругленным концом, мелкие обрубки дерева для покрышки крыш.
[2] Безыменка — тес, доска тоньше вершка.

Этими приспособлениями во время пожара должны были пользоваться как надежным средством от огня. Немедленно было циркулярно разослано обывателям города приказание поставить у дымовых труб кадки с швабрами. Срок на это давался от трех до четырех дней. К тем, кто противился такому распоряжению или медлил исполнением его, на крышу немедленно являлись от казны плотники с готовым материалом и начинали свою работу. Несмотря на то, что Харьков в то время не мог быть назван городом, любящим искусство, но, тем не менее, на это изобретение Кокошкина появились разновременно три карикатуры. На первой карикатуре Кокошкин стоял на одной из таких крыш, которая горела. Но изобретатель оставался невредим, курил покойно сигару, а шваброй отгонял от себя мух. Другая карикатура изображала всю семью Кокошкина, расположившуюся на крыше. А на третьей карикатуре Кокошкин приспособил кадку на крыше в обсерватории небесного свода. Он сидел с громадными телескопами и смотрел на звезды. Надпись гласила: «Какую бы мне просить звезду за такое изобретение?» В то же время губернский инженер Петровский, изображенный в виде чорта, выглядывал из трубы, адресуясь с такою речью к Кокошкину: «Что же ты только себе звезду избираешь? Ты и на мою долю не забудь выбрать...»

Все эти карикатуры, появившиеся разновременно, ходили по рукам среди богатого люда. Но об них говорили шопотом; а показывали их друг другу при закрытых дверях, так как очень боялись, чтобы Кокошкин не узнал, что у них

есть карикатуры. Но несмотря на предпринимаемые предосторожности, все же не обошлось без курьеза.

Был в Харькове богатый купец В. И. Болотов. В его роскошном магазине можно было найти предметы роскоши: люстры, лампы, столики, порт-табаки, чернильницы, бювары и проч.

Болотов был старый холостяк, а потому не лишен был характерной странности холостяков — имел порнографические картинки заграничной фабрикации. Конечно, были у него и карикатуры на Кокошкина. Держал и показывал он их бережно. Но «на всякого мудреца довольно простоты». Болотов был добрый человек, но большой руки чудак, а по торговле — плут. Отличался он юркостью характера и большою рассеянностью. О том, что у него есть карикатуры, генерал-губернатор знал, но через своих полицейских агентов он не имел возможности изловить Болотова, так как на полицейских с его стороны влияло только одно приказание; а со стороны Болотова влияло на них приказание и деньги.

Однажды к Болотову в магазин приехал Кокошкин за покупками, а может быть и за разведками. Долго и внимательно рассматривал он в его магазине различные вещи, брал их в руки, поднимал с постамента, передвигал на столах и присматривался к вещам, то наклоняясь поближе, то поднимая свою голову кверху. У одного угла стояли две роскошные тумбы, на которых стояли не менее роскошные канделябры из венской золоченой бронзы. С намерением или случайно, Кокошкин, подойдя к этим канделябрам,

ничего не говоря, взял один из них и приподнял с тумбы. Под ним оказались какие-то листы бумаги. С быстротою вьюна Болотов подскочил к тумбе и снял с нее листы.

— Покажи мне сейчас же эти листы!—грозно и внушительно сказал Кокошкин.

Болотов от страха не только оробел, но и онемел. Он молча, дрожащею рукою протянул листы Кокошкину.

Кокошкин развернул три листа бумаги и увидал собственное изображение в трех видах, на крыше.

— А... а!.. Так вот какую ты ведешь торговлю! — сказал Кокошкин.

— Ва... ва... бы... бы... — что-то силился сказать полуонемевший от страха Болотов, упав перед ним на колени.

— Прислать ко мне на дом эти два канделябра с тумбами! А с тобою я разделаюсь, — сказал повелительно и грозно Кокошкин и вышел из магазина.

Бедный Василий Иванович так и остался на коленях, потеряв силы подняться на ноги.

Нет сомнения, что канделябры с тумбами были немедленно отправлены в дом генералгубернатора, а сам Болотов отправился к Родзянке, занимавшему видный пост при канцелярии генерал-губернатора. Родзянко, дворянин по роду, университетского образования и, как малороссиянин, был большой юморист, острый как бритва и меткий — как стрела богатыря.

Рассказал Василий Иванович Родзянке свое горе и просит сказать ему, чего ожидать и что делать.

— Та шо тут дожидаты, друже, колы погано? — ответил Родзянко на малорусском наречии. — Гляды, шоб не пришлось тоби в полиции полежать пузом на лавци?

— Для чего? — не поняв остроты, спросил простодушно Болотов.

— Для чего? Да ты будешь отдыхать, а солдаты на тебе будут махать, чтобы мухи не сидалы? . .

— Ах, боже мой! Что вы говорите! — пораженный таким известием, возразил Болотов. — Да я же первогильдейный?

— Хе, хе, — смеясь, ответил Родзянко. — Хиба ты не знаешь наших законов? Статья написана велыкими буквами — нельзя пороть. А пид нею маленькие буквы. Ото вже значить — выпороть. . .

— Что же мне делать?

— Пока ничего не знаю. Приходь дня через два. А пока мошну[1] готовь. Без нею не обийдышься. . .

На третий день утром частный пристав Судейкин, по распоряжению генерал-губернатора, явился к Болотову, чтобы препроводить его к Кокошкину.

Василий Иванович хотел прежде повидаться с Родзянко, но ему этого не позволили, и он на парном извозчике отправился с Судейкиным к генерал-губернатору.

Долгонько пришлось потомиться в приемной, совместно с другими, пока Кокошкин соблаговолил выйти из своих комнат в приемный зал.

[1] Карман с деньгами.

Наконец вышел Кокошкин и, минуя всех, подошел к Болотову.

— Ну что, купец, — как будто вышучивая его, сказал генерал. — Мне с тобой надо за твой товар рассчитаться. Говори мне сейчас, где ты взял картинки?

— Да я, ваше-ство, — начал было свою речь испуганный Болотов.

— Не сметь мне отнекиваться. Говори сейчас, я тебе приказываю.

Болотов молчал.

— Ты знаешь г. Нерчинск? Я тебя, каналью, туда сошлю с твоим товаром. Понимаешь ты это?

— Ваше-ство, помилуйте, простите! — рыдая, просил Болотов разгневанного генерала.

— Вот тебе мое милосердие,—сказал Кокошкин: — ты одинокий человек, а денег у тебя много. Теперь идет постройка здания благотворительного общества. Выбирай любое: или ты будешь сослан в Нерчинск, или пожертвуешь на благотворительное общество пять тысяч рублей, и я прощу тебе твою вину.

Болотов предпочел внести пять тысяч рублей, и генерал отпустил его с миром.

Но, потеряв сразу такой куш денег, он приупал и должен был войти в сделку с кредиторами, чтобы хоть как-нибудь удержать торговлю и не разориться в прах.

Между тем, кто же нарисовал эти три картинки? Вопрос оставался открытым и мозолил душу генерала. Среди студентов университета был некий студент Сципура, который владел карандашом и не раз помогал профессорам, рисуя

с трупов части человеческого тела. Его-то и заподозрил в этом грехе генерал-губернатор и попечитель харьковского учебного округа С. А. Кокошкин. Но бывший в то время знаменитый хирург профессор Ванцети защитил его, так как знал его за одного из лучших студентов.

Кокошкин в конце концов успокоился и оставил розыски виновника появления трех карикатур на него.

Как ни радел ревностью Сергей Александрович за постановкой на крышах бочек, а все же эти бочки не принесли никакой существенной пользы городу, не уменьшили числа пожаров, и многоведерные кадки с роскошными швабрами из чесаной мочалы пожирались дерзким и нахальным огнем, не уважающим генеральского изобретения. Сергей Александрович, не на шутку объявивший войну огню, призвал на борьбу с ним резервы в лице пожарных и полицейских солдат, а иногда и солдат из стоявшего при городе гарнизона.

Каждое утро Кокошкин ездил по разным улицам города, имея при себе верхового полицейского солдата, у которого в сумке через плечо было несколько кусков мела. Едва генерал доезжал до хаты или до домика, покрытого соломой, гонтом или дранью, как правая рука его с указательным пальцем поднималась и указывала полицейскому на дом или на хату. Верховой солдат немедленно подъезжал к дому или хате, мелом писал на ней крест и спешил догнать своего повелителя. Дом такой или хата обрекались бесповоротно к сломке. Таковой же участи подвер-

гались старые заборы и плетни. После каждой поездки на другой день рассылалась всем хозяевам обреченных к сломке домов или хат бумага, с требованием расписаться на ней: «читал такой-то», гласившая, что дом и забор должны быть сломаны в течение одного месяца, или же забор должен быть поставлен новый, а дом или хата должны быть покрыты железом.

Проходил месяц, а дома и хаты, обреченные к сломке, стояли крытыми соломой и гонтом.

Тогда отряд из солдат пожарного депо или полицейских городовых, с топорами и ломами, без шума и «гика», а как цивилизованные представители порядка и благочиния, являлись к обреченным на слом домам и, не входя в рассуждения с хозяевами, начинали разрушать крыши и разбрасывать гонт и солому; а на других улицах от лезвия топора и грубого напора ломов валились плетни и заборы, обнажая дворы и большие пустоши несчастных бедняков, и без таких мер проводивших жизнь полуобнаженными. И были дни, в которые вставало солнце красное не на радость многим и вызывало из уст разоренных молитву: «наказуй нас, боже, огнем ненасытным; но храни нас, святый, от бича неумолимого». И нередко многим хозяевам приходилось проживать в раскрытых, без крыш, хатах и домиках по несколько месяцев, проводя осеннюю распутицу в жилье, с потолка которого то капало несчетными каплями, то текло студеными и грязными ручьями, орошая одежду, белье и весь скарб жильцов. А огонь в свое время не переставал делать свое дело. Дома и хаты с железными крышами нередко

горели также исправно, как горят их собраты с крышами, крытыми гонтом и соломою.

Каждое утро, в известные часы, хозяева домов и хат, на которых не успел указать фатальный палец властелина, выбегали на улицу, озираясь то в ту, то в другую сторону, с выражением испуга на лице, с тревожно блуждающим взглядом, и высматривали, не едет ли генерал, чтобы снять с их жалких хатенок их соломенную голову за то, что она не железная.

Какая нередко тяжелая и безвыходная страда выпадает на долю русской женщины.

Среди бедного населения г. Харькова, жившего кой-каким ручным трудом, под соломенной крышей, на Екатеринославской улице, в небольшой хатенке в два окна, с двором, обнесенным старым, покосившимся плетнем, жила мещанка Олимпиада Марковна Дьяконова, мать троих малолетних детей и жена столяра, отъявленного лентяя, лежебока и пьяницы.

Она была известна среди небогатого люда как повариха; она же ставила пьявки, ухаживала за больными, убирала покойников, готовила поминальные и именинные обеды, была свахой и даже жила по нескольку дней в домах, заменяя собою экономку и хранительницу чужого добра. Честная и всегда верная своему слову, она пользовалась расположением и вниманием к себе даже в домах богатых купцов и дворян. Но вследствие тяжелой зависимости от мужа, всегда отбиравшего и даже крадшего у нее деньги, она была крайне раздражительна и, за-

щищая себя и детей своих, доходила иногда до отчаянных приемов в борьбе с насилием мужа.

Весьма почятно, что ее домишко, крытый полусгнившей соломой и огороженный старым плетнем, более чем другие дома и хаты давно уже требовал ремонта и безобразил собою Екатеринославскую улицу.

На доме ее давно уже был начертан мелом больших размеров крест. Но Олимпиада Марковна сама лично и через посредство других просила уже два раза Кокошкина отсрочить слом крыши ее дома и дать ей льготу. Ее просьбы были уважены и, наконец, летом ей дана была третья льгота впредь до следующей весны, почему на углу дома была прибита доска с надписью: «до весны такого-то года». Но и весна пришла, и даже уже миновала, а Олимпиада не бралась за ремонт своего домика.

В начале сентября месяца Кокошкин, по обычаю своему, ехал с верховым городовым мимо Олимпиады Марковны.

— Прочитай, когда назначен срок сломки! — крикнул генерал своему верховому.

— Срок был — весна этого года, — отвечал городовой.

— Завтра с утра послать пожарных солдат сломать крышу и плетень, и чтобы к семи часам утра все было убрано и свезено в сторону.

— Слушаюсь!— ответил городовой и поспешил на своем коне за быстро удалявшимся в коляске генералом.

На другой день, в четыре часа утра, десять человек солдат пожарного депо, с топорами, с вилами и с веревками, подошли к домику Олим-

пиады Марковны и, не говоря хозяевам ни слова, быстро влезли на крышу и начали сбрасывать солому и подрубливать стропила и латы. А двое из них, стоя внизу, занялись размоткой веревки, которою нужно было валить стропила крыши. На поднявшийся стук и говор солдат вышла Олимпиада Марковна из своей деревянной норы и начала протестовать против сломки крыши на ее доме. Начались со стороны солдат насмешки, а потом весь разговор перешел в ругань. А между тем солдаты делали свое дело, и солома со стропил крыши целыми снопами летела вниз, осыпая хозяйку дома сором и пылью.

Двое солдат, размотав веревку, собирались бросить ее на крышу, дабы обвязать стропила и валить их на землю.

У Олимпиады Марковны дрогнуло сердце, и она бросилась отнимать у солдат веревку.

— Оставьте, не ломайте! — вопила Олимпиада. — Где же нам жить, когда вы сломаете последнее наше убежище?

— Вишь какая явилась, — смеялись солдаты. — Еще для нее жилье нужно...

— Да я не о себе хлопочу. Меня не возьмет чорт, я и под плетнем переночую. Я о детях забочусь, я об них, голубках моих родных, плачусь. Идет осень, вот дожди пойдут, а они, бедненькие, в некрытой хате жить будут. Пожалейте их, родимые, порадейте об их участи.

И Олимпиада, рыдая, умоляла солдат не продолжать начатое.

Но два дюжих парня оттолкнули несчастную мать и с обычным равнодушием продолжали исполнять начатое разорение несчастной семьи.

На эту неурядицу вышел муж Олимпиады Марковны и, видя, что она спорит с солдатами, крикнул им:

— Да бейте ее, эту чортову бабу. Вишь увязалась. От нее и солдатам нет свободы. Вот настырная сатана! — причитывал Антон Дьяконов, усевшись на завалинке, точно в праздничный день.

— Ах ты, изверг, изверг! — вскрикнула Олимпиада.

Мгновенно подхватив лежащий у ее ног пожарный топор, обезумевшая женщина бросилась на своего мужа и рассекла ему голову.

Безжизненным трупом Антон свалился с завалинки хатенки, но вместе с ним без чувств, в обмороке, свалилась и несчастная Олимпиада...

К семи часам утра все было убрано, а также Олимпиада и труп ее мужа. И на месте, где час тому назад произошла кровавая драма, безмолвно стояла раскрытая хатенка, а в ней пищало трое малолетних детей.

Генерал-губернатор отличался особенной любовью к прямой линии.

Против кафедрального собора и в те годы, как и теперь, стояло больших размеров казенное здание присутственных мест. Здание было весьма прочное и обещало еще долгую жизнь. Но фронтовой фасад его представлял собою хорду круга и потому был ненавистен для прямолинейной души Кокошкина. Все здание было сломано, и на место его выстроено то, которое в настоящее время мозолит глаза своею однообраз-

ною прямою линиею. Не легко было достигнуть идеальной прямой линии при постройке этого здания, так как не только в длину, но и в высоту стен здания Кокошкин зорко следил за выполнением прямой линии.

В то время известным и весьма капитальным подрядчиком по постройке больших казенных зданий был купец Елиокин, которому и была поручена постройка этого здания. Но фронтовая стена его в разных местах, по приказанию генерал-губернатора, несколько раз разбиралась до основания и на счет подрядчика строилась вновь. Приедет, бывало, Сергей Александрович на постройку, станет с боку стены и посмотрит прищурив один глаз. «Криво», говорит: «ломать до основания!» Ему и то, и это — ничего не помогает. Наконец, сам Елиокин на другой день утром дожидает его приезда. С ватерпасом и с отвесом в руке он доказывает Кокошкину, что стены совершенно ровны и потому не подлежат сломке. Но прямолинейный Сергей Александрович не принимал никаких доказательств и требовал, чтобы такая-то часть стены немедленно была сломана.

— Ваше-ство, — наконец, возразил Елиокин. — Ведь, если я начну ломать, то это будет уже в четвертый раз. Помилосердствуйте же! Кирпич, известь, песок, вода, наконец поденная стоимость каждого рабочего — все это приносит мне тяжелые убытки.

— Ты что это пустился со мною резонировать? — внушительно возразил в свою очередь подрядчику генерал. — Или ты забыл, с кем говоришь? Если сегодня не будет начата тобою

сломка стены, то завтра утром я пришлю роту солдат, и они исполнят мое приказание. . .

Елиокину из двух зол нужно было выбирать меньшее, чтобы окончательно не разорить себя от постройки этого здания.

Казалось бы, можно было этим тяжелым уроком научить любого подрядчика не увлекаться предложениями Кокошкина взять на себя тот или иной подряд. Выстроив здание арестантских рот на Холодной горе и испытав уже на этом подряде железную волю генерала, Елиокин на постройке здания присутственных мест еще более убедился в необходимости на будущее время уклоняться от всяких казенных подрядов. Но не то готовила жизнь трудолюбивому и добросовестному подрядчику.

Кокошкин, как попечитель Харьковского учебного округа, затеял строить здание ветеринарного института и предложил Елиокину, чтобы все постройки и главный корпус здания института он взял на себя. Елиокин уклонился от предложения и даже не явился на торги. С торгов постройка здания должна была достаться купцу Гринченкову, дом которого был на Сумской улице. Но Кокошкин нашел торги совершенными неправильно и решил произвести постройку института экономическим способом, почему и послал за Елиокиным.

— Ну, мой незаменимый подрядчик, — любезно сказал генерал явившемуся перед его светлые очи Елиокину, — ты уж мне выстрой институт.

— Ваше-ство! Боюсь, опять не угожу вам. Пожалейте меня. У меня дети малолетки. А я

на здании присутственных мест более тридцати тысяч понес убытку. А строил здание арестантских рот — только приход с расходом свел, а пользы никакой.

— Знаю, знаю я вас, хитрецов. Вы все плачетесь, а кто знает вас, знает и то, что вы плачете не о том, что в сундуке нет, а о том, что от излишка денег сундук не запирается...

— Ваше-ство! Не шутя говорю — боюсь взяться. Увольте, ради бога.

— Ну, и я тебе не шутя скажу. Чтоб я не сделался твоим врагом, ты оставь за собою постройку этого здания. А я тебя не обижу, слышишь? Ты подумай и завтра утром приходи ко мне с ответом.

Нечего было делать. Елиокин должен был постройку здания ветеринарного института оставить за собой. Кокошкин остался очень доволен послушным подрядчиком, и постройка здания начата. Чем-то фатальным отразилась эта постройка на судьбе Елиокина. Начиная с фундамента и кончая крышей здания, Кокошкин не упускал ничего в своих наблюдениях за постройкою. То фундамент был кос, то цоколь недостаточно высок, то окна требовали расширить их откосы. Стены, перегородки, печи, полы — все переделывалось по несколько раз, и пол в музее и в торжественном зале, устланной паркетом, четыре раза весь сламывался и вновь стлался на счет несчастного подрядчика. В дополнение нравственных мук и тяжелых убытков, Кокошкин удержал более двенадцати тысяч рублей, следуемых Елиокину за постройку здания, и окончательно разорил подрядчика. В конце шестиде-

сятых годов наследники умершего Елиокина во вновь открытых судах, наконец, выхлопотали право на получение следуемых им двенадцати тысяч, и ветеринарный институт уплатил им эту сумму по определению сената.

Среди богатых купцов Харькова того времени был старожилом города богатый купец Скрынник. Он имел очень большую мастерскую, в которой шились из простого валеного сукна, темно-серого цвета, малороссийские свиты, с капюшоном (видлогой), лежавшим в виде пелерины на плечах и спине и служившим защитою головы и лица в мятель и в дождь. Свиты шились по всем правилам малороссийского кравецства,[1] и потому Скрынник был известен во всей Малороссии как самый искусный портной по части свит, и торговля его всегда шла успешно. Целыми возами отправлял Скрынник свиты своей работы во все города и деревни Малороссии. Киев, Полтава, Чернигов, Екатеринослав, Херсон и Одесса пользовались свитами скрынниковского производства, и его свиты были известны под общим названием «скрынок».

Если богатая малороссиянка выходила замуж за любимого парубка (парня), то на другой день свадьбы, в качестве сюрприза, дарила ему «скрынку», и этот подарок бывал предметом зависти для многих.

Между тем, для арестантских рот, тюрем и этапных домов Харьковской губернии понадо-

[1] Кравецство — закройка.

билось значительное количество свит. А так как Кокошкин любил принимать во всем участие, то и в объявленном подряде на поставку арестантских свит для арестантских рот и тюрем энергичный генерал был заправилой дела. Генерал приказал пригласить к себе купца Скрынника, чтобы предложить ему взять на себя подряд поставки необходимых свит.

Но тут «нашла коса на камень».

Скрынник знал хорошо, что значит взять подряд у Кокошкина, и порешил отказаться от генеральского предложения. Выслушав предложение Кокошкина вступить в подряд на поставку свит, Скрынник ни капли не смутился и дал отрицательный ответ.

— Кланяюсь и благодарю ваше-ство за предложение, но я никогда ни в какие подряды не вступал и в этот подряд вступать не желаю. А продать вашему-ству свиты на выбор, сколько угодно штук — могу.

— Нет, Скрынник, ты возьмешь от меня этот подряд! — внушительно ответил Кокошкин.

— Нет, ваше-ство. Я этого подряда не возьму! — спокойно и тоже внушительно ответил Скрынник.

— Так я тебя заставлю взять, — возвысив голос, сказал Кокошкин.

— Та це вы лякаете (пугаете) меня, — опять покойно ответил Скрынник. — Заставить вы меня не заставите, а я сам тоже не возьму этого подряда, на том мы и разойдемся с вами...

Скрынник почтительно поклонился генералу и, не дожидаясь никаких возражений со сто-

роны его, вышел из приемного зала и уехал к себе домой.

Кокошкина, не привыкшего к таким аудиенциям, так поразил Скрынник своею невозмутимой смелостью, что он не мог продолжать прием и ушел в свой кабинет, откуда выслал сказать, что прием окончен. Начались толки по городу, и Скрынника большинство жителей оплакивало заблаговременно, как человека, который должен погибнуть от оскорбленного генерала. Но упорный хохол не унывал. Не входя ни с кем в разговоры об этом предмете, он покойно делал свое дело.

Между тем, усердные люди, желавшие услужить Кокошкину, уговаривали Скрынника войти в подряд, и даже председатель казенной палаты советовал Скрыннику согласиться на предложение генерал-губернатора.

Но все было напрасно. Скрынник невозмутимо стоял на своем решении, никакие соблазны не могли поколебать его.

Кокошкин волновался и никак не мог примириться с тем, что купец осмелился ослушаться его и так стоек в своем слове. Но более всего его возмущало то, что враг неуязвим и что ему, полновластному генерал-губернатору, нет возможности в чем-либо уличить Скрынника, чтобы в возмездие насолить ему.

Среди богатого купечества того времени был купец и в то время городской голова — Рудаков. Его, как и Скрынника, Кокошкин недолюбливал и называл их мозолями.

— Уж эти два мозоля! — иногда говорил генерал как бы шутя. А уж когда-нибудь я их срежу.

*

Скрынник, как я уже сказал, был малороссиянин, и дед его был выходцем из Запорожья. А Рудаков был коренной русак, а по деду своему — новгородец. Оба они были друг с другом знакомы, но дружбы тесной не вели и с недоверием относились один к другому. Скрынник называл Рудакова «москалем», а Рудаков обзывал Скрынника «мазепой».

Глубоко почитая и уважая местного епископа, как тот, так и другой за великую честь и даже за духовную благодать считали посещения их домов владыкою. В то время жизнь была проще, этикет соблюдался небольшой, а потому более частое общение с владыкой было явлением обычным, а, к слову говоря, как Скрынник, так и Рудаков оба были богатые люди и радушные хлебосолы.

Так жили два денежных туза, не питая друг к другу никакой вражды, хотя и без особенной дружбы. Но бывает ли между людьми продолжительный мир? Совершенно случайно оба богача носили одно имя. Как того, так и другого звали Алексеем. Тезки оказывались именинниками в один день, 17 марта, на Алексея теплого. Вот тут, как говорят немцы, и «ist der Hund begraben». [1] Как Скрынник, так и Рудаков каждый год, в день своих именин, в приходской своей церкви служили торжественно обедни и молебны о здравии и благополучии своем. Но так как Скрынник был приходом к храму Благовещения, а Рудаков — к храму св. Троицы, то для того, чтобы в этот день ви-

[1] Собака зарыта.

деть в своих приходских церквах архиерейское служение, им приходилось чередоваться по-годно: один год Скрынник приглашал архиерея служить в своей церкви, а другой — Рудаков. Так шло дело много лет. Но с Рудаковым случилась весьма неприятная история. Он потерпел от пожара, а затем вошел в немилость Кокошкина и по представлению генерал-губернатора был сослан в Уфу на два года. Об этой ссылке я буду говорить подробно в следующей главе, а в настоящее время буду продолжать рассказ о временных отношениях Рудакова и Скрынника.

Перенеся таких два тяжелых удара в жизни и перенеся их, относительно говоря, благополучно, Рудаков устроил в Троицкой церкви на свой счет престол во имя своего ангела — Алексея божьего человека, а это дало ему право ежегодно просить местного епископа служить 17 марта торжественную обедню в приделе Троицкой церкви. Благодаря этому Скрынник лишился навсегда возможности в день своих именин слушать в Благовещенском храме архиерейское служение.

— Вот такой-то москаль, — обыкновенно говорил Скрынник при встрече с Рудаковым. — Недаром у вас, у москалей, Алексей называется «теплым»! И казаты ничего, — ты теплый, теплый москаль!..

— Ну, а ты какой? Ты значит — божий человек? Хорош тоже божий человек. Вишь вон какой верзило вырос?.. — Скрынник действительно был высокого роста. С тех пор при встрече этих двух Алексеев Скрынник получал

прозвище «божьего человека», а Рудаков — «теплого москаля».

Тяжело было вступать в подряд при Кокошкине для сооружения какого-либо здания, но еще тяжелее было брать у Кокошкина подряд на производство каких-либо гидравлических работ. При устройстве дамб, плотин и мостов энергичный генерал бывал жесток и неумолим как сатрап [1] древней Персии.

Давно уже генерал замышлял начать постройку моста через реку Харьков, при конце Московской улицы. Наконец был заключен контракт с подрядчиком Авиловым, и сдана ему постройка того непоколебимого моста, который и в текущие дни, как старый ветеран, стоит, не колеблясь на своих основах, удивляя своею стойкостью современных инженеров и строителей. А между тем, сколько лет вынес на своих раменах этот старина-мост, через полотно которого со дня его существования много и много раз проходили полки войск со своею тяжелою артиллериею, тянулись несметные обозы, нагруженные тяжелым товаром, и с быстротою птиц по дороге в Чугуев провозили много лет императора Николая Павловича, а затем — Александра II. Полвека назад построенный, без всякой претензии на красоту и изящество, но с настойчивым требованием сказочной прочности, мост этот, срубленный рукою новгородца, как неуклюжий слон, стоя крепко на своих устоях, дожил до того, что прихотливая циви-

[1] Правитель области.

лизация текущих дней проложила по его ребрам железный путь трамвая и, точно лучом радостного дня, ярко осветила его морщинистое лицо электрическим светом. И стоит он, кичась своею крепкою старостью; и не говорит он никому, скольких жизней человеческих стоила постройка его; и замалчивает он целые десятки драматических сцен, целые ковши горючих слез и стенаний тех, которые жизнь свою кратковременную положили в залог его полувековой прочности...

Кокошкин не жалел ни городских сумм, ни сил и жизни работавших его людей. Когда мост был окончен, расчет за него с подрядчиком был отложен до весенних вод, для того чтобы исследовать прочность постройки и испытать ее устойчивость. Весна в тот год была ранняя и теплая, а зима — снежная и богатая мятелями. В марте месяце сошел снег, и зашумели потоки и ручьи, вздулись реки, вышли из своих берегов, и массы льда двинулись точно на штурм к плотинам и мостам, разрушая их как ненавистные преграды для быстрого течения весенних вод. Подошли льды и к харьковскому мосту. Громадные глыбы их напирали на быки со всею силою своего наплыва. Взлезая на спины и головы быков и покрывая их собою, точно сплошною крышею, они давили быки книзу и леденили холодом своим их бедные головы. Но быки крепились и стояли, охраняя любимый генералом мост. Между тем, льдины, перебираясь через их вершины, с грохотом падали в воду, группируясь в безобразные горы у самого моста. А вода все прибывала, разливаясь по бе-

регам и отрезывая по обе стороны моста сообщение с ним. Мост трещал в своих связях, и быки значительно накренились в сторону, не выдержав напора массы льда.

Вскрылась река около пяти часов пополудни, и потому самая неотразимая сила напора вод и льда началась с восьми часов вечера. А в одиннадцать часов ночи подъем силы напора льдов дошел до maximum'а и грозил мосту не на шутку. Один из средних быков был подмыт и выворочен водоворотом так, что лежал боком, покрытый льдом и водою.

Услышав о критическом положении моста, Кокошкин приехал в десять часов ночи и немедленно послал за арестантами. Прибыли арестанты и по распоряжению генерала взобрались на сугробы льда. Но работать можно было не иначе как только с фонарями. А потому немедленно, несмотря на одиннадцатый час ночи, генерал-губернатором было приказано купцам Карталову и Кочетову, торговавшим железным и скобяным товаром в лавках, ныне занятых зеркальным магазином и чайною торговлею против биржи, отпереть свои лавки и выдать за счет казны двадцать фонарей, так как без огня работать было невозможно, а при полицейских управлениях нашлось только три фонаря.

Быстро прибывала вода, но быстро ставил препоны ей энергичный генерал. Арестанты ломали, разбивали плиты льда, которые с шумом валились в воду, образуя густую массу в колыхавшейся и черной, как сама ночь, воде.

Некоторые из арестантов были привязаны веревкой к основе моста. Другие, за недостатком

веревок, работали так. Фонари немедленно были зажжены и розданы арестантам. Сергей Александрович распоряжался, стоя в своем экипаже, который был хотя и на берегу, но стоял в воде выше подножек..

Вследствие сильного порыва ветра, вновь прибывшие глыбы льда сделали напор на груду накопившегося раньше льда, которая всколыхнулась и таким движением нарушила устойчивость почвы под ногами работавших арестантов. Неожиданно несколько фонарей пошли ко дну, а вслед за ними скрылись с глаз и два арестанта. Лед быстро затер собою несчастных, и они пошли ко дну. На рассвете дня один из них был вытащен из воды, благодаря веревке, которою он был привязан, а другого, четырнадцать суток спустя, нашли всплывшим в реке Донце, вблизи Святогорского монастыря. За двумя жертвами последовали две новых: два городовых по распоряжению генерала побежали по перилам моста, чтобы передать фонари с огнем на другую сторону моста, но как-то оступились, упали в реку и были затянуты течением воды под мост. И вот не прошло и часу времени, как существование моста было обусловлено жертвою четырех живых и здоровых людей, обещавших долгую и, быть может, полезную жизнь.

Невозмутим был Сергей Александрович при виде всего происшедшего. Вдруг на его глазах сильным ударом громадной льдины вышибло из-под моста одну сваю и быстрым течением вешних вод понесло ее под мост и далее. Увидев такое поражение своего любимого детища, генерал крикнул на арестантов и приказал им баг-

рами ловить сваю. Но свая скрылась с глаз ловивших ее и не была поймана. Затем вышибло из гнезд в разных местах еще пять свай и унесло их течением. Кокошкин сердился, кричал и волновался настолько, что по временам забывал свое положение и бранился крепкими словами.

По немедленному распоряжению его, несмотря на поздний час ночи, на место происшествия был доставлен подрядчик, взявший на себя постройку злосчастного моста. Накричал на него генерал-губернатор, затопал ногами, несколько раз с досады выбранил его и приказал, чтобы по окончании половодья он приступил к переделке всего моста, прибавил бы свай, железных связей и болтов; в противном случае он отдаст его под суд, залог денежный оставит в пользу казны и конфискует все его имение впредь, пока не будет окончен мост кем-либо другим.

Повинуясь приказаниям грозного генерала и спасая семью свою от угрожавшего ей нищенства, подрядчик долгое время то переменял, то прибавлял сваи, пока разорился вконец и на Основе, в густом сосновом бору, повесился, оставив жену и троих детей без средств к существованию.

Умершего подрядчика заменил другой. Но окончил этот фатальный мост уже третий подрядчик, который на оставшиеся залоги и проданную недвижимость первых двух подрядчиков почти весь мост переделал, вогнав в дно реки, ставя сваю на сваю, более двухсот паль.[1]

И по сей день стоит этот мост — могила чер-

[1] Паля — свая.

ная нескольких человек — и, как старый ветеран, трясется он, содрогаясь всем своим телом даже от тихой езды по нем. И сторожат его от разрушения такие старые, как и он, быки, ожидая из года в год, что придет иной человек, освободит их от долголетней службы и выстроит новый мост, более красивый и прочный и нежадный к таким человеческим жертвам, какими богат этот дряхлый ветеран...

Но, кажется, далеко еще то время...

С неменьшею любовью и заботою С. А. Кокошкин следил за работами по устройству набережных на всех трех реках города Харькова. Следы этих ровных, прочных и даже красивых набережных и теперь еще кой-где сохранились по течению трех рек: Лопани, Нетечи и Харькова. Для таких работ, распределенных по участкам, на несколько лет в Харьков были выписаны из глубокой России грабари и землекопы — люди, о которых харьковцы до тех пор знали только понаслышке.

Нельзя было не удивляться той энергии, с какою генерал одновременно занимался уравнением линий улиц, постройкой мостов, усовершенствованием противопожарных мер, обделкою берегов рек и, наконец, мощением мостовых и исправлением тротуаров. Но в то же время не могу умолчать о том, что он был в этом деле «один в поле воин». Ему никто не сочувствовал, все были против него, и много хороших затей по благоустройству города не было приведено в исполнение или обошлось втрое дороже только потому,

что граждане Харькова старались делать ему подвохи и тормозить работы по доставке материалов. Кокошкин был первым инициатором проекта соединения реки Донца с харьковскими реками, устройства водопровода и водоотвода, углубления фарватера рек. Имелся даже у него проект устроить ассенизацию для всего города. Но неподвижно было к новшествам наше общество, и на все его благие затеи отвечало оно всеми возможными и зависевшими от него ухищрениями и препятствиями. Можно положительно сказать, что если бы не широкая власть, данная Кокошкину государем, он ничего бы не мог сделать в Харькове хорошего, и до наших дней наш родной город принимал бы грязные ванны и, как Нарцисс,[1] любовался собою, отраженным в лужах и замоинах, невысыхавших на некоторых улицах даже в дни засухи. И если наши соседи — иностранцы — упрекают русских в «improductivité slave»,[2] то харьковцы всегда первыми заслуживали этот упрек, потому что действительно отличались неподвижностью и непроизводительностью. Всматриваясь в дела города того времени и в упорное противодействие представителей городской думы всему, что затевалось даже грозным Кокошкиным для благоустройства города, нельзя не удивляться той отчаянной борьбе, какую вели городские головы, ратманы и бургомистры, совместно с богатым купечеством, отстаивая свою любовь ко всему старому, рутинному

[1] Из древне-греческой мифологии. Нарцисс — прекрасный юноша, влюбленный в себя, в свое отражение в ручье.

[2] Славянская непродуктивность.

и отжившему. Резок в своих требованиях и настойчив был генерал, не щадя иной раз никого и ничего, во имя осуществления намеченного им предприятия. Но и граждане города, в лице лучших представителей своих, иногда были упорны до исступления и несговорчивы до глупости. И если Кокошкин в крайних случаях хватался за крайние меры, чтобы совершить дело, предпринятое им, то и граждане города, чтобы помешать успеху дела или совсем затормозить его, не брезгали никакими средствами и иногда пускались на такие хитрости, которые не могли не вывести из терпения даже самого сдержанного и покойного человека. И чего ни придумывали, злорадствуя ему.

То все харьковские подрядчики, бравшие на себя подряды по постройкам зданий или мостов и, конечно, имевшие связи с богатыми торговцами, подговаривались не брать ни одного подряда, и Кокошкин был вынуждаем выписывать подрядчиков из других губерний, чтобы не откладывать дела на неопределенный срок, то, как это бывало в других случаях, ни у кого нельзя было купить необходимого материала, что, например, случилось при устройстве набережных и мостовых, так что необходимо было этот материал выписывать из Екатеринославской и других губерний, платя за него тройную цену и нередко ожидая три и четыре месяца за распутицей и бездорожьем, чтобы перевезти его на место постройки. Казалось иной раз — люди без ужасающей грязи, без тьмы кромешной по ночам, без рек, полных зловония, не могли жить и считали себя несчастными, потому что явился среди них

человек, который задался мыслью освободить их от этих ужасающих прелестей.

Для постройки мною описываемого моста необходимо было выписывать подрядчиков-строителей даже из Москвы и Петербурга. И если бы не энергичная рука завзятого генерала и не его железная воля, то Мироносицкое кладбище, мною уже описанное и долго служившее картиною «мерзости запустения», ловушкой для проходящих и притоном для бродячего люда, еще долго и долго стояло бы свидетелем тупоумного равнодушия граждан города к удобствам городской жизни и к благообразию его.

Когда Кокошкин увидал Мироносицкое кладбище и призвал в то время бывшего городским головою Рудакова с целью поговорить с ним о немедленной необходимости очистить все пространство, занимаемое кладбищем, от памятников, крестов и оградок, засыпать могилы и сравнять местность, то городская дума в лице всех представителей ее дала от себя отзыв, что у нее «на такое предприятие, могущее быть отложенным на более продолжительное время, денег не находится».

— А сколько у вас теперь есть денег налицо? — спросил у городского головы Кокошкин.

Городской голова дал приблизительный ответ.

— Немедленно принести мне денежный ящик, — внушительно и безапелляционно решил Кокошкин.

И генерал поверил сумму, записал к себе в книжечку и, отложив в особый пакет за собственноручной подписью необходимую по смете для очистки кладбища сумму, принялся за ра-

боту, употребляя гарнизонных солдат и арестантов, которые по снятии памятников и засыпке могил были отпущены обратно. В две с половиною недели все кладбище было снесено и перестало безобразить город. А среди обывателей слышались толки о том, что Кокошкин даже на святыню простер свою руку и уничтожил кладбище.

— Да чему же тут удивляться?— говорили почтенные граждане. — Он скоро здания начнет скапывать с места!

И граждане не ошибались. Далеко отступая от церкви во имя св. Николая, стояла ветхая, безобразная деревянная колокольня как отдельное, будто самостоятельное здание. В нижнем этаже этого здания, давно нуждавшегося в капитальном ремонте, с поржавленным от времени и погнутым от ветхости крестом, были лавчонки, в которых продавались кресала, трут, хохлацкие люльки (трубки), мел громадными глыбами, и в небольших шарах желтая глина, гвозди, удочки, мочальные щетки для смазки глиной лежанок и загнеток русских печей и, наконец, тарань, бадьян, шафран и мускатный орех для хохлацких пасок.

Так как проезд в довольно широких размерах был свободный по обеим сторонам колокольни, то почти постоянно вокруг этого здания располагались приезжие хохлы с парами волов, запряженных в неуклюжий воз. Хохлы не спеша и с похвальною предусмотрительностью покупали люльку или кресало, выбирая долго, долго самые наилучшие; иные, сидя на возу, ели тарань; волы кушали сено. И те и другие сорили и оставляли по себе удобрение для почвы, и кар-

тина была полна черт местной культуры, наглядно указывая наблюдателю ту ступень цивилизации, на которой мы, харьковцы, стояли в те годы.

Кокошкин, недолго думая, дал торговцам люльками и кресалами для приискания себе других помещений два месяца срока, по истечении которого служителями гарнизона сломал колокольню до основания, а архитектору Тону приказал начертить фасад надстройки над входом в храм помещения для колоколов.

— А что? Не говорили ли мы, что он начнет и здания ломать? — вопияли обыватели города. — Шутка ли! И колокольню срыл до основания. И чем она ему мешала? За одну ветхость следовало бы не ломать ее... Экий безбожник...

Но как бы ни было, а чем ревностней генерал занимался благоустройством города, тем чаще он наталкивался на враждебное отношение к себе обывателей.

Кокошкин не переставал бороться с ужасающею грязью города и тянул укладку мостовой по главным улицам его. Но город предъявлял массу неотложных нужд, требовавших в свою очередь расходов больших денежных сумм, а городская дума была так бедна статьями дохода, что нужно было прибегать к экстраординарным мерам увеличения городских средств. И вот для того, чтобы мостовые можно было продолжать тянуть каждое лето безостановочно, прокладывая их не только по главным, но и по побочным улицам города, Кокошкин силой своей власти, через

думу, наложил на всех граждан Харькова названный им «мостовой налог». Этот налог налагался на всякого обывателя города Харькова, имеющего недвижимую собственность, обязанность, соразмеряясь с количеством квадратных саженей, занимаемых их домами по улице и до средины улицы, вносить кажый год известную сумму денег для прокладки мостовых.

Жители, не привыкшие к налогам и считавшие великим бременем для себя исправно делать взносы даже по тем статьям, какие искони существовали во всех городах России, были возмущены таким налогом генерал-губернатора и подняли поголовный ропот против его распоряжения. В то время городским головою был купец А. М. Рудаков. Торговал он колониальным и бакалейным товаром оптом и, как весьма богатый человек, был по характеру весьма самонадеян и решителен. Его окружали сотоварищи по профессии — богатые, как и он, торговцы — и, влияя на его самолюбие, убедили его дождаться проезда государя через Харьков в г. Чугуев и при поднесении ему на блюде хлеба-соли подложить под хлеб прошение — жалобу на его высочайшее имя, прося государя от имени всех граждан города избавить их от такого ненавистного и безжалостного генерала-губернатора, каким заявил себя с первых дней своего приезда С. А. Кокошкин.

Как и всегда в этих случаях, государь принял хлеб-соль и тотчас же передал блюдо своему адъютанту. Говорить ли о том, что прошение, поданное Рудаковым за собственноручною подписью, было передано государю, а государь, про-

читав жалобу, передал его своему любимцу Кокошкину, требуя от него объяснения на все изложенные пункты.

По расследовании, все граждане, на которых опирался Рудаков, — Сериков, Медведкин, Скрынник, Кочетов, Ковалев, Рыжов, Кувшинников, Медведев и многие другие купцы, — отреклись и отказались от участия своего в составлении жалобы и даже хвалили распоряжение генерала, благодаря государя за то, что он был настолько милостив к городу, что приказал генералу «вытащить его из грязи».

Рудаков неожиданно остался один в деле протеста против генерал-губернатора и был сочтен не только за инициатора этого дела, но и за возмутителя других граждан города против поставленного над ними самим царем начальника.

Между тем, Кокошкин, не желая губить Рудакова, а сознавая при этом крайнюю необходимость поддержать свой престиж среди городского населения и сразу ампутировать у горожан охоту заниматься протестами, просил государя удалить Рудакова без лишения каких-либо прав и преимуществ, по званию и состоянию ему присвоенных, в город Уфу на два года, но придать этому удалению посредством обстановки значение ссылки по повелению государя императора. Это было необходимо сделать, как объяснил Кокошкин, для того, чтобы внушить гражданам дух покорности и безусловного повиновения его власти, которую давно уже подрывали и расшатывали, препятствуя делать дело возрождения города.

Государь внял просьбам генерала и подписал указ о ссылке купца Рудакова в г. Уфу на два

года без лишения прав, присвоенных ему по званию и состоянию.

Купец Рудаков был женат вторым браком, от которого он имел пяти лет дочь Александру, а от первого брака у него было три взрослых сына и четыре дочери — невесты.

В октябре месяце было объявлено Рудакову высочайшее повеление, ему был дан месяц льготы для приведения в порядок своих торговых дел и в декабре месяце назначен был день его выезда или ссылки. Кокошкин позаботился выезд в ссылку Рудакова обставить насколько возможно картинно, чтобы он поражающим образом мог повлиять на толпу и тем стать внушительным для всех и каждого порознь.

На парном извозчике, с открытым верхом, в сопровождении двух жандармов с саблями наголо, был препровожден в десять часов утра А. М. Рудаков в зал харьковской городской думы, помещавшейся при полицейском управлении, на Николаевской площади. Там ожидали его все служащие думы с губернатором во главе. В это же время в думу были приглашены с подпиской обязательной явки купцы и лучшие обыватели города. Губернатор прочел высочайший указ, и затем Рудаков был посажен в простую тележку с двумя жандармами по бокам с саблями наголо. Тихим шагом телега двинулась через весь город, держась самых многолюдных улиц. Сзади и по бокам телеги шел взвод конных казаков, а впереди телеги ехало четыре конных жандарма с обнаженными саблями. Казалось, будто Рудаков был одним из самых опасных и жестоких пре-

ступников, уже не раз бежавших из-под стражи, почему в данном случае и назначен был за ним такой усиленный надзор. Между тем, как оказалось впоследствии, все это было придумано и устроено ради картины, которой угрожали всем обывателям. Многотысячная толпа, состоявшая из всех обывателей города и из пригородных сел и деревень, начиная от малолетних и кончая людьми, удрученными старостью, собралась смотреть, как будут отправлять в ссылку купца Рудакова. Дети Рудакова от первого брака, а также родственники его, большое количество дрожек, фаэтонов, колясок и ландо, запряженных лошадьми, ценою от сорока рублей за лошадь и кончая тремя тысячами за пару, с седоками в тысячных шубах и салопах, ехали, едва двигаясь, вперед, пробираясь сквозь толпу и провожая в ссылку осужденного, который сидел и открыто, не робея, а иногда и улыбаясь, посматривал из стороны в сторону, отдавая поклоны знакомым, как будто не сознавал себя виновным. Толпа народа, без преувеличения говоря, ревела и стонала. Вопли и стенания, причитывания толпы, направляемые по адресу осужденного, говорили, что народ с живейшим участием относится к его участи и горючими слезами оплакивает его горькую долю.

— Голубчик ты наш, защитник дорогой! — слышались причитания из толпы.— За нас пострадал, ради нас не пожалел себя!

Говорить ли о том, что все эти причитания исходили в большинстве из уст женщин и детей, которые, точно густая масса теста, переливаясь с места на место, старались пробраться

ближе к повозке Рудакова, чтобы посмотреть ему в лицо.

Среди этой массы плакальщиц большинство было и таких, которые совсем не знали Рудакова и даже никогда не видели его.

Ревнив и строг был надзор за осужденным. Взвод казаков охранял с трех сторон телегу. Едва толпа начинала сильно колыхаться, направляясь к осужденному, как казаки дружней и плотней окружали повозку и, поднимая вверх свои плети, с размаха опускали их на тех, которые сильно напирали на повозку. А в это время жандармы на конях крупами лошадей своих, не смотря, куда пятятся они и на кого напирают, осаживали и малых и старых, постоянно оглушая воздух криками: «раздайся, осади, берегись». И если к этому мы прибавим двух барабанщиков, которые впереди жандармов шли и не переставая били тревогу, и не забудем упомянуть о ржании тысячных лошадей, то перед нами развернется картина, полная потрясающих душу эффектов, искусственно освещенная в расчете произвести удручающее впечатление на толпу...

День ссылки Рудакова был днем какого-то траурного празднества, и целый день народ ничего не делал.

Пройдя не мало улиц, наконец выбравшись за город, процессия не переставала итти в должном порядке еще две версты. На третьей версте, несколько в стороне от дороги, стоял возок, запряженный четвериком рослых и сильных лошадей. Тут вся процессия остановилась, и картина изменилась по своему содержанию. В возке сидела

молодая жена Рудакова с единственною своею дочерью пяти лет. Рудакова окружили все его родные и знакомые, началось прощание, в морозный воздух взлетела не одна пробка с шампанского, и Рудаков, этот ужасный преступник, которого нужно было охранять такою когортою солдат, спокойно сел в возок, совместно с женой своей и дочерью, на козлах поместился жандарм, укрыв себя с головой и с ногами в волчью шубу, припасенную для этого Рудаковыми, и возок, весело побрякивая колокольцами и бубенцами, двинулся в путь.

— Эй, вы, родимые да буланые! Перезябли вы, выжидаючи! Нутко по снежку да по рыхлому, пробежитесь быстрой иноходью!..

Так ямщик, выпивший хорошую чарку водки, поднесенную осужденным, садясь и умащиваясь на козлы, ободрял лошадей своих и, наконец, двинулся в путь.

Все было окончено. Народ начал расходиться, пораженный чудесной метаморфозой. Он никогда не видал так уезжавших преступников. Что же это было? Театр на открытой сцене или маскарад с переодеванием?

А. М. Рудаков вольготно ехал в ссылку. Теплый и поместительный возок, всегда прекрасный четверик лошадей, казенная подорожная, дающая право не испытывать задержки при перемене лошадей, охрана в лице жандарма и, наконец, совершенная свобода останавливаться в гостиницах по выбору и на более продолжительное время, — все это, вместе взятое, облегчало положение в пути не только ссылаемого, но и его жены с малолетней дочерью.

Долго ли, скоро ли прибыл Рудаков в город Уфу, но все же путь его был окончен, и он остановился в лучшей гостинице, а затем поспешил представиться местному губернатору. Губернатор прочитал бумагу, врученную ему жандармом, и, сдвинув плечами в знак удивления, спросил ссыльного:

— За что же тебя сослали сюда?

— То есть вот каким манером, ваше-ство, — ответил Рудаков. — Полагаю за то меня сослали в Уфу, что я за всю свою жизнь не бывал в ней и не видел ее...

— Ну, так вот теперь посмотришь и увидишь, — ответил губернатор. — Ты здесь свободен. Иди и живи, где угодно и как угодно. Но только два года ты не имеешь права выехать из Уфы за город далее двенадцати верст...

Рудаков нанял большой деревянный дом, с антресолями и с дворовыми постройками, и зажил в нем, как барин. Знакомство с высокопоставленными лицами, лошади, экипажи, прогулки за город и на рыбные тони были к услугам богатой семьи, и двухгодичная жизнь в Уфе Рудакова была не ссылкой, а скорее продолжительным пребыванием его в гостях.

Желая разнообразить свою жизнь, Алексей Михайлович начал в Уфе учиться столярному ремеслу, которое ему далось весьма легко, и он сделал две модели с того дома, в котором он жил в «ссылке».

Наконец срок ссылки окончился, и Рудаков выехал обратно в Харьков и, как преступник, отбывший узаконенный срок наказания, должен был явиться к генерал-губернатору Кокошкину.

— Ну, что, Рудаков, — обратился к нему Кокошкин, — как тебе в Уфе было жить?

— То есть вот каким манером: здесь — Сибирь, — указывая на Харьков, ответил Рудаков, — а в Уфе — рай...

— Ну, вот видишь, куда я тебя сослал. А ты еще сердишься на меня...

Любя хороших лошадей, Рудаков привел из Уфы две пары чистокровных вяток. Малорослые лошадки цвета верблюжьей шерсти, покойные и, несмотря на малорослость, красивые, в то время были совершенною новинкою в Харькове и многих интересовали собой. Эта новость дошла до слуха Кокошкина, который, недолго думая, приказал Рудакову явиться.

— Вот зачем я призвал тебя к себе, Рудаков, — сказал Кокошкин. — У тебя, говорят, две пары хороших вяток.

— Да, есть, ваше-ство, — ответил Рудаков.

— Ну, уж ты мне продай парочку, по старому знакомству, — смеясь сказал Кокошкин.

— То есть вот каким манером, ваше-ство, — смело ответил Рудаков, — я никогда не цыганил лошадьми и потому продать не могу. А прислать вам пару вяток — пришлю. Ездите на них на здоровье.

И того же дня Алексей Михайлович приказал отвести пару вяток в квартиру генерал-губернатора.

И это было последнее столкновение и свидание Рудакова с Кокошкиным.

Но как ни счастливо и покойно жилось Рудакову в Уфе, все-таки его двухгодовое отсутствие из Харькова весьма тяжело отразилось на

его большой и завидно поставленной колониальной торговле. Товар был расхищен и роздан в кредит неблагонадежным лицам, почему получить за товар деньги было весьма трудно. Между тем, собственные долги оставались неоплаченными. Положение по торговле Рудакова было трудное, и он поехал в Москву, чтобы войти в соглашение с кредиторами и отсрочить на более дальний срок платежи по неоправданному кредиту.

Тяжела и трудна была эта поездка для Алексея Михайловича, привыкшего всегда оправдывать кредит даже двумя-тремя днями раньше срока, и нужна была большая решимость и сила воли, чтобы этому гордому человеку решиться стать лицом к лицу с своими кредиторами и заявить им без обиняков, что он разорен, что он платить тотчас полным рублем не может. Но и в данное время, считая себя правым, он с открытой головой пошел навстречу тяжелому самоуничижению.

Но какова же была его радость, когда московские купцы и фабриканты, более двадцати пяти лет знавшие Рудакова как примерного плательщика и знавшие причину упадка его торгового дела, а также незаслуженную им ссылку, встретили его в Москве с открытыми объятиями, сделали ему почетный обед, не жалея яств, не считая дюжин шампанского, и чествовали его как человека, который пострадал не за свои личные, а за общественные интересы. Ему половина долга была прощена, другая половина отсрочена, и дан был товар в кредит на большую сумму.

Торговля Рудакова пошла вновь блестящим образом, и еще так недавно приниженный и опозоренный человек вновь восстал и начал новую жизнь, при достатке и общем почете со стороны всех граждан города.

Началась жизнь новой гласной думы, и он вновь был избран в число гласных ее. Но Рудаков отказался от этой чести далеко до окончания срока, на который он был избран, и жизнь его из открытой общественной сделалась замкнутой и доступной для весьма немногих...

Я уже говорил, что генерал Кокошкин в своей деятельности касался нередко не только общественных и городских интересов, но и частных недоразумений и столкновений, которые были ему известны вследствие принесенных ему жалоб обиженным или обиженной.

Начну с общих, чтобы перейти к частным. В 1852 году в городе Харькове выпал настолько крупный град, что среди общей величины градин в вишню попадались градины неправильной формы, величиною в куриное яйцо. Все стекла в институте благородных девиц, в гимназии, в присутственных местах и вообще в большинстве домов города, имевших окна на восток, были выбиты. Обнаружилась действительная нужда в стеклах. Несмотря на большой оптовый склад стекол в магазине генерала Мальцова, а также и в других посудных стекольных лавках, стекла приходилось экстренно выписывать из Полтавы и из Курска, как из ближайших городов к Харькову. Нет сомнения, это повело к стачке между

торговцами, и цены на стекла подняты были до баснословной величины. За шипку полубелого стекла нужно было платить рубль серебром. Что же касается белого стекла, то за шипку такового платили по рублю пятидесяти копеек. Кокошкин одним взмахом пера установил свои цены на стекло: за шипку полубелого — двадцать пять копеек и за шипку белого — пятьдесят копеек. И, несмотря на такое усиленное понижение цен на стекло, граждане города понесли тяжелую потерю от этого града.

Вследствие плохого улова рыбы тарани (воблы), как известно, весьма любимой во всей Малороссии, цена на эту рыбу поднялась с трех копеек за штуку до пятнадцати копеек. Говорить ли о том, что всеми рыботорговцами, а также всем базаром была сделана стачка, почему цена на тарань так и повысилась. Малороссияне повесили головы и зажурились.[1] Для малоросса тарань и трубка тютюна — это фонд благополучия и радости жизни. Кто бывал среди коренных малороссиян, особенно среди косарей, тому, вероятно, приходилось не раз слышать:

— Як тарани та люльки не стане и соньце свитыты перестане! (Если тарани и трубки не станет, тогда и солнце светить перестанет).

Описываемое время, вследствие вздорожания тарани, близилось к тому, чтобы солнце Малороссии померкло. И потому нужно было предпринимать меры для предупреждения такого выдающегося несчастья. Кокошкин установил

[1] Загрустили, опечалились.

повсеместно цену, и тарань за штуку начали продавать не дороже семи копеек.

Так же энергично и быстро отнесся Кокошкин и к стачке продавцов муки и хлеба, вследствие бывшего в тот год недорода в Харьковской, Полтавской и Курской губерниях. Дороговизна муки и хлеба просуществовала только два дня, а затем были Кокошкиным восстановлены нормальные цены.

Но перейдем к частным случаям.

У генерала, ревнителя благонравия и благочиния, был лакей Мартын, а у генеральши была горничная Евфимия. Так как Мартын состоял при буфете, куда, по поручениям генеральши, нередко являлась горничная Евфимия, а Мартын был один из заядлых Herzfresser'ов,[1] то, в конце концов, частые столкновения этих двух противоположных полюсов дали искру, которая заставила говорить о себе весь генеральский двор. Дело в том, что милый Мартышечка обещал Химочке на ней жениться. Химочка отнеслась с полным доверием к его обещанию и, не дождавшись венца, полюбила молодца. А молодец клятвы свои забыл и Химочке изменил. Не выдержала Химочка такой жестокой лжи и пожаловалась на Мартышечку своей генеральше, которая поспешила все слышанное ею передать своему генералу. А генерал, недолго думая, Мартына высек розгами при полицейском управлении, а потом женил его на Химочке и оставил у себя служить буфетчиком. И Мартышечка с Химочкой зажили мирно, как голубки, воркуя о былом...

[1] По-немецки — сердцеедов.

Такой покровительный взгляд генерала на отношения одного пола к другому ободрил многих девиц и вдов среди обывателей города. Жалобы их на дон-жуанов из их среды начинали сердить генерала, отнимая у него не мало времени, и он, наконец, стал настороже. И вот молодая девушка Авдотья Пузанкова задумала принести жалобу генералу на одного молодого повара, двадцати трех лет, служившего в его кухне, Игнатия Сапуна, красивого и юркого ловеласа.

Генерал призвал его к себе на аудиенцию.

— Ну, без дальних околичностей, говори мне, что и как было? Но только помни, что ты говоришь мне, а потому — предупреждаю — не лги. Ты был коротко знаком с этой женщиной? — спросил его строго генерал.

— Виноват, ваше-ство! — ответил без запинок повар.

— Молодец, что не врешь! — ободряя подсудимого, сказал генерал. — А жениться на ней ты обещался?

— Обещался, ваше-ство! Так точно! — отвечал повар.

— А ты поверила его обещаниям? — обратясь к Пузанковой, спросил генерал.

— Да как же не поверить? Так ладно, значит, мы с ним жили, и не поверить? Конечно, поверила. А он, ваше-ство, обманул меня.

— Ну, так вот мое решение! — сказал генерал. — Тебя, чтоб ты впредь не верила на слово, а тебя, Сапун, чтобы ты вел свои дела с бабами так, чтобы они не лезли ко мне с жалобами, высечь при полиции, каждому по сорок розог.

Взять их сейчас в полицейское управление! — сказал генерал дежурному квартальному и сам удалился в свой кабинет.

Но как ни был Кокошкин краток и рационален в своих судебных решениях, а все же не обошлось без случая, который налагает тень на него, как на юриспрудента, представителя нелицеприятной и строгой Фемиды.[1]

Во время севастопольской кампании в г. Харьков присылали не мало офицеров из действующей армии, выпущенных из госпиталей и лазаретов и нуждавшихся в продолжительном отпуске для поправки своего здоровья после перенесенных ран и повреждений. Почти не было ни одной богатой семьи, ни одного богатого дома, где не жил на квартире, по назначению городского управления, офицер, присланный с театра войны на поправку. И к чести граждан города, несмотря на отпускаемую плату за квартиру и стол, никто не брал денег, и с открытым сердцем все принимали пострадавших воинов в свои дома, окружая их почетом и радушным приемом и сердечным уходом.

Весьма немного было среди таких жильцов людей пожилых, женатых и вдовцов. В большинстве случаев на долю харьковцев выпадали жильцы, составлявшие собой цвет юной молодежи, офицеры, полные надежд, здоровья и упований на все лучшее, радостное, живое.

Этот период времени, когда в Харькове проживали офицеры, был периодом обновления

[1] В греческой мифологии — богиня правосудия.

жизни. В воду, долго стоявшую при самом однообразном колебании, была влита новая, свежая струя, которая придала ей и цвет и вид, радовавший глаз. Среди военных было не мало гвардейцев, моряков и офицеров генерального штаба. Почти все они принадлежали к богатому дворянскому сословию и были с блестящим светским образованием.

Город Харьков не был беден любовью к музыке. Но с появлением этих новых гостей харьковские аршинники впервые познакомились и полюбили Бетховена, Моцарта и Гайдна. Чем-то радостным и небывалым заявили себя трио и квартеты на струнных и духовых инструментах. И, наконец, пение, которое совсем до этого времени не было в моде, вдруг огласило залы и гостиные богатых домов романсами Алябьева, Дюбюка, Глинки, Даргомыжского, Варламова и других композиторов того времени. И Харьков, имевший до этих дней не мало хороших пианистов, пробавляющихся пьесами Бейри, фантазиями на русские песни: «Соловей», «Что ты, ветка бедная», «Вот мчится тройка удалая» и проч. и проч., начал ласкать слух любителей музыки чудными аккордами Бетховена и мелодиею полного дум Шуберта и Шопена. Несмотря на недостаток преподавателей пения, не замедлили появиться на домашней сцене дружного семейного кружка прекрасные певицы, с голосами даже завидными и жадно ожидавшими хорошего ментора для своей разработки. Среди военных, украшенных георгиевскими крестами, были завидные певцы, с голосами — преимущественно баритонами и иногда тенорами. Образовались

частные кружки для совместного пения, и даже немцы, проживавшие в городе, образовали общество, названное «Liedertafel».[1] Два раза в неделю члены этого общества, среди которых были и военные, собирались в особо нанятую для этого квартиру, в доме Ковалева, и пели хором преимущественно Lieder ohne Worte[2] Мендельсона-Бартольди и Шуберта. Жизнь семейная как-то оживлялась и каждый день давала новые впечатления. Оживились вечера и танцами и чтением литературных произведений, среди всей семьи, за круглым столом вечернего чая, под симпатичный шумок волшебника-самовара, в котором кипела вода к чаю, а вместе с нею кипели и сливались воедино мечты и чувства всех сидящих вокруг стола и горячо беседовавших о музыке и о ее обаятельном влиянии на душу. Сколько любви в те дни было вызвано к жизни, разбужено от сна, освобождено от летаргии. Сколько молодых, свежих и трепетных сердец было завоевано молодыми Марсами не на поле битвы, а на поле мира, дружбы и взаимного доверия. Сколько свадеб, а рядом с ними и грустных романов совершилось в те дни, богатые радостными встречами и слезами разлуки?

Жил-был в Харькове богатый купец Верстовский, а у него была красавица дочка Любаша. Купец Верстовский когда-то торговал винами, а после закрыл торговлю и начал заниматься, как

[1] Певческое хоровое общество.
[2] Песни без слов.

он выражался, дисконтом, а на самом деле — ростовщичеством. И странно: купец Верстовский хотя и был прост, а уж объехать своим дисконтом кредитора так умел ловко и чисто, что кредитор нередко в ноги кланялся дисконтеру и благодарил его за оказанное благодеяние.

— Да что вы, что вы? — как бы пораженный приливом благодарности кредитора, говорил Верстовский. — Я никаких вам благодеяний не сделал. А я только по-божески рассчитался с вами. Потому, поверьте мне, всем нам помирать надо, истинно вам говорю. А там, на том свете? Подумать, друг мой, страшно!!! Вот оно что, мой милый. Все надо по-божески делать!..

И кредитор, умиленный мудрою речью, а особенно открытою Верстовским истиною, что всем нам помирать надо, шел с восторгом домой и уж только там, дома, оглядывался на себя и видел, что он пошел к Верстовскому в рубахе, а пришел домой без рубахи. И думал, думал кредитор, где и как могла исчезнуть его рубаха, да так и не додумывался.

Хороша и пригожа была Любаша, что твоя краля бубновая, была она нарядная да приглядная. А в доме ее отца стоял на квартире поручик Ганевский, сын помещика Орловской губернии, имевшего более трех тысяч душ крестьян. Федор Михайлович Ганевский, двадцати трех лет, офицер, получил рану в грудь. Но пуля прошла под третье ребро, поранив нижнюю конечность левого легкого, и затем, пройдя под кожей, остановилась под левой лопаткой. Выпущенный из лазарета, поручик Ганевский

получил на три месяца отпуск и был откомандирован в г. Харьков на поправку. Судьба дала ему квартиру у купца Верстовского. Тяжела, скучна и нерадостна была жизнь поручика в доме Верстовского, который ложился спать в десять часов вечера, соблюдал со всею строгостью посты по средам и пятницам и не любил принимать у себя гостей. А когда он был именинником, то сзывал к себе во двор и кормил нищих или отправлял в острог арестантам пироги. Рояль хорошей конструкции стоял закрытым, ноты лежали в пыли.

Затосковал Ганевский, квартируя в доме Верстовского, и даже порывался заявить начальству, чтобы его перевели куда-либо в другой дом. Но Любаша, с которой виделся каждый день поручик Ганевский за обедом и за вечерним чаем, нравилась ему, и потому он откладывал со дня на день свое желание перейти на другую квартиру.

Между тем, и Любаша, истомившись вконец монастырским режимом жизни и видя, как ее подруги в других домах проводят время среди молодежи, в свою очередь затосковала о своем положении и начала чаще проситься в гости то к тем, то к другим знакомым. Родители не препятствовали Любаше веселиться и следили только строго за тем, чтобы Ганевский не бывал в тех домах, где бывала Любаша. Но кто же и когда перехитрил любовь?

В то время как папаша читал Четьи-Минеи,[1] Любаша вместо того, чтобы прямо итти в дом знакомых, отпускала горничную и шла под руку

[1] Жития святых.

с Федюшей, не переставая смотреть ему в глаза, слушала и слушала его сладкую и радостную песнь любви. Так шли дни за днями. Мальчишка-амур делал свое дело, избравши Любашу и Федюшу мишенью своей охоты, и, наконец, в один из вечеров прекрасный Марс увез Любашу в одну из деревень, за сорок верст от Харькова, с целью перевенчаться в деревенском храме, где заранее все было подготовлено. Но на этот раз горничная изменила своей барышне, потому что в ней встретила самую опасную свою соперницу, которую тем или иным способом пожелала удалить. Горничная, возвратясь домой, поспешно все рассказала отцу и матери Любаши.

Верстовский, который доставлял в буфет генерала разные вина, зная, как губернатор радеет о благонравии, недолго думая поехал к нему и просил защиты.

Кокошкин немедленно послал двух квартальных и двух полицейских в догоню, приказав не допускать венчания.

Как ни спешили, однако, строгие блюстители благонравия, как ни быстро ехали квартальные Дудышкин и Шумейко, а все же они нагнали молодых уже в деревне и застали их стоявшими под венцом. Уже были надеты венцы и молодые обведены вокруг аналоя три раза, уже они обменивались кольцами, как вдруг Дудышкин и Шумейко явились в храм и начали требовать, чтобы венчание было приостановлено.

— Теперь, если вы этого желаете, можно венчание и приостановить! — ответил смиренно

*

священник. — Но брак совершен, вошел в полную свою силу и по законам церкви святой не может быть расторгнут! — ответил священник квартальным надзирателям.

Квартальный Шумейко, не останавливаясь, продолжал заявлять свои требования, но два молодых воина, товарищи Ганевского, нисколько не церемонясь, вывели обоих представителей власти и порядка из церкви и, затворив за ними двери, стали у ее раствора настороже.

Через несколько минут перевенчанные молодые, веселые и полные надежд на счастье и любовь, вышли из храма, сели на свою тройку и уехали обратно в Харьков, в гостиницу «Харьков», помещавшуюся на Николаевской площади, на месте, где в настоящее время находится городской дом.

В гостинице их ожидали три роскошно убранные номера, с женской прислугой и с товарищами молодого мужа, которые встретили его с бокалами шампанского.

В той же гостинице был ужин, и только недоставало музыки и танцев, чтобы свадьба была исполнена по всем правилам общепринятого этикета.

Как бы то ни было, а свадьба была отпразднована на славу. Но слышно было среди людской молвы, что будто бы Федор Михайлович Ганевский очень сердился на погоню за ним, даже писал об этом в Петербург. Не утверждая правдивости этих слухов, спешу только сказать, что вследствие ли случайного совпадения, или по каким-либо другим причинам, но

только консерватор благочиния и благонравия с тех пор отказался совсем от вмешательства в любовные дела и закрыл навсегда свою камеру суда.

Но, описав этот комичный случай, закончившийся свадьбой, я не могу обойти молчанием другой роман, который интересен уже и потому, что он представляет собой характерную черту того времени.

Генерал-губернатор всегда интересовался колодцами, которыми вообще богата Малороссия, да и Харьков никогда беден не был ими. Едва начинал огораживать себя с улицы и от соседей новый жилец, купивший место, как уже намечалось местечко для колодца, хотя бы у соседа уже и был колодец и не запрещалось никому пользоваться из него водою. Эта страсть к колодцам частью объясняется и тем, что малороссиянин вообще очень домовит и любит окружать себя на недалеком расстоянии всеми благами обыденной жизни. Другая причина, не менее важная, хранится в том, что в Малороссии, особенно в степных местах, вообще чувствуется недостаток воды. Колодцы же в большинстве случаев имеют в себе или солонцеватую воду, или же с осадком известково-глинистого ила, придающего воде особенный вкус. На всем пространстве, какое занимает раскинувшийся на все четыре стороны Харьков, он искони имел только одну Карповскую криницу, которая бесспорно заключала в себе обильный ключ чистой и вкусной воды. Затем, так называемая Белгородская криница и многие другие колодцы всегда

были необильны водами и не отличались вкусною водою.

Весьма понятно, что заботливый генерал Кокошкин, если видел, что у кого-либо во дворе копают колодец, непременно останавливал на нем свое пытливое внимание и интересовался тем, какая вода окажется в колодце. Если же ему представлялся случай при казенной постройке выкопать колодец, то для достижения этого желания его никто и ничто не могло остановить. Так, строивши на самом возвышенном месте города здание ветеринарного института, он выкопал во дворе его колодец в сорок восемь с половиною саженей глубины и достиг действительно хорошей воды. Но вода на такой большой глубине часто задыхалась и становилась противною для питья, что и побудило упразднить навсегда этот колодец. А между тем при рытье этого колодца не обошлось без человеческой жертвы. Один из грабарей на рассвете спустился на дно шахты продолжать работу и задохся от собравшихся за ночь удушливых газов.

В последней моей беседе я затронул лучшее время жизни г. Харькова. Я беседовал с читателем о тех месяцах, когда в Харькове из действующей армии присылали раненых на поправку, размещая их по домам богатых обывателей.

Но все мною сказанное было так кратко, так неполно, что я не могу не остановить внимания читателя на некоторых подробностях и особенностях этих месяцев, богатых новыми впечатлениями, вновь испытанными чувствами.

Опять мечты, опять воспоминанья
О жизни прожитой,
Как хартия забытого преданья,
Она — передо мной.
И годы юности, счастливые, былые,
Переживаю вновь,
И призраки душе моей родные
Волнуют кровь...

В кругу этих семей, кто желал, всегда мог запастись свежими силами для борьбы с жизнью...

Против «Астраханской» гостиницы дом в описываемые годы принадлежал весьма богатому купцу Телкову, который торговал золотыми и парчевыми товарами, а также и шерстью, покупая ее большими партиями и отправляя в Москву.

Торговля Телкова шла всегда бойко, и он наживал хорошие деньги. Но кроме указанных мною товаров, которыми торговал Дмитрий Петрович, был у него еще один ресурс, дававший ему весьма завидную прибыль.

В то время в Одессе существовало портофранко, и потому хотя евреи не имели права жить в г. Харькове, но все же по христианской доброте квартальных — Дудышкина, Стуколкина и братии — они пробирались в Харьков и потихоньку проживали в городе по два и по три дня. Специальные занятия этих временных жильцов Харькова состояли в том, что они привозили тайком из Одессы товар, не оплаченный пошлиной, и сбывали знакомым торговцам — любителям быстрой и легкой наживы, преимущественно оптом. Нет сомнения, что этого товара было привозимо ими в достаточном количестве.

Привозили эти евреи шелковые материи, настоящее голландское полотно, дорогие часы, различные бронзовые вещи, как предметы изысканной роскоши, кружева, настоящий лионский бархат, тюль, рюш, блонды, батист, настоящие французские перчатки, английские духи и вообще произведения того чудодейственного алхимика из Парижа, который когда-то хлопотал превратить все в золото, а в девятнадцатом столетии сузил программу своей задачи и специально занялся превращением безобразных женщин в неземных существ, хотя и с очень земными помыслами...

Этих евреев знали весьма немногие, и потому они дорожили своими покупателями и с полным доверием относились к ним. В числе таких покупателей одним из самых важных был Телков. Евреи-контрабандисты вообще избегали этого важного покупателя, но кто хотя раз побывал у него и доверился ему, тому оставить Телкова, миновать его, не продать ему своего товара было невозможно. И потому хотя и не желали, но шли к нему и продавали ему свой товар скрепя сердце.

Дело в том, что Телков, как очень богатый купец, жил открыто и был в хороших отношениях со всеми сановниками города. А потому ему ничего не стоило еврея-контрабандиста, обошедшего его в продаже привезенного им товара, передать в руки начальства и тем наказать неразумного ослушника. А так как эти случаи уже были, то его и боялись чем-либо обидеть. Но как ни были осторожны евреи, а все же не мало их попадалось в руки Телкова. Обыкновенно

еврей приносил к Телкову контрабанду и предлагал ее купить. Телков, не торгуясь, давал продавцу ту цену, которую просил он, но иногда не расплачивался и, в крайнем случае, уплачивал только половину стоимости всего товара, остальную же сумму он требовал оставить у него в кредит на близкий или дальний срок. И вот с этого часа начинал над головою еврея дрожать и колебаться Дамоклов меч. Когда еврей приезжал в назначенный срок и, конечно, с новым багажом контрабанды, Телков весь новый товар оставлял за собою и опять назначал на платеж за него условный срок. Но когда еврей обращался к нему с просьбой заплатить ему деньги по старому счету и опирался на им же назначенный срок, то Телков с удивлением выслушивал заявление еврея.

— Какие деньги? За что деньги? — пораженный требованием еврея, возражал почтенный купец.

— Ну, как за что? — в свою очередь с удивлением возражал еврей. — Я вам товар доставил, а вы сказали подождать вам деньги. Ну, я и ждал вам деньги. А теперь срок пришел, я и прошу отдать мне деньги.

— Да какой товар ты мне доставил? О чем ты говоришь? — продолжал не понимать Телков.

— Да известно какой. Такой же, как сегодня вы у меня купили, — спешил ответить еврей.

— А сегодня какой я у тебя купил товар?

— Известно какой товар. Я вас никогда не обманывал. Это настоящий заграничный товар — контрабанда! — отвечал еврей.

— А... а... а!!. Так ты контрабандой торгуешь? Так ты и тогда, значит, мне контрабанду продал? И я, честный купец, и я, именитый гражданин, был введен тобою в государственное преступление? Ах ты, негодяй жид! Я тотчас еду к губернатору и докладываю ему, что у меня в лавке под надзором находится еврей-контрабандист, а вот и товар, привезенный им, налицо...

Еврей падает перед честным купцом и именитым гражданином на колени и начинает умолять его о пощаде.

— Господин купец, ваше именитое-ство! —вопиял еврей. — Пощадите и не губите отца, кормильца семерых детей...

— Нет, для меня имя и честь дороже твоих детей! Ты знаешь, кто я такой? Ты знаешь, что у меня губернатор обедает и архиерей чай пьет? Ты знаешь, негодяй, что мне губернаторша ручку подает? Ты знаешь?.. Да ты знаешь, каналья этакий?..

И честный купец топал ногами и начинал теснить своею фигурой несчастного еврея.

Еврей ползал по полу потайной комнатки магазина и, валяясь у ног именитого гражданина, слезно умолял его о пощаде, обещая не требовать с него денег ни за привезенный товар, ни по кредиту прошедшего долга.

— Вставай, мерзавец, и моли своего бога, что он тебя отдал в руки христианина, — наконец милостиво произносил свое решение добрый человек. — Иди себе с богом и помни, что Телков вспыльчив, но от него ни один еще человек не пошел по миру. Уходи!..

И еврей, схватив шапку в охапку, спешил, не оглядываясь, уйти, убежать от честного купца и выгодного покупателя...

Купец Телков имел троих сыновей, которые воспитывались в коммерческой академии в Москве, и очень красивую дочь институтского воспитания, за которой он дал тридцать тысяч денег, нажитых им честным трудом. Дочь была замужем за доктором медицины Калининым. Все три сына блестяще окончили курс учения и были известны в городе как молодые люди прекрасного воспитания и при этом весьма талантливые музыканты. Старший сын, Дмитрий, служил в Петербурге по министерству внутренних дел и при этом был хорошим ксилографом, участвуя в различных журналах, а также в художественном листке, издававшемся художником Тиммом.[1] При этом он играл на виолончели. Другие два сына, Иван и Павел, жили в Харькове, причем Иван был хороший скрипач, а Павел играл на виолончели. И эта поэтическая и высокой культуры семья произошла от такого честного и именитого купца, каким считал себя Телков! Но выдающеюся женщиной по уму и сердцу была его жена, и, как мать, она передала своим детям все свои прекрасные качества. Купец Телков умер внезапно, оставив детей еще не окончившими курс наук, и только дочь его была замужем, как я сказал выше, за

[1] В. Ф. Тимм (1820 — 1895) — плодовитый художник, организатор «Русского художественного листка» (1851 — 1862), представлявшего собою художественную летопись эпохи.

доктором медицины Калининым. Вдова купца Телкова, желая поддержать состояние мужа, вскоре после смерти его вышла замуж за своего старшего приказчика Лимова и не ошиблась. Лимов — это был идеально честный и добрый человек и, как коммерсант, обладал знанием торгового дела. Торговые дела Лимова пошли успешно. Торговлю парчою он прекратил и начал торговать модным товаром и шерстью, отправляя большие транспорты ее в Москву и в Петербург на имя различных фабрикантов сукон и шерстяных материй. У Лимова были две дочери-красавицы: Ольга, окончившая курс в институте, и Капитолина, самая меньшая и тоже девушка выдающейся красоты. И вот в летние месяцы, во втором этаже углового дома, вечером, когда суета города и грохот экипажей умолкали, отворялись нередко окна их квартиры, и дуэты, трио и solo на рояле начинали наполнять воздух чудною гармониею звуков, привлекая к себе толпу слушателей, располагавшихся группами на площади и даже в переулке. К этому импровизированному концерту нередко присоединялись голоса певцов,— знакомых офицеров, защитников Севастополя. Но недолго суждено было Лимову вести счастливо торговлю. Как я уже сказал выше, Лимов отправлял шерсть фабрикантам. В Москве в это время был известный фабрикант суконных товаров — Александров, который ежегодно покупал у Лимова шерсти на тридцать и на сорок тысяч рублей. Но так как Лимов сам много кредитовался в Москве, между тем в то время было нелегко большие суммы денег перевозить почтовым

трактом на большие расстояния, то вследствие долгих и дружественных отношений с Александровым Лимов отсылал к нему шерсть в кредит, а приезжая в Москву сам за покупками, знал, что у Александрова лежат для него готовые тридцать-сорок тысяч рублей, без всяких обеспечений векселями и расписками. Теперь такое безусловное доверие — немыслимо, а в то время оно было далеко не редкость.

Однажды Лимов приехал в Москву с целью оправдать свой кредит и купить вновь товара для весеннего сезона. Но каково же было его удивление, когда его друг Александров на вопрос Лимова, когда он назначит ему притти для получения тридцати пяти тысяч рублей, которые должны у него храниться на случай его приезда, отвечал категорически, что у него никаких денег не хранится, что он ему ничего не должен.

Лимов в первые минуты такой ответ принял за неуместную шутку. Но еще несколько минут объяснений, и он понял, что Александров не шутил и что он обобран... Вышел Лимов от Александрова, едва сознавая, куда он идет и что делает. Впереди у него ничего не было, кроме всей его семьи, а также трех молодых людей умершего Телкова. Едва помня себя, Лимов, взойдя на середину Москворецкого моста и увидав крупною зыбью подернутую воду, с размаха бросился с моста в реку и скрылся под водою. Но через минуту-две Лимов вынырнул и показался над водою. Немедленно ему была подана с двух лодок помощь, и он был спасен от смерти, хотя, искупавшись в ноябрьской воде, перенес сильный тиф.

Как я уже сказал выше, старший сын Телкова, Дмитрий, служил в Петербурге, Иван же Телков сделался бесповоротным пьяницею, а Павел сошел с ума. Но Александров долго еще жил и, умирая, передал большой капитал своим детям.

Что касается прекрасной и талантливой Ольги, то она была обманута молодым и богатым студентом, вследствие чего отравилась и умерла в Москве в городской больнице, оплаканная обнищалыми отцом и матерью.

Были в Харькове богачи-купцы, которые в те годы были известны под именем «медвежьих пестунов».

В то время между народом ходила и упорно держалась легенда, будто бы в г. Нахичевани есть один жилой двор, в укромном уголке которого был потайной ход в довольно обширный погреб. Вход этот закрывается плотно деревянным помостом (лядой), на котором постоянно пребывал на цепи прикованный к столбу медведь внушительной величины. В этом погребе, хранимом медведем, была фабрика фальшивых кредитных билетов, или, как они назывались, «печерицы нахичеванских погребов». «Печерицы нахичеванских погребов» разносились по югу России агентами различных типов.

Агентом этого дела был и купец богач, потерявший всякое понятие о чести и долге, был и немец, пришедший из своей родины, в которой он был последним, а у нас, на Руси, мечтал быть первым, и еврей, среди самих евреев признанный за бесцеремонного плута; был тут и француз, где-то бросивший свою шарманку и очень желавший поступить в гувернеры-воспи-

гатели русского юношества, но вследствие неудовлетворенной привычки каждый день подкреплять себя пищей попавший в агенты медвежьей фабрики. Были тут и русачки, несчастные неудачники, и выросшие на улице дети, никогда не знавшие своих отца и матери. И вот такие-то агенты получали в кредит несколько пачек фальшивых ассигнаций и где пешими, а где присевшими на облучок ямщика передвигались из села в село, из города в город и развозили и разносили эти медвежьи дыры по весям земли русской. У некоторых из них были среди богачей, как дворян, так и купцов, такие приятели, у которых они всегда имели и приют, и стол, и даже приличный костюм с барского плеча.

Среди таких-то приобретателей медвежьих денег в Харькове тоже, как упорно гласила молва, было несколько купцов, тяготевших к быстрой и легкой наживе и не стеснявшихся для этой цели средствами. И вот один из таких купцов, Е., известный в то время торговец шерстью и особенно большим шерстомойным заведением, богател быстро и был, будто, заговорен ворожбою от обеднения. Бывали случаи, что вследствие неожиданного понижения цен на шерсть его сотоварищи по торговле в один день несли убытки в десять и двадцать тысяч рублей, беднели и даже разорялись, а Е. сидел на своей мойке или в своем саду, и пробки с шампанского, как ракеты, летели в воздух, вещая о ликовании счастливца, не знавшего убытков.

Был у этого Е. знакомый немец Иоганн Фрахт. Низенького роста, с глазами, пораженными трахомой, — немец, плохо говоривший по-

русски и любивший крепко выпить, как неудавшийся механик, приютился у медвежьей фабрики в Нахичевани, и скоро сделался весьма способным агентом по распространению фальшивых кредиток среди доверчивой толпы и ненасытных сребролюбцев. Характерная особенность этого Иоганна Фрахта состояла в том, что он пьяным был гениален в своей находчивости и умении сбыть фальшивые кредитки и сменять их на настоящие. И чем сильнее хмель овладевал его головою, тем труднее было его обойти. Когда же он был трезв, что, впрочем, случалось с ним редко, он был скорее глуп, чем умен, и неуместно хвастлив. И это второе свойство его погубило. Где-то как-то он проговорился и потому был арестован и взят под стражу. Этапом он был препровожден в харьковский тюремный замок и, как русский подданный, родом из Риги, должен был быть судим по русским законам.

Об этом неожиданном происшествии узнали те, которые имели с ним, как с медвежьим агентом, дело. Узнал и Е. Был сотворен общий совет и по всестороннем обсуждении пришли к такому умозаключению: для того, чтобы спасти себя, необходимо было постоянно спаивать немца, а так как этого невозможно было сделать в тюремном замке, то, во имя собственного сбережения, лучше не пожалеть денег, положить за него залог и взять его на поруки. Так порешили, так и сделали. Но так как Е. был богаче других, а следовательно и более, чем другие, обязан Иоганну Фрахту, то, недолго думая, он взял его на поруки к себе и поместил его на шерстомойном заведении, в маленьком домике, в

одну комнату, с сенями, где когда-то помещался сторож, а потом этот домик-сторожка стоял уже много лет пустым и, находясь без всякого ремонта и поддержки, медленно разрушался. В этом домике и поместился Иоганн Фрахт, которого, частью в благодарность за прошлое, а частью из опасения, что его могут призвать к допросу, постоянно спаивали водкой. Но недолго пришлось Иоганну Фрахту вольготно и на готовой выпивке пожить в избушке Е.

В июльскую ночь весьма жаркого лета, на праздник пророка Илии, загорелся домик, где безмятежно спал агент медвежьей фабрики, а через полчаса потолок хатенки провалился и придушил Фрахта. Все служащие, на далеких расстояниях друг от друга, спали на шерстомойне непробудным сном, и когда кто-то из них проснулся, то сторожки уже не было, а на месте ее стояла печь с трубою и дымился ворох обломков, покрытых золою, местами рдевшею огнем. По раскопке пепелища найден был труп Иоганна Фрахта, по положению которого можно было заключить, что пострадавший моментально был лишен жизни, вероятно, тяжестью упавшего на него потолка, так как кровать, на которой лежал Фрахт, была разбита в осколки и почти вся сгорела. Так как следствие по делу сбыта Фрахтом фальшивых кредитных билетов еще не было начато, то за смертью подсудимого дело было прекращено и сдано в архив. Что же касается приятелей его, то они благонравно продолжали вести свои торговые дела и были почтенными и примерными гражданами города Харькова.

СЕЛО КОЧЕТОК ТЕПЕРЬ И ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД

В старину живали деды
Веселей своих внучат,
Веселились, потешались,
Пировали круглый год!..

(Из «Аскольдовой могилы»)

I

Кочеток для меня — старина-старинушка. Я с ним знаком давно и знаю его в цветущую пору юности, а потому с почтением теперь я снимаю перед ним шапку... Но, боже, как он изменился! Прошел я по широким просекам его леса, побывал у источника, заглянул в разные уголки его — и мне невольно вспомнился романс прошлых дней:

Все те же, звезд полные, ночи,
И песни крестьянок — все те ж.
Но где же прелестные очи, —
Красавицы чудные где ж?..

Да, очень изменился Кочеток...

Когда-то шумный и игривый, когда-то чопорный, как великосветская барыня, веселый, как сама юность, и разукрашенный, как на выставке витрина, Кочеток сконцентрировал в себе лучшее общество того времени не только Харьковской губернии, но даже соседних с нею. В

настоящее время Кочеток представляет собою место отдохновения от трудов праведных. Ученые, педагоги и служащие разных учреждений имеют в Кочетке свои дачи, чистенькие, благоустроенные, без претензий на роскошь. И живут они на этих дачах каждое лето, пользуясь тишиною деревенской жизни, чистым нагорным воздухом, купаньем в чистых водах красавицы-реки Донца и наконец громадным количеством казенного леса, не тронутого лезвием ненасытного топора и дающего уставшему труженику и тень в часы зноя, и прохладу, и неумолкаемый говор разнородных птиц под таинственный шелест листвы его...

И физиономия Кочетка совсем не та, какою она была пятьдесят лет назад.

Как старец, он облысел, и величавую когда-то красоту свою сменил на простоту нетребовательного селянина. Где когда-то шумел столетний дубовый лес, там в наши дни несчастный сруб, заеденный скотом; где когда-то был богатый источник чистой воды, там теперь жалкая криница, в водах которой едва прячется ведерко с своею рукояткою. Широкая и ровная просека, когда-то носившая название «гвардейской аллеи», в настоящее время заросла травой. При въезде в Кочеток, на речке Петлежке, не умолкая, шумела мельница. Теперь ее уж нет.

Не слышен шум ее колес...

Как памятник былого, осталось здание, называемое и теперь еще «ротондой» и уже не раз перестроенное. Но что же вещает о прошлом эта «ротонда»? По субботам, под звуки духовой

военной музыки, в ней даются балы, на которые из лагерей съезжаются военные со своими семьями и танцуют, встречая нередко утреннюю зарю. Живущие на дачах Кочетка почти не принимают участия в этих весельях. Профессора и педагоги — эти любители тишины и полного отдыха от тяжелого умственного труда — далеки от всяких подобных увеселений.

Теперь Кочеток, в котором когда-то жизнь, вместе с его источником, била ключом, живет жизнью тихою, жизнью семьянина и человека мысли...

Пора надежд и трепетных волнений
Прошла давно. Ей не вернуться вновь...
Настали дни больной души стремлений —
Уйти от лжи и от ее оков...

Тряхнувши стариной, я постараюсь воскресить в своей памяти хотя общую картину жизни Кочетка за пятьдесят лет назад; думаю, что она будет небезынтересна для читателя.

II

Расскажи-ка, старичок,
Как живали в стары годы,
Как водили хороводы,
Как плясали под гудок?
Расскажи же, старичок?!.

В дни моей молодости мне пришлось выслушать интересный рассказ о местности, занимаемой ныне Кочетком, от одного столетнего старца, аборигена тех мест.

Давно, за сотню лет назад, говорил мне старик, местность, занимаемая ныне селом Кочетком вообще и так называемым «Новым Ко-

четком» в особенности, представляла собой возвышенный бугор, сплошь покрытый густым, едва проходимым лесом. Столетний черный дуб, черноклен, в три и более обхвата липа, лесная груша, кислица, ясень и развесистый берест были те деревья, которые, группируясь дружной чередой, составляли собою густую лесную чащу. В этой чаще водились не только волки и лисицы, но и медведи. Вблизи и теперь существующей ротонды, где ныне стоит крест, стоял тогда скит, остатки которого я видел пятьдесят лет назад. Оставшиеся от скита стены представляли собою одноэтажное, совершенно вросшее в землю, длинное здание, с окнами, едва выходившими из земли и имевшими железные решетки, охранявшие скитников от нашествия зверей и злых людей. Скит этот заканчивался небольшою и невысокою церковью, у входа в которую вместо колоколов висела чугунная доска («било»), по звону которой призывались люди к молитве. От скита, по густому лесу, шла узкая тропинка, ведущая вниз по склону бугра к большой ложбине, где под отвесной стеной глинистого обрыва был родник чистой студеной воды. У изголовья родника стоял крест с образом богоматери. Этот крест у родника помнили многие первопоселенцы старого Кочетка, и место это и образ, как святыня, всегда были чтимы народом.

Сурово смотрел в те дни на каждого случайного пришельца «непробудный» лес. Сердито шумел он своею листвою и, качая грустно вершинами деревьев, казалось, предупреждал зашедшего в него путника о беде и напасти. Если

не встреча с лютым зверем, то свист и говор отчаянных головорезов-разбойников не раз наводили ужас на паломника, пробиравшегося в скит помолиться... И только иноки, уйдя в дебрь от суетного мира, жили в ней, обрекши себя на всевозможные лишения. Время от времени непроходимая чаща леса оглашалась призывным звоном «била» на молитву, и дебрь пустынная несла этот таинственно-отрадный звук его, передавая весть от дерева к дереву, от бугра к бугру, пока звуки не скрывались, наконец, в отдаленной чаще леса. И, быть может, не раз ободренный этим радостным звуком паломник спешил в скит и обнажал свою голову, благоговейно осеняя себя крестным знамением...

Такою была местность, ныне занятая Кочетком.

III

В сороковых годах Кочеток, в числе других сел и деревень, был причислен к военным поселениям, и в нем постоянно жили солдаты, дети которых были кантонистами.

Вследствие гористой и густо поросшей лесом местности вблизи роскошной реки Донца с ее водными притоками: реками Бабкой, Петлегой и многими плесами, переселенцы-солдаты нередко страдали ревматизмами и перемежающимися лихорадками. Это дало мысль военному ведомству устроить в Кочетке лечебницу по методе Присница для офицеров и нижних воинских чинов. Этой мысли вполне отвечал вышеупомянутый источник, который был богат во-

дою. Ключ его, вырываясь из-под отвесной глинистой скалы, был так силен, что поселенцы, сделавши деревянный сруб не более аршина высотою, всегда имели воду в уровень со срубом, а посредине этого уровня воды виднелась «шапка воды», постоянно клокотавшая и поднимавшаяся до двух вершков вверх.

С разрешения Николая I был устроен санаторий и открыт лечебный курорт для нуждающихся в гидропатическом лечении.

В густом лесу было сделано несколько широких просек, образовавших проспекты, ведущие к источнику. Были выстроены лечебницы и здания с ваннами и душами, а из столетнего леса была выстроена целая улица дач, с балконами и верандами, и, наконец, была возведена ротонда, с хорами для двух оркестров и с обширною верандою, под навесом которой дамы и кавалеры вели беседы и раскладывали грандпасьянсы.

Главным заведующим врачом этого курорта был назначен доктор, лет пятидесяти, Слизневский.

Слух об открывшемся курорте, в то время единственном в Малороссии, быстро облетел не только Харьковскую губернию, но и соседние с нею. Этому много способствовала не пресса того времени, которая, к слову сказать, была до целомудрия молчалива, а офицеры, принадлежавшие к дворянскому сословию и бывшие сыновьями помещиков Харьковской и соседних с нею губерний. Штатские люди в то время были в тени и назывались «штафирками». Выдать замуж дочь свою за штатского, а не за военного — это был, во всяком случае, нежелатель-

ный компромисс. Военный человек того времени даже воспевался поэтами:

Но русский муж, притом военный,
Составит счастье для жены!..

Фамусов с гордостью говорил о московских барышнях, которые —

К военным людям так и льнут,
Все потому, что патриотки.

И только великий Пушкин подарил нас романом, в котором два героя, Онегин и Ленский, — оба штатские...

IV

Для того, чтобы представить читателю в полной силе картину цветущей жизни Кочетка, я нигде, кроме Троицкой ярмарки, не могу запастись необходимыми для нее красками. А потому да простит мне читатель, что я в этой главе задержу его в г. Харькове и остановлюсь на Троицкой ярмарке.

В описываемые мною годы Троицкая ярмарка была преимущественно шерстяной ярмаркой. Помещики как Харьковской, так и соседних с нею губерний огромными партиями привозили шерсть в г. Харьков и продавали ее преимущественно за наличные деньги приезжим московским и иностранным фабрикантам. Оборот шел на миллионы рублей, и каждый помещик к концу ярмарки становился богачом. Город в эти дни принимал праздничный вид и представлял собою пеструю картину причудливого маскарада. По всем улицам можно было видеть

различного фасона экипажи, везомые тройкой, четвериком и даже шестериком лошадей цугом, с одним или двумя лакеями на запятках.

Дамы, разодетые, в робронах, кружевах и палантинах, а с ними красавицы-дочери в белоснежных костюмах, в тюлевых и кисейных кофточках, с длинными шелковыми шалями на плечах, плавною поступью ходили по улицам, заходя то в один, то в другой магазин для разных покупок. Их обыкновенно сопровождали ливрейные лакеи, по два и по три человека, соответственно по чину и состоянию дам. А это, в свою очередь, усиливало краски маскарада и делало улицы еще более пестрыми. Лучшие модные магазины: м-м Саде, Урюпина, Золотарева и другие торговали в эти дни «во-всю».

Если же Троицкая ярмарка совпадала с выпуском из института благородных воспитанниц, окончивших курс, что происходило через два года в третий, то в те годы Троицкая ярмарка, а вместе с нею и г. Харьков становились еще многолюдней. Пестрота костюмов и лиц, разнообразие фасонов экипажей и увеличенное количество женской прислуги усиливало краски праздничной картины города, который, казалось, в те дни ликовал победу над нищетой и бедностью. В эти дни ярмарки можно было видеть на улицах города дам в костюмах времен Павла Петровича, с ридикюлями в руках и в соломенных шляпах, в полях которых, как в ямщицкой будке, прятались их лица. Рядом с ними нередко шли их дочери, одетые по последней того времени, полной изящества, французской моде и античной красоты. . ,

Рядом с костюмами дам город в те дни пестрел еще более свежестью и оригинальностью экипажей. Старинный рыдван или венской работы «кочь-карета», тяжело раскачиваясь на рессорах, ехала рядом с легкою четырехместною коляскою, или же катило четвериком красивое ландо. И даже чичиковская бричка, без которой ни одна Троицкая ярмарка не могла состояться в те дни, заменялась тарантасом с верхом.

И всему этому параду, всей этой праздничной картине были главным украшением окончившие курс институтки. Впрочем, в те годы было, кажется, больше красавиц, чем в наши дни. То были ль молодости годы, когда все кажется лучшим, или же, действительно, в настоящее время правильные черты лица с поэтическим выражением глаз и с нежными контурами линий стали редки, — не знаю.

В те годы можно было встретить молодую даму ли девицу, о которых правдиво выразился поэт:

Как тополь киевских высот,
Она стройна. Ее движенья
То лани быстрые стремленья,
То лебедя пустынных вод
Напоминали плавный ход.

Но довольно о красавицах давно прошедших годов! Они достаточно воспеты поэтами того времени...

Продолжаю описание Троицкой ярмарки.

У магазинов колониальных товаров: Рудакова, Белина, Медведкина и доугих и у лавок железных товаров — Рыжова, Пономарева, Кочетова в дни этой ярмарки можно было наблюдать

другую картину, столь же полную жизни и деятельности.

Целые десятки фур и подвод, запряженных волами и лошадьми, стояли по несколько дней, запружая собою улицы и ожидая своей очереди.

Помещики, по продаже шерсти, скупали на целые полгода, т. е. до Крещенской ярмарки, товары, необходимые для дома и экономии. Железо разных сортов, скобяной товар, краски для крыш и заборов, чай, сахар, кофе и прочий товар для домашнего обихода — все это покупалось массами, нагружалось на собственные подводы и отправлялось в деревни. Нескончаемой вереницею тянулись по «великому шляху» фуры и подводы, поднимая пыль до облаков и запруживая собою проезд по широким столбовым дорогам.

Но мы еще не все увидали, что было в эти дни шумной и богатой на деньги Троицкой ярмарки.

В Дворянском клубе по целым дням и ночам шла игра в карты. Если не всегда, то все же шла там и большая игра:

...Часто
Гнули, бог их прости,
От пятидесяти —
На сто...

И нередко несчастливый на карты помещик проигрывал большие деньги на убитой двойке или пиковой даме...

V

По окончании ярмарки, скупивши что надо и запасшись роскошными костюмами модного туалета, богатые помещики из Харькова переезжали

на курорт — в село Кочеток. Везли с собою целый штат прислуги, состоящей из кучеров, конюхов при верховых лошадях, поваров, швей, парикмахеров и казачков, носивших вслед за барином кисет с табаком и трубку с длинным чубуком, в чехле, вышитом бисером, полученные, как дар, в день ангела от прелестной жены или красавицы-дочери... Затем ехали гувернантки, бонны, гувернеры и, наконец, учителя музыки и пения.

Любезный и услужливый доктор Слизневский с распростертыми объятиями принимал гостей, назначал им курс лечения и даже, соображаясь с богатством пациента, сам избирал ему дачу и устраивал на ней новоприезжих. Богатые помещики привозили с собою оркестры музыки, составленные из крепостных людей. Особенно замечательные оркестры были: струнный оркестр Стремоухова, состоявший из сорока человек, и бальный оркестр Фидлера, более чем из пятидесяти музыкантов.

Веселая, беззаботная, всем довольная и окруженная престижем компания помещиков веселилась среди равных себе, как в одной родной семье, встречая и провожая день звуками роскошного оркестра и под веселый говор «золотой» молодежи.

Каждый день, перед закатом солнца, на площадку, против ротонды, от которой начиналась широкая аллея, ведущая в Старый Кочеток и называющаяся поныне «Гвардейскою аллеею», по предварительному сговору, приводились верховые лошади, оседланные в дамские и мужские седла и прикрытые вышитыми чепраками. Молодые офицеры, в кителях безукоризненной бе-

лизны и в роскошных венгерках гусарских полков, с серебряными шпорами на каблуках, вели своих дам, в роскошных амазонках, и, усадив их на коней, распределялись попарно и отправлялись в прогулку по направлению к лагерям или же к Чугуеву. Отцы и мамаши в то время восседали на веранде ротонды и играли в бостон, в преферанс и в трик-трак. Бабушки и некоторые почтенные дамы сидели, обыкновенно, за особыми круглыми столиками и раскладывали грандпасьянс в две колоды. При этом крепостные девушки или же казачки, в красных и синих казакинах, стояли позади своих госпож и медленно обмахивали мух опахалом из павлиньих перьев или же, по приказу, подавали госпоже табакерку, флакон со спиртом от мигрени или же коробочку с кисленькими «бомбошками»...

Седовласые усачи, когда-то храбрые воины, отличавшиеся в венгерскую кампанию или на Кавказе, играли в бостон и гнули углы в новой колоде карт, срывая банк, заложенный каким-нибудь молодым усачом-ремонтером.

Между гостями этими постоянно вертелся доктор Слизневский, который, как ревностный врач своих пациентов, смешил их анекдотами или остроумно отвечал на перекрестные вопросы дам.

— Доктор! Почему это я чувствую, будто что-то бьется у меня в левом боку, как пульс?— спрашивала у него очень молодая, но подурневшая дама.

— Милый доктор! Скажите, это у меня не воспаление брюшины, что я постоянно пью лимонад?— спешила спросить у врача престарелая генеральша.

— Красавица вы моя! — любезно преклоняясь перед генеральшей, спешил ответить доктор.— Разве может коснуться благородного вашего тела такая неблагородная болезнь?! Это совсем было бы не по рангу!

— Ну, что хотите, доктор, а я думаю, что ваша гидропатия — просто чепуха! — вдруг обратился с протестом к доктору усач-драгун в отставке.

— Quelle bêtise![1] — возразили усачу несколько дам. — Можно ли так выражаться против науки, всеми признанной?!

На все подобные вопросы почтенный доктор всегда находил что ответить. Как любитель карт, он не пропускал случая «загнуть угол» или поставить «транспорт с кушем», причем всегда на счастье просил руку у какой-либо пациентки.

Доктор Слизневский был человеком весьма подвижным и веселого характера. Прием больных обыкновенно он делал в особой, специально приспособленной для этого, зале при гидропатической лечебнице. Но иногда он принимал больных и в ротонде, если больной заставал его там и просил дать ему совет. Обращаясь со всеми больными предупредительно и ласково, он имел привычку называть всякого больного или больную «красавцами» и «красавицами». Такое обращение почтенного врача нравилось многим больным, особенно же барыням. Тем не менее, эта привычка однажды повела к неприятному инциденту, о котором долгое время говорили в Кочетке.

[1] По-французски — какая глупость.

VI

На обширной веранде ротонды восседало общество больных и живущих при них семейств. Общество состояло из дам и девиц, которых окружали кавалеры, а также и из пожилых мужчин, военных в отставке. Молодежь рисовалась перед девицами, побрякивая серебряными шпорами. Веселый разговор, пересыпаемый шутками и смехом, беспрестанно менялся в темах и мотивах. Все обстояло благополучно и шло как нельзя лучше.

В эти приятные для всего общества минуты к доктору подошел его фельдшер и сказал, что некий вновь приехавший больной желает его видеть. Слизневский приказал пригласить больного на веранду.

Через несколько минут толстый мужчина, с животом весьма внушительных размеров, лет пятидесяти пяти, с лицом, на котором было несколько жировых шишек, показался на веранде. Он был в форме отставного драгуна и имел крест Георгия в петлице.

Едва он успел взойти на веранду, как доктор, по обыкновению, бросился встретить и заключить его в свои объятия.

— Ах ты мой красавец?! — громко крикнул Слизневский.

Среди молодежи послышался сдержанный смех.

— Как вы смеете, милостливый государь, смеяться над моим несчастьем?! — вскричал взбешенный георгиевский кавалер и оттолкнул от себя любезного гидропата.

— Да что вы, голубчик мой?! — начал было в свое оправдание озадаченный доктор.

— Ни слова больше! — грозно крикнул толстяк. — Я вас больше не слушаю. Сегодня же вечером я требую от вас удовлетворения на пистолетах.

Все общество было поражено таким неожиданным апломбом и в первую минуту как будто замерло. Георгиевский кавалер, как видно, не любил шуток и был стоек в своих словах.

Старики, бывшие на веранде и игравшие в карты, оставили свою игру и подошли к обиженному кавалеру. К ним присоединились и несколько человек из молодежи. Доктор, бледный и испуганный, не переставал извиняться перед строгим дуэлистом. Все начали успокаивать обиженного и доказывали ему, что со стороны доктора не было никакой насмешки, так как у него в обычае всех называть «красавцами». К этим заступникам любимого доктора присоединились и некоторые дамы. Но, кажется, более всех произвела на обиженного благотворное влияние и спасла доктора от дуэли молодая княжна Ахматова, очень богатая помещица одной из юго-восточных губерний. Она была, как гласила история, «жертва несчастной любви». Ее жених — князь Тамаринов, поручик гвардии — почти накануне свадьбы был убит на Кавказе вероломным денщиком. Несчастная княжна-невеста поклялась над прахом жениха быть верной ему до конца своей жизни — и не вышла замуж...

В наше время, быть может, многим такая самоотверженная любовь покажется чем-то ненормальным. Но то было время поэзии... Романтизм,

мелодрама и рыцарская самоотверженность в то время составляли существенную сторону жизни великосветского общества. Рознь взглядов на жизнь теперешнего времени со взглядами тех годов слишком велика. Поэты того времени плакали о самих себе, поэты наших дней — плачут о своих ближних; те радовались своему счастью, а эти радуются счастию своего ближнего. В те годы поклонялись красоте линий, в наше же время перестали понимать красоту линий, так как силою науки материя, так сказать, обесформлена и поэтому обезличена. Поэтами того времени воспевалась личная любовь в самых разнообразных формах ее и комбинациях, нашего времени поэты воспевают справедливость и альтруизм как высшую форму любви.

В виду этого удивляться ли, что влюбленный романтик прежних дней ничего не желал признавать достойным своего внимания, кроме избранного им «идеала любви». Он не достиг обладания своим идеалом и считал себя в праве скорее стремиться к самоуничтожению, чем подумать, что, быть может, жизнь его нужна для многих из его ближних...

Но возвратимся к прелестной княжне, принявшей живое участие в судьбе озадаченного доктора.

— Ах, многоуважаемый герой!— обратилась княжна к обиженному георгиевскому кавалеру на чистом французском диалекте.— Простите нашему любимому доктору. Он всех называет «красавицами» — и даже я у него красавица!!

Княжна любезно протянула свою руку обиженному герою и, улыбаясь, смотрела на него умоляющим взглядом.

Княжна была хороша, как Психея Кановы![1] Георгиевский кавалер не выдержал ее умоляющего взгляда и «сдался на капитуляцию». Заключивши с княжною мирный договор, он почтительным поцелуем ее руки приложил свою печать...

Покончивши с инцидентом, престарелый Марс в тот же день уехал из Кочетка на другой курорт, заставивши этим доктора сожалеть об упущенном им пациенте.

Не праздно за картами и за грандпасьянсом проводили время старые усачи, мамаши и бабушки. Они играли, а думы их, между тем, были заняты судьбою своих детей. Они гадали, кто на ком женится и какой кавалер был бы годен в мужья их дочерям или внучкам...

Хотя на первый раз такой вопрос и кажется трудным для решения, но это потому, что мы забыли о княжне Тугоуховской, которая давно уже решила и подписала, с приложением своей печати, такой «закон»:

> У кого есть сотни две-три родовых,
> Тот и жених.

На основании этой статьи мудрого «закона» тогда и решались такие вопросы. Поэтому, может, кочетковские курорты ежегодно заканчивались несколькими свадьбами, совершавшимися в осеннее и зимнее время, под кровлею родовой усадьбы невесты.

Не праздно проводили время и счастливые наездницы в сопровождении своих милых и га-

[1] Антонио Канова — итальянский скульптор (1757—1822 гг.).

лантных кавалеров. Галопируя и удаляясь все дальше и дальше от тех, среди которых им приходилось не раз скрывать свои чувства и отказываться наружно от заветных желаний, они под сенью густой листвы леса или в открытом поле, под голубым сводом неба, давали простор своему чувству...

И сердце билося полней,
Уста слова любви шептали,
Дышала грудь ее вольней...
Они о счастии мечтали!..

VII

Но как ни мудры были отцы, а особенно бабушки того времени, и как ни благонравны были их дети и внуки, а все же и в то время не обходилось без того, чтобы любимчик-внук бабушки не нарушил чистоту своих помыслов.

Однажды на курорт гидропатического лечения приехал один миллионер, московский фабрикант Маслюков, со всею своей семьею и с дочерью-институткою, семнадцати лет, Еленой Петровной, выдающейся красавицей.

На первых порах, несмотря на его богатство, все сторонились купца и не желали вести с ним знакомство. Маслюков, сам по себе, был человек с запасом гордости и хорошо знал себе цену. Он держал себя особняком, поодаль от всех и не набивался никому в знакомые. Такое натянутое отношение дворян к купцу, быть может, продолжалось бы очень долго; но однажды приехал начальник военных поселений, генерал Никитин, и с таким уважением отнесся к Маслюкову при встрече с ним на курорте, что поднял его престиж

в лице всех бывших в то время в Кочетке дворян. Этого довольно было для того, чтобы дворянство отнеслось к фабриканту более благосклонно. Но купец остался неизменен в своем обращении с окружающими. Он был со всеми вежлив, но ни у кого не заискивал и продолжал держать свой дом с замкнутыми дверями, хотя его семья постоянно бывала на балах в ротонде, где его дочь каждый раз, по красоте своей, была «царицею бала».

В тот же год на курорте в Кочетке проживал весьма богатый помещик и знаменитый овцевод, полковник в отставке, Синещеков. Сын его служил подпоручиком в лейб-гвардии кавалергардском полку и в этот год приехал к отцу в отпуск.

Красивый и остроумный юноша, в роскошной гвардейской форме и с манерами великосветских джентльменов, Владимир Синещеков среди целого букета красавиц-девиц был яблоком раздора. Каждая из маменек строила втайне планы, чтобы приобрести этого завидного Марса себе в зятья. И были такие бабушки, которые, увлеченные своим престижем, открыто говорили, что ее внучка, кроме своего приданного, может вполне рассчитывать на хороший подарок и от своей бабушки... Но блестящий Марс неожиданно для всех отдал предпочтение купеческой дочери Маслюковой (Quel affront [1]), тогда как до приезда Маслюковой многие из девиц завидовали дочери донского генерала в отставке Чебан-Голохвастова. Его дочь, смуглая казачка Полина Дмитриевна, пленила кавалергарда огнем

[1] Какой удар!

своих черных глаз, сверкавших жгучими искорками... Генерал Чебан-Голохвастов был насколько богатый помещик, настолько же и гордый магнат, имевший за собою боевые заслуги и знатность рода, ведущего свое начало от бывших гетманов. Он не прочь был отдать свою дочь за белоснежного кавалергарда и потому не мог не обратить внимания на то, что на последних вечерах Синещеков танцовал с его дочерью всегда одну кадриль и один вальс, а все остальные танцы и мазурку отдал Маслюковой, которая не отказала ему ни на одно его приглашение. Особенно же ревниво следила за всем супруга генерала, полагавшая прочные надежды на возможность осенью сыграть свадьбу, приобретя таким путем себе зятя, дочери — мужа. Афронт, произведенный Синещековым, не менее оскорбил и родителей его. Допустить в семье своей такой mésalliance [2] по традициям того времени было невозможно. Маслюков был миллионером и потомственным почетным гражданином, но все же он был купец, с которым «нельзя» было вступать в родство дворянину.

Синещеков же считал себя родозитым дворянином и принадлежал к старинной фамилии, родоначальника которой знал лично Петр I.

Все эти толки, взгляды и пересуды не могли остаться неизвестными Маслюкову, и гордый старик стал настороже. Что касается Синещекова, то фабрикант никогда не рассчитывал иметь его своим зятем, так как, в свою очередь, предпочитал отдать свою дочь за своего брата-купца, вместо того чтобы входить в родство с дворян-

[2] Неравный брак.

скою семьей, рискуя дочь свою поставить в натянутые отношения с роднею своего мужа.

Что нужно предпринять, чтобы разъединить эту влюбленную чету и тем спасти молодого Синещекова от невозможного mésalliance'а — этот вопрос был на устах почти у всех. По серьезному обсуждению этого вопроса, пришли к заключению просить Слизневского, чтобы он посоветовал своему пациенту-купцу оставить курорт, как более уже ненужный для него и даже вредный.

Как общий угодник, доктор принял на себя уладить это дело — удалить из курорта Маслюкова и тем прервать всякие сношения молодых влюбленных.

Но тут «нашла коса на камень». Насколько был горд Чебан-Голохвастов, настолько, в свою очередь, был горд и Маслюков. На предложение, сделанное молодым Синещековым, быть у него с визитом Маслюков послал молодому Марсу категорический отказ и запер двери своего дома для гостей и посетителей. И только по субботам и воскресеньям дочь его, вместе с матерью, выходила из дома, чтобы быть у всенощной и на обедне. Но, несмотря на принятые строгости со стороны обоих лагерей, молодые обменивались записочками, посылая друг другу слова любви...

Что же касается доктора, то не успел он притти в дом Маслюкова, как старик предупредил его объяснения.

— А вот и хорошо, что вы пришли, доктор! — сказал Маслюков.— Я хочу вам сказать, что чувствую себя прездорово и потому лечение прекращаю.

— И прекрасно!— поспешил ответить доктор. — Я хотел вам сказать, что дальнейшее ваше пребывание здесь, в лесной трущобе, может теперь быть для вас даже вредным. Вам теперь нужно открытое, степное место, чтобы иметь возможность больше подвергать свое тело влиянию солнечного тепла и света.

— Об этом, государь мой, уже позвольте мне самому подумать. Я уеду из Кочетка тогда, когда мне пожелается, а не тогда, когда желают другие-с. И потому провожать меня отсюда — прошу не брать на себя труда.

— Но, видите ли, тут, кроме вашего здоровья, есть еще причина, которая, для вашей же пользы, побуждает меня дать вам совет скорее отсюда уехать, — продлил свою речь доктор.

— Никаких-с причин к выезду моему я не признаю-с, — ответил сухо Маслюков. — А если вы говорите о претензиях молодого офицера на руку моей дочери, то этому никогда не бывать, потому-с, что дворянин — знай дворянство, мещанин — мещанство, а купец — купца-с. . .

Маслюков раскланялся и ушел из зала, оставивши доктора в одиночестве.

После этого объяснения Маслюков пробыл в Кочетке несколько дней и уехал в Липецк.

VIII

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя. . .

Лермонтов

При воспоминании о жизни Кочетка в давно прошедшие годы передо мною особенно рельефно восстают образы двух человек, стоявших в

то время, по престижу, в первых рядах общества. Я только что говорил о том, какое влияние на отношения и связи людей имело их происхождение. Допустить mésalliance при браке считалось невозможным. Между тем mésalliance при дружбе двух лиц одного пола нередко допускался.

В то время главным начальником военных поселений, как я уже сказал выше, был строгий и надменный Никитин.

Не менее строгий и гордый человек был в то время богатый купец Иван Иванович Рыжов, родоначальник железно-скобяной и заводской торговли в Харькове. Эти два человека, несмотря на различие свои сословий, привилегий и занимаемого ими общественного положения, были неразлучными друзьями и часто вместе коротали время.

Иван Иванович Рыжов был прямой и правдивый чисто русский человек, за что и любил его генерал Никитин. У него были во всем крайности. Это была широкая и честная натура русского человека.

— Уж если пить — так пить, а постить — так постить,— обыкновенно говаривал он друзьям своим.

В дружной и веселой компании Рыжов позволял себе пображничать с таким большим ковшом, каким пивали только во времена Владимира Красного Солнышка. Что же касается великого поста, то первую и страстную седьмицы Иван Иванович ничего не ел, к обеду не выходил и пробавлялся только чаем и сухою просфорою.

Гордый и надменный генерал Никитин был бичом военных поселений. От одного его имени все служащие трепетали; прельстить или подкупить его, привлечь его на свою сторону было невозможно. Его приезд в военные поселения напоминал собою стихийную силу, лишь с тою разницей, что эта стихийная сила карала всегда без разбора. Для взяточников, казнокрадов и лихоимцев Никитин был неумолимою карою...

Однажды, по обыкновению, Рыжов был приглашен Никитиным в село Кочеток, во время курорта, после Троицкой ярмарки. Съезд в Кочетке был большой, и Никитин давал бал в ротонде, со струнным оркестром бальной военной музыки.[1]

От таких приглашений Рыжов никогда не отказывался и называл их «приказаниями».

— Генерал приказал быть, надо ехать,— обыкновенно говорил Рыжов адъютанту, посланному Никитиным пригласить его на обед или на вечер.

На открытой веранде ротонды сидел Никитин в компании с другими генералами. Рыжов сидел рядом с ним и казался незарисованным темным пятном среди роскошно одетых в военную форму разных полков генералов, полковников и капитанов.

Вечер был прохладный. В зале шли танцы, а компания Никитина была занята пуншем.

— Ну что ж, Рыжов, — сказал Никитин, — надо бы поужинать.

— Дело хорошее, — ответил Рыжов.

[1] Струнные оркестры при полках упразднены, как известно, императором Александром II. *(Прим. автора.)*

— Но только это ваше дело, генерал. Вы — хлебодар, а я — виночерпий, так уж все об этом знают. Потому насчет выпивки — это уже мое дело... Нутка, подойди сюда, — сказал Рыжов, обращаясь к слуге, и приказал ему подать шампанское со льдом.

Никитин поручил одному из полковников заказать ужин.

Между тем слуга принес бутылку шампанского.

— Ваше превосходительство, — обратился Рыжов к Никитину, — да защити же ты купца Рыжова от посмеяния. Что же это он, на мое требование, принес одну бутылку. Да я умру от сраму...

— А сколько же тебе надо? — смеясь, спросил Никитин.

— А вот сколько, — отвечал Рыжов, обращаясь к слуге: — давай сюда ящик шампанского понимаешь...

Но ящика шампанского не оказалось налицо. Нашлось в запасе всего несколько бутылок, которые и были поставлены на стол. Рыжов, однако, не легко помирился на этой пустой сумме бутылок и тут же дал себе слово: каждый раз, когда он будет ехать куда-либо «по приказанию» генерала, брать с собою ящик шампанского, что и исполнял всегда.

Однажды Никитин был не в расположении духа и жаловался Рыжову на беспорядки по управлению военными поселениями.

Ему было донесено, что в одном из ссыпных хлебных амбаров в закромах имеется по два дна; поэтому в этих закромах только на полар-

шина вглубь лежит зерно, а затем все остальное пространство пустое.

Никитин был занят мыслью, какой бы способ придумать, чтобы не сконфузить себя и внезапно обнаружить это вопиющее злоупотребление.

Рыжов смеялся от души над хитростью его чиновников и в то же время над оплошностью генерала, пророча ему, что хитрый казнокрад ловко обойдет его.

— А знаешь ли, Рыжов, что я придумал, — сказал неожиданно Никитин.— Сослужи мне службу. Я велю выдать тебе открытый лист на получение из амбара нескольких сот четвертей хлеба, а ты поезжай получать его сам, да там и смотри закрома, как они устроены...

Рыжов медленно поставил свой бокал с вином на стол. С его лица быстро сошла улыбка, и смех сменился серьезными морщинами на лбу.

— Ваше превосходительство, — обиженно сказал Рыжов, — да ты, чай, обознался. Рыжов ни у кого еще не служил доносчиком и фискалом. Во всем я почитаю тебя, почтенный генерал, но в этом, прости меня, я не твой слуга...

Рыжов встал со своего места и хотел уйти, но Никитин остановил его.

— Ну, будет сердиться, — ласково сказал Никитин, удерживая его за руку.— Ты был мне друг, а теперь ты дважды мне друг...

На этом и помирились.

IX

Мы так недавно расстались с молодою красивою четою двух любящих сердец, и нами еще не

забыты прелестная Елена Петровна Маслюкова и избранник ее сердца Владимир Синещеков.

Отцы их не охладили их любящих сердец. Они сумели только поставить между ними непреодолимую преграду, для того чтобы никогда им не сойтись, не испытать минуты счастья и любви...

Где же они, что с ними и какова была конечная судьба их жизни? Говорят: finis coronat opus.[1] Какою же, золотою или железною короною венчала их судьба на долгие дни жизни? ..

Елена Петровна Маслюкова недолго томилась в доме отца. Она решила оставить этот чопорный мир причуд и безумных узаконений, ради которых люди —

Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей...

И она оставила этот мир и уединилась навсегда в монастырь, где когда-то, так же, как и она, жила и страдала ее бабушка.

Никакие увещания не могли изменить ее намерений и, пережив зиму, она вторую весну своего расцвета встретила в стенах монастыря, в своей одинокой келии. Ей было всего девятнадцать лет, и она погребла себя от мира, отдавши и блеск лазурных глаз и грудь с запасом сил суровому надзору, черной власянице и широкому ременному поясу...

Владимир Синещеков все это время не дремал и был верен ей. Он выжидал случая, чтобы можно было видеть ее и говорить с нею. Случай этот

[1] По-латыни — конец венчает дело.

представился ему. Он узнал, что она уже не в доме родителей, а в монастыре, где можно видеть ее и говорить с нею. Надо только быть решительным, пренебречь причудами сословных традиций и смело пойти к начертанной цели — обладать ею, обвенчаться с нею. Приготовивши все, что было необходимо для осуществления этой цели, Владимир взял с собою нескольких товарищей-богатырей и отправился в монастырь, где жила Елена.

Скрывши свою дружину, состоявшую из преданных друзей, Синещеков прежде всего сам сделал вылазку и явился в монастырь как богомолец.

В монастырском саду, у могилы своей бабушки, сидела Елена, грустная, задумчивая... Тихо и робко подошел к ней Синещеков и низко поклонился...

Елена в первый момент, когда увидала его, как спугнутая лань, встала со скамьи. Но Владимир удержал ее за руку.

— Умоляю вас, Елена, во имя прошлого нашего, подарите мне одну минуту, одним словом привета, и я, как послушный ребенок, исполню все, что вы мне прикажете. Я и теперь люблю тебя, Елена, и умру с этим чувством.

Очаровательная монахиня в полусознательном состоянии опустилась на скамью у изголовья родной ей могилы.

— Владимир! — тихо ответила она. — Я тебя люблю! Но чтобы сохранить это чувство до гроба в чистоте, я пришла сюда и порвала все связи с миром. Зачем же, зачем ты пришел сюда? Зачем ты нарушил покой наболевшей

души моей? Уйди от меня, умоляю тебя, и забудь меня, как я забыла мир ради тебя! Я молюсь за тебя, Владимир...

Она закрыла лицо свое, и слезы полились из ее голубых глаз.

Владимир присел на скамье и начал просить ее уйти из монастыря и перевенчаться с ним. Он ей подробно пояснил цель своего приезда и сказал ей, что у него все уже готово и что он только ждет ее согласия.

Елена долго молчала, слушая своего верного поклонника.

— И слушаю и не понимаю! И верю я, что ты со мной, и все мне кажется, что это не действительность, а сон... Сон, приятный и тяжелый в одно и то же время. Зачем, зачем ты приехал сюда? Подумай: чего ты от меня требуешь? Ты безумствуешь... Не дальше, как вчера, я у престола спасителя молилась о тебе, чтобы он, приемлющий к себе всех страждущих и обремененных, поддержал тебя и дал тебе силу перенести тяжесть забвения. А за это я поклялась быть ему верной и земную жизнь свою посвятить ему, одному ему. А в ту ночь? О, бог свидетель, как полна была мучений сегодняшняя ночь... Я задыхалась в своей келье, меня так томили, искушали образы мирской жизни. В полуночи, изнеможенная, я упала перед образом и опять молилась ему. Я просила его, чтобы он взял меня под свой покров и дал забвение всему, что было пережито и перечувствовано. Я поклялась ему вновь, что жизнь свою отдам ему и уже не вернусь к той дороге, которая пресеклась для меня так жестоко, так безжалостно...

И вот ты пришел и требуешь, чтобы я солгала перед ним, чтобы я ушла с тобою в мир. Нет, никогда! Прощай! Прощай!

Елена поцеловала его и неожиданно оттолкнула от себя для того, чтобы с быстротой серны скрыться в келье монастыря.

Долго стоял Владимир один, терял силы и сознание... Возвратясь к месту службы, Владимир, не задумываясь, выхлопотал для себя перевод на Кавказ, в действующую армию. Во время одной горячей схватки с чеченцами он был убит пулею навылет и погребен с военными почестями...

Елена, пробывшая восемь лет монахиней в большом постриге, умерла от скоротечной чахотки.

X

Любовь, вспыхнувшая при картинной обстановке, под открытым сводом неба, рдевшего заревом заката при очаровательной картине природы и на почве крайнего романтизма, в те годы была явлением обычным. Что же касается ее грустного исхода, то причину его следует искать в тех причудливых измышлениях сословных традиций, которые всегда шли наперекор правдивому и естественному чувству любви.

В памяти моей возникает еще образ красавицы-девушки, угасшей преждевременно под тяжестью романтизма и идеализма.

В Харькове проживало семейство весьма богатого купца Горяинова, дома которого находились в Горяиновском переулке и ныне принадлежат

белгородскому купцу Добрынину. Дочь Горяинова, о которой я поведу речь, воспитывалась в институте, и, несмотря на то, что в то время был обязательным только французский язык, она по собственному желанию изучала еще и итальянский язык и знала его в таком совершенстве, что, окончивши курс и живя в доме родителей, она переводила небольшие стихотворения Петрарки и помещала их в издававшемся в то время «Альманахе». Затем она на курорте в Кочетке увлеклась немолодым, но красивым боевым генералом Криворотовым и вышла за него замуж. Они купили богатое имение вблизи города, на реке Немышлё, и поселились там.

Герой Кавказа, георгиевский кавалер, выслужившийся в генералы из нижних чинов, Криворотов, заручившись высоким чином, заблагорассудил:

Сменить коня, седло, булат
На друга сердца и халат.

Первые годы они жили как будто хорошо, хотя это были два противоположных друг другу существа. Но жизнь им улыбалась недолго. Генерал, спартанец времен Ликурга, закаленный в боях, видавший не раз смерть в глаза, привыкший повелевать целыми тысячами солдат, по его команде шедших в огонь, не понимал, что такое значит ослушание и особое личное мнение человека; проживший, наконец, лучшие годы своей жизни вне женского общества, в кругу своих сотоварищей-солдат, Криворотов не мог видеть ни слез своей жены, ни нервного недомогания ее, ни каких-либо протестов на его желания и распоряжения.

Софья Петровна Криворотова, напротив, была женщина весьма нежного телосложения, сотканная, так сказать, из весьма чувствительного самолюбия.

Начались между ними частые ссоры, и совместная жизнь к концу пятого года брака сделалась невыносимою. Быть может, все это в будущем как-нибудь и уладилось бы, если бы боевой генерал не перешел границ в своих тяжелых требованиях к жене.

Однажды при возникшей между ними ссоре из-за того, что муж приказал жестоко наказать коровницу, а жена приказала не наказывать ее, он вспылил и обозвавши ее бранным словом, громко крикнул:

— Я не допущу, чтобы негодная гильдейница отменяла приказания своего генерала.

Этих слов достаточно для того, чтобы супружеская связь была навсегда порвана.

Софья Петровна Криворотова в тот же день переехала в город, к своим родным, и возвратилась в свое имение только после смерти мужа.

Криворотов же на третий день по выезде из имения жены своей приказал подать к барскому дому двенадцать воловьих подвод и, сложивши на них все приданое жены, а также развесив вокруг повозок на высоких шестах флаконы с духами и веера, разубравши и разукрасивши рога волов различными лентами, кружевами и тесемками, приказал медленно, шаг за шагом и цугом, везти весь этот скарб через г. Харьков по Старо-Московской, Московской и Шляпной улицам в дом Горяинова.

У каждой подводы шел крестьянин и на вопрос прохожего, что это такое, отвечал:

— Криворотовой приданое везем к ее отцу.

Этот шутовской кортеж послужил к тому, что г-жа Криворотова уже не возвращалась к мужу.

Но в доме родителей этой несчастной женщине не было отрадной жизни. По своему умственному развитию она слишком высоко стояла сравнительно с ними. Ее связь с ними походила на склеенную фарфоровую посуду, которая до тех пор не распадалась, пока не ставили ее с силой на место или же не наливали в нее горячей воды... Между тем тут-то и произошло то, что эту склеенную посуду не только поставили с силой, но и налили в нее горячей воды...

Я не могу умолчать об этом эпизоде из жизни Софьи Петровны, так как он чрезвычайно характерен для людей того времени.

Как я уже сказал, еще живя девушкой, Софья Петровна занималась переводами из итальянских поэтов разных мелких стихотворений и помещала их в журналах. Но пока это печатанье своих произведений происходило без подписи фамилии автора — дело шло хорошо, но, разойдясь с мужем, чтобы занять себя чем-нибудь и тем парализовать назойливые требования оскорбленного чувства, она пять лет употребила на усидчивую работу составления русско-итальянского и итальянско-русского лексикона в двух томах. Желая предпринять издание этого труда, Софья Петровна начала усиленно хлопотать об этом, но встретила непреодолимые препятствия со стороны своих родителей. Она до глубины своей души была оскорблена своим мужем и по-

тому хотела издать лексикон под своей девичьей фамилией «С. П. Горяинова». Такое намерение несказанно оскорбило ее родителей.

— Как, — говорили они, — в нашем известном роде Горяиновых да вдруг будет дочь писарчук-сочинитель? Да это позор, которого мы не переживем.

Как Софья Петровна ни уверяла их, что, напротив, ее труд сделает честь всей их семье, — ничего не успела. Все ее хлопоты увенчались только тем, что ей дозволено было издать ее лексикон под фамилией «Криворотовой».

Так лексикон и был издан. В настоящее время он составляет библиографическую редкость, но все же я знаю и теперь лиц, у которых есть ее лексикон и считается пока лучшим.

Проживая восемь лет в доме родителей, Криворотова овдовела и переехала жить в свое имение. Устроившись и освоившись с новою жизнью, испытав впервые в жизни своей свободу, она устроила в своем доме нечто в роде школы и сама учила детей своей дворовой прислуги. Всю свою землю она сдала на аренду крестьянам и, получая чистый доход с аренды, была довольна, что освободила людей своих от барщины. Казалось, Софья Петровна была довольна своим положением и не искала для себя ничего лучшего. Но это только казалось. Человек ищет свободы, пока у него нет ее, но, приобретя свободу, он скоро начинает тяготиться ею и искать для себя ярмо...

Под ним струя светлой лазури,
Над ним луч солнца золотой;
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой...

*

Еще так недавно пережитое столь неудачное супружество, неопределенное положение в доме родителей, наконец, долгое одиночество расшатали ее нервы и чуть не свалили ее в постель.

Лучшие врачи того времени послали ее в Кочеток, на курорт гидропатического лечения.

В тот год в Кочетке проживал студент Харьковского университета К. А. Поплавский. Крайне бедный человек, он жил только тем, что ему давал замечательный его талант. Не бывши в академии и почти самоучкой он научился рисовать портреты акварелью на слоновой кости.

В то время не было в Харькове не только фотографии, но даже дагерротипа.[1] Понятно, такой портретист среди богатых помещиков и купцов того времени находил не мало работы, и вскоре его имя сделалось популярным.

Написал он портрет и с Софьи Петровны Криворотовой.

С этого началось ее знакомство с ним — и этот портрет послужил первою главою для ее грустного романа.

Она—тридцати двух лет, красивая женщина, с хорошим состоянием, он—двадцати двух лет, красивый человек с выдающимся талантом, светски образованный, из польских дворян и совершенно бедный человек. Софья Петровна в первом муже своем полюбила храброго воина, героя войны, но совершенно ошиблась в нем как в человеке и потому была несчастна. В Поплав-

[1] Дагерротипия — первый практически примененный способ фотографирования с натуры. Назван по имени своего изобретателя Дагерра.

ском она полюбила талантливого художника, артиста и полюбила так, как только может полюбить тридцатилетняя женщина, опоздавшая с своею жизнью. Полюбила она бесповоротно, страстно, забыв о себе и не справившись о нем как о человеке, с которым она решилась жить, которому она отдала всецело вторую и последнюю половину своей жизни. Но, несмотря на ее развитый ум и талантливую натуру, во всей этой аномалии мы не усматриваем ничего удивительного, нужно только не забыть, что

То было дело в старину,
Когда влюблялися в луну;
Когда живых людей чуждались,
А идеалам поклонялись.

Что касается Поплавского, то он как бедный человек искал случая обеспечить себя и на нее смотрел как на этот случай, который было бы глупо упустить из рук. Как католик, в те времена жениться он на ней не мог, а посвятить ей свою жизнь ему мешали слишком уже реальные взгляды на жизнь.

Как бы то ни было, но он с осени того же года переехал жить в ее имение в качестве управляющего и совсем оставил университет. Не долго думая, он потребовал, чтобы все имение было записано, по крепостным записям, на его имя.

Для нее ничего не было дорого, кроме него, и потому она, не задумываясь, исполнила его желание.

Сделавшись полновластным хозяином, он определил ей место для жительства — одну комнату, рядом с комнатой прислуги, и потребовал

от нее не только разрыва со всеми ее родными и с обществом, но даже лишил ее комфорта и роскоши жизни, с которыми она сроднилась и на которые давали ей полное право ее большие средства.

Софья Петровна поняла, наконец, с кем она имеет дело, и ее чувство разочарования было так сильно, что она впала в тихое умопомешательство и в таком тяжелом положении прожила восемнадцать лет, не придя в сознание даже в последние минуты своей честной, но скорбной жизни...

XI

Этим я думал закончить свои воспоминания о Кочетке. Но не все же вспоминаются мне одни грустные сцены из жизни былого... А потому я приведу один комичный эпизод из жизни доктора Слизневского. Хотя в то время доктору было за пятьдесят лет, но он не был женат, быть может, потому, что у него, как он сам говорил, было много двоюродных сестер, которые и проживали у него по очереди. И вот одно лето жила у него в Кочетке хозяйка дома, одна из таких «сестер», весьма миловидная и веселая девушка, лет восемнадцати, Текла Михайловна. Любя общество и танцы, она не пропускала ни одного бала в ротонде и имела вокруг себя целый рой поклонников.

Доктор, как большой любитель игры в штосс, однажды довольно долго заигрался с каким-то проезжим ремонтером и проиграл ему довольно большой куш денег.

Ремонтер посмотрел на часы, неожиданно закрыл банк и забастовал, велевши денщику подать ему давно ожидавшую в упряжке тройку почтовых лошадей.

Слизневский упал духом и не знал, как пособить своему несчастию. Но один из его пациентов предложил ему хороший куш денег, с тем чтобы он отыгрался. Уже был поздний час вечера.

Энергичный доктор немедленно велел запрячь свою тройку и уехал догонять вероломного ремонтера. У третьей станции он догнал счастливого игрока и предложил ему заложить банк. Было уже одиннадцать часов ночи. Проигравши до семи часов утра, Слизневский отыграл свой проигрыш и был еще, как тогда выражались, в авантаже. Платя ремонтеру тою же нелюбезностью, доктор сразу забастовал и поехал обратно в Кочеток.

Но каково же было его удивление, когда он, приехавши в свой дом, застал там полный беспорядок. Ничего не было прибрано и обед не заказан. А Текла Михайловна, уйдя с вечера в ротонду, не возвратилась домой. Одни говорили, что она уехала в Чугуев, другие посмеивались и уверяли, что она уехала с бала на лихой тройке серых лошадей с двумя молодыми корнетами. Не берусь разбирать, какой из этих слухов был более правдив, но все же факт был несомненен, что Текла Михайловна куда-то уехала.

Много и долго говорили в Кочетке об этом событии, и доктор был опечален. На восьмой день Текла Михайловна возвратилась и, не ре-

шившись итти к доктору, остановилась у какого-то военнопоселенца. Но едва о ее приезде узнал доктор, как сам поспешил притти к ней и взял ее к себе. Все было забыто, и жизнь потекла невозмутимо своим обычным руслом...

В начале августа Кочеток понемногу начали оставлять его пациенты и гости. А к концу месяца он опустел, и жизнь его обитателей входила в свою строгую и однообразную колею жизни военного поселения.

Еще так недавно шумный и веселый зал ротонды, с ее верандою, всегда полною посетителей, теперь был пуст и уныло приветствовал случайно заходившего в него гостя. Столетние дубы, шумя своими узорчатыми листьями, как будто шептали пришельцу о том,

Что было там говорено
И сколько было позабыто...

Некоторые из бывших пациентов уехали с курорта, запасшись вновь здоровьем; другие — подкрепили свои ослабевшие силы. Не мало было и таких, которым курорт не принес никакой пользы, но цветущая и жизнерадостная молодежь ежегодно увозила из Кочетка много отрадного и дорогого сердцу...

Каждый год, покидая Кочеток, несколько красавиц-девиц уезжали нареченными невестами. С радужными надеждами на скорое счастье и на праздник любви покидали они те заветные уголки, в которых впервые было произнесено слово «люблю» и сказано было роковое и решающее «да». Многие из них, по традициям роман-

тизма брали с собою из этих заветных уголков или полевой цветок, или два-три листа с дерева, бывшего свидетелем их счастливой минуты в жизни. И эти талисманы хранились нередко всю жизнь и переходили в наследство детям... Да и можно ли было этим счастливцам не запечатлеть хотя чем-нибудь воспоминаний о том месте, которое подарило им так много надежд на счастие? Они любили и были любимы, а много ли таких минут выпадает в жизни на долю человека? . .

В те годы старина, не мудрствуя лукаво, смотрела просто на жизнь и на ее задачи. В те годы «женского вопроса» совсем не существовало. Родилась девочка в мир — и задача ее жизни была проста и не сложна. Девочка росла и развивалась для того, чтобы в семнадцать лет расцвести пышным цветком и выйти замуж. И потому в то время Кочеток для многих и многих был лучшим воспоминанием, как место, в котором избранниками Гименея впервые был отпразднован пышный расцвет первой весны и испытано хотя бы и кратковременное, но все же отрадное чувство любви...

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ И МОИХ СТРАНСТВИЙ

РАССКАЗ

БЫВШЕГО КРЕПОСТНОГО КРЕСТЬЯНИНА

НИКОЛАЯ ШИПОВА

1802—1862 гг.

Печатая... *Историю моей жизни,* я надеюсь, что встречу искреннее сочувствие у всякого человека, кому только на пути его жизни досталось испытать какие-либо превратности и треволнения. В продолжение моей многострадальной и скитальческой жизни я претерпел много несчастий, но всегда переносил их благодушно и хладнокровно, — никогда не терял присутствия духа, даже в самых тяжких и горестных обстоятельствах. События моей жизни, от самого младенчества, я передаю в том самом виде, в каком сохранила их моя память. Отдавая на суд читателям повесть о моих похождениях, я всецело вверяюсь их благосклонной снисходительности

Николай Шипов

1802 — 1813 гг.

Родился я в 1802 г., в слободе Выездной, близ города Арзамаса,[1] Нижегородской губернии. Отец мой был помещичий крестьянин, — имел хорошее состояние; занимался торговлею скотом, для чего ежегодно ездил в Симбирскую и Оренбургскую губернии за баранами. Он был человек грамотный, начитанный, пользовался почетом и уважением.

На шестом году от рождения меня отдали в ученье грамоте местному священнику. Как могу теперь припомнить, бабушка повела меня в церковь; отслужили молебен пророку Науму. Так обыкновенно делалось в старину. Читать я выучился скоро, и в какой-нибудь год или два мы «прошли» уже псалтырь; но письмо мне не давалось: как ни бились, я все-таки писал старинным почерком, сходственно с родительским.

Так прошло года четыре. Наступил достопамятный 1812 год. Тут пошли разные толки о войне, а в июле месяце распространилась молва, что французы идут в Москву. Хоть и при глупом детском разумении, но я понимал, что нам грозит какая-то беда. В последних числах августа тронулась наша матушка-белокаменная; день

[1] Арзамас — слово мордовское и означает: «красная девушка». — *Н. Ш.*

и ночь не умолкала большая дорога: ехали жители из Москвы. В сентябре месяце дошла до нашей слободы весть, что Москва занята французами. Народ упал духом; торговля прекратилась, а в том числе и моего отца. Наступили большие холода. Приходило много войска; солдаты размещались по избам жителей, человек по двадцать и более в каждой, отчего происходила теснота ужасная. Гнали пленных французов, которые были в странных, смешных костюмах: смесь русской одежды с французской и притом в изорванном, очень неприглядном виде. Мы, дети, не мало смеялись над таким потешным одеянием. За пленными французами шли обозы раненых; везли полуживых, даже мертвых, которых хоронили человек по пятьдесят вместе. Зима была ужасно холодная; морозы стояли жестокие. Я очень хорошо помню, что когда мы с товарищами делали снеговую гору, то трудно было поливать ее водой — тотчас замерзала; бывало, бросишь из ковша вверх воду, она падает в виде града. Поневоле приходилось сидеть в избе, а здесь были солдаты с пленными французами.

Скажу о своем доме: он был о двух жильях с пристроенною сбоку маленькою горенкою. Весь дом занимали солдаты и два офицера; семейство же наше, состоящее из четырех душ — отца, матери, меня и пятнадцатилетней сестры моей — теснилось в горенке. О каких-либо удобствах, разумеется, не могло быть и речи; особенно доставалось бедной моей сестре. Дело в том, что тогда существовал в крестьянском быту старинный обычай, сходный с татарским: девушка на

возрасте, особенно невеста, не могла в родительском доме видеть лицом к лицу чужого мужчину, а была обязана, как скоро завидит гостя, идущего к ним во двор, или закрыться платком и выбежать в другую избу или к соседу, или же в случае невозможности бежать скрыться под кровать или даже запрятаться под перину. Моего отца посещали разные лица, и сестра каждый раз убегала к соседу, у которого не было постоя, потому что он был в ратниках, — простудилась, получила чахотку и скоро умерла. Впрочем, и без того в слободе за это время смертность была большая: умирали от пяти до десяти человек в день. Да, тяжелое было тогда житье для нас, а в других местах и того хуже.

Но вот прошла жестокая зима; наступил май месяц 1813 г. В слободе стало тихо, — войска не было; только вновь сформированные ратники проходили. Отец мой начал производить прежнюю торговлю. Он отправился в степи Симбирской и Оренбургской губерний для покупки скота. Взял и меня с собою. Это была моя первая поездка в степи наших северо-восточных губерний. Потом он часто возил меня в Оренбургский край, приучая мало-по-малу к производимому им промыслу. Считаю по этому случаю не лишним рассказать здесь мною слышанное, виденное и испытанное.

1814 — 1819 гг.

Поездки наши в уральские степи производились в разное время года; но обыкновенно мы отправлялись из дому в марте месяце или в

первых числах апреля. Это для того, чтобы заблаговременно купить скот, и потом удобнее было бы гнать его летом.

Почти от города Симбирска, по ту сторону Волги, начинались степи и тянулись до города Уральска и далее, а отсюда — к Каспийскому морю. Степи обширные, раздольные. По ним протекают небольшие речки, изобилующие всякого рода рыбой. Разной дичи пернатой водилось здесь весьма довольно, и мы с отцом никогда не пропускали случая поохотиться. К северу, по отраслям Уральских гор, было множество диких коз; но охота на них трудна и небезопасна.

В степях, на значительном друг от друга расстоянии, находились небольшие селения уральских казаков; по реке Уралу на так называемой «линии» построены были казачьи форпосты, в роде маленьких земляных крепостей, для защиты от набегов немирных киргизов. Эти киргизы причиняли не мало вреда: угоняли скот, иногда и людей, которых обыкновенно продавали в Хиву. Казаки занимались преимущественно скотоводством и рыбною ловлей; сеяли дыни, арбузы и разные овощи, но в незначительном количестве. Они были грубы, однако довольно гостеприимны; русского, православного крепко недолюбливали, с ними вместе из одной посуды не ели, а всегда давали особую; впрочем, вино и водку пили из одной рюмки. Казачки — добры, милостивы и богомольны. На огромном пространстве от Уральска до Юрьева городка все жители от мала до велика говорили по-киргизски; это происходило от близкого соседства и частых сношений с киргизами.

Город Уральск стоит на реке Урале и притоке его Чагане. В то время он был необширен, с тремя храмами и одной старообрядческой часовней; населяли его преимущественно казаки и находился он под управлением войскового атамана. Урал — река быстрая, многоводная и обильная рыбой, которой здесь, близ Уральска, бывало особенно много. Объяснить это можно таким образом: весной, во время разлива Урала, рыба большими партиями шла с низовьев реки, от Каспийского моря, вверх по течению. К этому времени, по издавна заведенному обычаю, казаки забивали близ города поперек реки большие бревна наподобие свай; эти бревна тесно приходились одно к другому и таким образом представляли род прочного забора (по местному названию «учуг»). При такой преграде рыба уже не могла итти далее вверх по реке, разве разлив реки был необыкновенно велик. Прибавлю к сему, что когда происходила постройка описанного забора, то собирались все городские казаки, присутствовали сам атаман и войсковые чиновники. По окончании постройки бывала закуска, так что день этот почитался веселым, праздничным. Рыба в Уральске была очень дешева: например, в 1817 году осетрина стоила 15 и 12 коп. ассигнациями за фунт; свежая икра — 25 и 30 коп.

Теперь скажу о покупке скота и о пригоне его к месту назначения — в слободу Выездную. Скот мы покупали обыкновенно у разных лиц: у казаков, у кочующих киргизов и у русских купцов, занимающихся, подобно нам, этим промыслом. В Оренбурге или, чаще, в Уральске по-

купали лошадей, повозки и провизию; нанимали человек 18—20 работников из крестьян Нижегородской или Симбирской губерний, приходящих сюда весною на заработки, и отправлялись в степи. Скот покупался в различных местах, на дальнем между собою расстоянии небольшими сравнительно партиями, или гуртами, которые рабочими и сгонялись к определенному месту в степи.

Цены на скот существовали неодинаковые. Отец мне говорил, что в начале нынешнего столетия баран стоил 1 руб. 70 коп. асс., а вскоре после 1812 г. платили уже по 3 руб. 50 коп. асс. за штуку и даже по 5 руб. Случалось и так, что в один год скот покупали дороже, а в другой дешевле. Это происходило от многих причин; бывало, как наедет в степи много русских купцов, ну, и набьются цены. Если стояла слишком суровая зима, то скот непременно дорожал, так как его много погибало от морозов. Но главное, при покупке скота обращалось внимание на то: так называемый зауральский это скот или букеевский: первый был мельче, особенно бараны, а последний крупнее и мирнее. Поэтому мы покупали в разные года неодинаковое количество скота, — обыкновенно несколько тысяч голов, приблизительно пять, восемь, десять тысяч и более.

Купленные в разных местах гурты баранов сгонялись главным образом к Общему Сырту, — на речке Чаган, Деркул и Embулатовку; это с форпоста Сорочика.[1] Тут за прогон скота

[1] На этом месте существовал некогда хивинский городок, развалины которого видны и поныне. Здесь отыски-

по степи никому ничего не платили. Зато нередки бывали случаи, когда казаки или башкиры нападали на приказчиков и рабочих при гуртах, били их нагайками и силою вымогали дань за то будто бы, что при прогоне скота испорчены луга, которых казаки никогда не косили. Если рабочие останавливали стада для пастьбы по хребтам гор, то казаки и башкиры на то не сетовали. Одному приказчику давалось обыкновенно два гурта, каждый по 900 баранов, и при них 6 человек рабочих: два передовых или гуртоправов и четверо так называемых задних; был еще кашевар. Давалось им три повозки с тремя упряжными лошадьми для клади и провизии да сверх того четвертая лошадь — верховая. Бывало, ранним утром, когда солнце только что обогреет степи, баранов поднимут и погонят со стану. Гуртовой, идя впереди баранов, помаленьку начинает разгонять их, чтобы они шли реже, не скучиваясь; задние рабочие подгоняют отставших от гурта, но делают это осторожно, с известной сноровкой, чтобы не испугать весь гурт, который расходится иногда, особенно по хорошей траве, в ширину более полуверсты. При этом гуртоправ старался приучить баранов итти рядами, стройно, в порядке. Опытные гуртоправы весьма скоро достигали того, что бараны слушались их как солдаты своих командиров. В течение дня несколько раз давался скоту отдых. В это время гуртоправ быстро осматривал баранов, отыскивая, нет ли между ними больных;

вают хивинские монеты и разные другие древние вещи. Говорят, городок тот разорен был разбойниками Нечаева. — *Н. Ш.*

если таковой находился, его тотчас отделяли от гурта, чтобы другие не заразились, и лечили. Пастбища выбирались, конечно, с хорошей, сочной травой. Вообще, в продолжение всего пути приказчики, гуртоправ и рабочие заботились всеми мерами о хорошем продовольствии скота, чтобы бараны были жирные, шерсть на них чистая и мягкая. Вечером, с закатом солнца, гурты останавливались на ночлег; для этого место избиралось такое, чтобы и пастбище было тучное, и водопой обильный. В этих именно видах заблаговременно нанимались некоторые степи, с платою по уговору. Так шло дело до города Бугуруслана, куда приходили гурты никак не позднее второй половины июля месяца. Здесь стригли с баранов шерсть и отправляли ее в Выездную слободу. От Бугуруслана гурты прогонялись или на Симбирск, или к Бугульме и Казани. Здесь также случалось не без препятствий и задержек от чувашей и калмыков. Чуваши — народ зловредный. Зная, что в известное время по их дачам и лесам прогоняют гурты баранов, они вырывают в лесу ямы и ставят в них петли; проходящий скот падает в эти ямы и таким образом делается добычей чувашей. Если же такая уловка им почему-либо не удавалась, то они прибегали к другому средству. Со мной был такой случай. Прогнали мы свои гурты близ одной чувашской деревни (Имуткиной), по проселочному пути, минуя чувашские степи верст 5. Желая попользоваться от нас какой-нибудь добычей, чуваши, более ста человек, догнали нас и остановили, говоря, что скот наш потоптал их луга. Я понял, что при сопротивлении могут

быть для нас худые последствия, и поэтому, приказав своим приказчикам гнать гурты далее — на дачу Обошную, сам поехал с чувашами в их деревню на отличной верховой лошади. Дорогою, как ни зорко наблюдали за мною чуваши, как ни стерегли, но я перехитрил их и прискакал на моем резвом коне к своим гуртам, которые я догнал близ Шалашниковой степи, у мельницы, на речке Сохе. Отсюда шли мы на Сергиевское, Ормянку, Хилково, Тростянку, Хорошеньку, Килянку, на Новый Буян и Узково. Далее пролегали, верст на 50, калмыцкие степи, которые примыкали к Волге, и я почел за нужное спросить позволения у калмыцкого начальника, проживающего в ягодном улусе, пройти по этим степям. Послал к нему с этой целью одного из своих приказчиков; через несколько времени явился ко мне сам начальник из калмыков с двумя драбантами. Я его почтительно принял, достодолжно угостил и на дорогу снабдил бараниной; за это он позволил мне свободно прогонять гурты по степи и беспрепятственно пользоваться пастбищем. Придя к Волге, я договорил климовских крестьян перевезти на другой берег баранов по 5 коп. за штуку. Переправа эта очень хлопотлива. Отсюда мы погнали гурты обыкновенным путем — на Буинск, Курмыш и домой, в слободу, куда скот обыкновенно приходил около 20 сентября или в половине октября месяца, и тут же, немедленно принимались его резать в особо устроенных при доме бойнях и салотопнях.

Кроме указанных мною неудобств, встречающихся при прогоне скота, приходилось еще ве-

даться с разбойниками, которые властвовали в тех местах поистине беспрепятственно. Например, по эту сторону Волги, близ села Собакина (Симбирской губернии), грабил и разбойничал отставной солдат Безрукий с своими удалыми товарищами. В 1816 г. отец отправил домой нашего приказчика Баранина, верного и надежного человека, с двумя гуртами и 7-ю рабочими. Гурты останавливались на ночлег в 4 верстах от Собакина, близ леса. Рано утром выезжает из лесу этот Безрукий со своими молодцами и требует от Баранина денег. Рабочие оробели, приказчик на коленях перед разбойником говорил, что у него нет денег более 10 руб. Получив десятка два ударов нагайкой, Баранин отдал все имеющиеся при нем деньги и лучшую лошадь. Разбойники удалились в лес, а верный приказчик, приказав рабочим гнать гурты далее, сам тотчас же отправился верхом в село Собакино и заявил о случившемся с ним происшествии сельским властям. И что же услышал? «Эх, любезный», сказали ему, «эти разбойники ограбили не тебя одного, а многих лиц и не настолько. Мы тебе не можем оказать никакой помощи: ведь они теперь, может быть, гуляют уж по пензенской столбовой дороге. Ступай себе с богом». Так Баранин и ушел.

На той стороне Волги, по Общему Сырту, где пролегают дороги в Оренбург и Уральск, разбойничал борской казак Иван Григорьев Мельников с товарищами. Этот разбойник был страшен для всех проезжающих; о нем и его подвигах ходили в народе разные рассказы, в которых быль перемешивалась с небылицей. Например,

говорили, что он имел заговор от ружья, т. е. что его нельзя было ни убить, ни ранить пулей. В течение нескольких лет земская полиция не могла поймать его; а если это случалось и Мельникова сажали в острог, то он уходил отсюда, как бы ни была бдительна стража и крепки запоры. Мельников никогда не убивал, разве только в каком-нибудь редком и исключительном случае; любил послушание и покорность; ослушников же его приказаний и требований строго наказывал нагайкой и брал большие дани. Однажды крестьяне нашей слободы, в количестве более 20 человек, на десяти повозках отправились в Оренбург за баранами. Подъезжая к Общему Сырту, они условились между собой, что в случае нападения разбойникам не поддаваться. Через несколько времени крестьяне заметили шибко едущих им навстречу вооруженных людей; то был атаман Мельников с своими товарищами. Поровнявшись с обозом, атаман закричал передовому крестьянину: «остановись», но тот не послушался и продолжал ехать. Тогда атаман приказал одному из своих товарищей бить непослушного по спине нагайкой. Крестьяне перепугались, забыли о своем уговоре — не поддаваться разбойникам. После того Мельников приказал подать для себя кошму; когда разостлали ее, он сел. Крестьяне же молча стали перед ним; их окружили разбойники. Атаман обратился к перепуганным крестьянам с такой речью: «Я знаю, вы едете в Оренбург за покупкой скота и у каждого из вас есть деньги; я мог бы вас совсем обобрать. Но так как вы оказали мне послушание, то я беру только по 5 руб.

асс. с повозки. Когда будете ехать обратно, я с вас не спрошу тогда ничего, разве дадите баранины на кашицу». Один из крестьян тотчас же вынул свой бумажник и отдал атаману деньги. «Как тебя зовут?» спросил Мельников. «Иван Григорьев Минев», отвечал тот. «Ты, братец, мне тезка», сказал разбойник: «сними с себя крест и дай мне, а мой возьми себе — и мы будем крестовые братья». Поменялись крестами. После этого Мельников, возвращая деньги Миневу, сказал: «Возьми, брат, свои деньги назад: мы с тобой породнились. А вы, ребята, раскошеливайтесь». Получив со всех деньги, атаман потребовал вина и закуски — велел пить всем. Заплатив за угощение 2 руб., Мельников уехал. Крестьяне были очень довольны, что так дешево отделались.

Минев рассказывал, что после того, прогоняя гурты из Оренбурга, он встречался с Мельниковым, который никогда денег с него не брал; вместе угощались и бражничали, а однажды Мельников, пригласив Минева к себе в стан, подарил ему лошадь и 25 руб. медными деньгами.

Приобщу к сему, что Мельников был пойман исправником верст за пятьдесят от города Самары, куда повезли его заключенного по рукам и ногам в деревянные колодки. На шею также надели колодку, которая в дороге и задушила его. Так память о нем погибла с шумом.

Производя торговлю скотом, мой отец торговал также салом, мехами, кожами и вообще пушным товаром. Этот товар продавали мы в разных городах, но главным образом в Ростове, на Макарьевской ярмарке и в Москве. Моя первая

поездка по этим торговым делам была в апреле месяце 1816 г., когда отец отправил меня с одним из старых и опытных наших приказчиков. Перед отъездом отец и бабушка (в это время мать моя была уже умершею) приказали списать мне из псалтыря псалом: «Живый в помощи Вышнего», выучить его наизусть и каждый день читать. Мне внушили, что при чтении этого псалма можно миновать нападения разбойников и всякого лихого человека. Ехали мы на города Муром и Суздаль, где ходили чуть ли не по всем церквам и прикладывались к святым мощам. В Ростове, распродав весьма выгодно товар, мы пошли помолиться великому русскому чудотворцу — Дмитрию Ростовскому — и попросили отслужить святителю молебен. Потом всходили на колокольню и слушали звон по нотам. Скоро мы оставили Ростов и отправились в первопрестольный славный град Москву.

Как я ни был мал и несведущ, но уже за три года перед сим довольно наслышался о матушке-Белокаменной. Двенадцатый год крепко запечатлелся в моей памяти. По приезде в Москву я купил, по совету приказчика, новомодный картуз и красивый шелковый кушак. Пошли осматривать Москву и ее достопримечательности. Здесь все меня поражало и удивляло: длинные, извилистые улицы, наполненные идущим и едущим народом, большие высокие дома, из которых иные были обгорелые, неотстроенные — печальный след пребывания в Москве французов; множество церквей; златоглавый Кремль с его соборами, дворцами и палатами; высочайшая ивановская колокольня, при кото-

рой лежал огромный колокол. В Вознесенском девичьем монастыре меня очень удивляли печи, в которых французы пекли для себя хлеб. Так как мы пробыли в Москве около трех недель, то я довольно хорошо познакомился с нею. Расхаживая по городу, я был очень доволен и думал: «вот и я побывал в Москве; все видел и о всем расскажу, как приеду домой». Действительно, рассказам не было конца.

В мае месяце этого года мой отец неожиданно женился во второй раз; взял нашу соседку, девочку лет 14, с которою я до сего времени занимался детскими играми. После свадьбы отец приказал мне, чтобы я не называл его молодой жены матерью. Так и было.

1820 — 1823 гг.

Через четыре года после женитьбы отца, когда мне минуло 18 лет, отец задумал и меня женить. Из арзамасских купцов каждый охотно отдал бы за меня свою дочь с большим приданым и деньгами; но помещик позволял нам жениться только на крепостных. У нас, в слободе, было три невесты, дочери зажиточных крестьян. По заведенному обычаю, отец мой созвал на семейный совет близких родственников; призвали меня и спросили: «Которую невесту сватать?» Я отвечал, что как ни одной из них не знаю, то и сказать ничего не могу. Решили сватать дочь довольно богатого крестьянина Ланина. 2 ноября, поутру, дядя мой, купец Феоктистов, отправлен был в дом Ланина для переговоров. Выслушав предложение Феоктистова,

Ланин сказал, что он теперь не может дать никакого положительного ответа, потому что предварительно должен сходить в церковь и отслужить молебен, потом созвать всех родственников на совет, и просил Феоктистова пожаловать через день, вечером. Дядя передал это нашему собранию; решили ждать. На совете у Ланина, как мне потом рассказали, происходило следующее: некоторые из родственников были против того, чтобы выдать за меня дочь Ланина; порочили мое поведение и указывали на то, что у меня молодая мачеха, с которой жене моей худо будет жить. Большая же часть Ланиной родни была того мнения, что дочь Ланина выдать за меня следует, потому что дом наш богатый, один из первых в слободе. 4 ноября родственники наши снова собрались у нас в доме и того же дядю Феоктистова вновь послали к Ланину. Здесь приняли дядю с уважением и посадили на почетное место. Священник прочитал молитву. Потом, как бы в виде задатка, вынесли дяде пять платков и полотенце с богатым кружевом, да кроме того дали хороший платок для самого гостя и начали угощать его как почетного гостя. Мой же отец и родственники ожидали его возвращения. Дядя пришел с платками и навеселе. Призвали меня, начали поздравлять и показывать платки, в числе которых был один и для меня, т. е. я должен был носить его в своей шапке; потом приказали мне поклониться отцу и дяде в ноги; я это исполнил. Затем началось веселье и продолжалось до глубокой ночи.

На другой день, 5 ноября, мы ожидали к себе рубашечницу, женщину из дома отца невесты,

за моей рубашкой, по образцу которой у невесты должны были нашиваться для меня рубашки. Этой женщиной бывала обыкновенно одна из близких родственниц невесты; она почиталась гостею почетною; ее должны встретить ближайшие родные жениха и угостить как можно лучше. В три часа пополудни приехала рубашечница, которая оказалась женой брата моего будущего тестя, т. е. родная тетка невесты. Тотчас мои родные вышли к ней навстречу, привели в горницу и начали усердно угощать. Она пробыла у нас до шести часов вечера. Условились, когда должно быть смотренью, запою, девишнику и свадьбе. Положили смотренью быть сегодня. После того эта новая сваха взяла мою рубашку и поехала в дом Ланина. Дорогою она непременно должна петь песни. Невеста встречает ее на дворе и приглашает войти в комнату.

По отъезде рубашечницы мы собрались к невесте на смотренье. Со мною поехали дядя Феоктистов, называющийся с этого времени дружкой, и его жена. Мы взяли с собой фунтов 20 гостинцев, каждый фунт в особом свертке; кроме того, отец дал мне два полуимпериала, завернутые в бумажку, 5 руб. сер. в свертке и 5 руб. по одному рублю — в бумажках. Эти деньги предназначались для того, что когда невеста станет меня дарить, то я должен полагать их на поднос и целовать невесту три раза. Приехали мы во двор к Ланину. Навстречу к нам вышли: нареченный мой тесть, его жена, сын и близкие родственники. Сначала они целовались с моим дядею и тетею, а потом со мной. Поцеловавшись, все вошли в горницу, где уже находился священ-

ник. Меня посадили за стол, впереди; рядом со мною, по правую руку, сели священник и дядя, а по левую — тетка; далее поместились за столом родственники Ланина. На столе поставлен был сладкий пирог с разными украшениями. Несколько минут посидели молча; потом тетка моя начала: «время нам посмотреть и пирожницу, которая для стола пирог готовила», т. е. невесту. При этих словах я будто оробел. Тотчас же родственница Ланина вывела из другой комнаты нареченную мою невесту. Она была в шелковом, вышитом золотом, сарафане и в белой, как снег, рубашке; на шее было ниток 40 разной величины жемчуга, в ушах жемчужные серьги, на голове жемчужная повязка и в косе целый пучок алых лент. При входе женщины с невестой все встали. Они помолились богу, приняли благословение от священника и поцеловались с моими дядей и теткой. После сего невеста взяла поднос, на котором лежал для меня подарок — жилет, подошла ко мне и вполпояса поклонилась. Я принял подарок, положил взамен его два полуимериала и также поклонился вполпояса; затем три раза поцеловались и вновь поклонились друг другу. Тогда священник спросил меня и невесту: «желаете ли сочетаться браком?» Мы отвечали, что желаем с охотою. Священник благословил нас и прочитал молитву. После этого меня посадили с невестою рядом, и началось угощение всех гостей, кроме нас; мы только сидели. Чай же подавали и нам. В особой комнате девушки — подружки невесты — пели свадебные песни и с разными веселыми прибаутками выговаривали дружке, что он скуп для них на гостинцы,

После чаю невеста начала дарить меня платками, а я дарил ей деньги, и при этом каждый раз мы троекратно целовались. Так продолжалось несколько часов. Уже за полночь подали ужин, после которого гости поразъехались, а я остался с невестою и девушками; занимались разными играми, пели веселые песни. Я просидел до света.

7 ноября положено быть запою. К этому дню отец мой пригласил к себе близких сродников, несколько почетных гостей и священника с супругою. Всех съехалось человек 15. Напитки и закуски должны быть привезены от жениха. Отец на это не поскупился, дал мне 10 рублей, завернув каждый в бумажку, и один полуимпериал. Поехали мы вечером на семи санях, из коих одни были с разной провизией. У будущего тестя моего, Ланина, кроме родственников, знакомых и девушек, собралось множество народа из любопытства. Приехавши во двор, все вышли из саней. Впереди шел священник, за ним — отец мой с мачехой и я, потом родственники и почетные гости. Нас встретил тоже священник, за ним невестин отец с матерью и т. д. Все мы, приехавшие, целовались с хозяевами и их гостями; после сего нас пригласили в горницу и сажали за стол по известному порядку. Стол был накрыт человек на 40. На столе стояли четыре окорока и белый большой, круглый, сладкий пирог с разными украшениями и фигурами. В комнате стало тихо; за столом сидели безмолвно минут пять. После этого моя мачеха, обращаясь к Ланину и его жене, сказала: «А что, сватушка и свашенька, где у вас пирожница, которая го-

товила такой прекрасный пирог?» Ланин отвечал, что если угодно, то можно позвать ее сюда. В это время вышла из других комнат моя невеста, разряженная и богато украшенная; ее сопровождала ее родная тетка — прежняя рубашечница. Помолились они богу, всем низко поклонились, подошли под благословение к священникам и начали целоваться — сперва с моим отцом, мачехой и далее, по порядку. Когда целование кончилось, невесте дали в руки поднос, она подошла ко мне и поклонилась в пояс. Я взял платок с таким же ей поклоном, положил на поднос полуимпериал и, поддерживая одной рукой подбородок невесты, поцеловал ее три раза из стороны в сторону, после чего опять поклонились друг другу. Потом невеста начала дарить всех моих сродников разными подарками, а ей отвечали в благодарность деньгами. После этого невесту посадили со мной рядом. Пришло время прощенья. По первой рюмке всем гостям поднес отец невесты, а затем угощением распоряжались уже наши сродники. В это время мы с невестой очень часто целовались по требованию гостей; один говорил: «не видал, как наши молодые целуются»; другой — «вино очень горько, надо подсластить», третий еще что-нибудь придумывал. Так прошло не менее часа. Затем начали подавать чай; девушки запели веселые песни — и пошел пир горой. Около полуночи начался ужин и продолжался часа четыре. В половине ужина меня с невестой вывели из-за стола к девушкам поиграть, попеть и повеселиться. В 6 часов утра веселье кончилось; гости разъехались по домам. С рассветом и я

пошел домой; невеста и девушки провожали меня за ворота с песнями.

Начали приготовляться к свадьбе, которая должна была совершиться 10 ноября. За день до этого от невесты пришли к нам вечером девушки за брагой, которою станут поддавать в бане на каменку, когда они последний раз будут парить невесту с прощальными песнями. Потом приехали к нам из дому невесты коробейники и постельницы — четверо мужчин и две женщины с родственником моего будущего тестя. На трех парах лошадей они привезли имение и постель невесты. Сундуки поставили, в особо приготовленную в сенях палатку, а постель внесли в спальную, где постельницы и принялись убирать ее. Этих лиц мы хорошо угостили. В этот же день мой отец разослал гонцов к своим родственникам, друзьям и приятелям с приглашением их пожаловать к свадебному столу, который приготовлялся на 80 человек. Отец мой почитался настоящим русским хлебосолом, а потому распорядился, чтобы всего было в изобилии. Накануне свадьбы, около полуночи, поехал я на кладбище проститься с усопшими сродниками и испросить у покойной родительницы благословения. Это я исполнил с пролитием слез на могиле. 10-го числа вечером собрались к нам все наши родственники и знакомые; священник с диаконом и дьячками тоже пришли. В это время, по обычаю, двое наших холостых сродников посланы были к невесте с башмаками, чулками, мылом, духами, гребешком и проч. Посланных у невесты приняли, одарили платками и угостили. Между тем отец начал меня обувать

и положил мне в правый сапог 3 руб. — для того, что когда молодая моя жена станет разувать меня, то возьмет эти деньги себе. Когда я был одет, отец взял образ божией матери в серебряном окладе, благословил меня им и залился слезами; я тоже прослезился; недаром старики говорили, что свадьба есть последнее счастие человека. Потом благословили меня своими иконами отец крестный, мать крестная и посадили меня в переднем углу, к образам. Все, начиная с отца, со мною прощались, после чего, помолившись богу, священник повел меня в церковь; за нами следовало несколько человек, называющиеся провожатыми. В церкви народу было множество. Между тем сваха и дружка с хлебом и солью поехали за невестой. Здесь, на столе находился также хлеб и соль. Сваха взяла эту соль и высыпала себе, а свою отдала; хлебами же поменялись. Потом невесту, покрытую платком, посадили за стол. После благословения невесты от родителей иконами, все с невестою прощались и дарили ее, по возможности, деньгами. Затем священник вывел невесту из комнаты и поехал в церковь с свахою, дружкою и светчим, который нес образа невестины и восковые свечи. За ними ехали, на нескольких повозках, мужчины и женщины, называющиеся поезжатыми. По окончании таинства брака мы, новобрачные, по обычаю, несли образ божией матери из церкви в дом моего отца. На улице было совершенно темно; шел большой снег. Народ пророкал, что новобрачные будут счастливы (увы! пророчество это не вполне исполнилось). В доме встретил нас отец с иконою и хлебом-

солью; мы приложились к образу и поцеловались с отцом. После этого начался божией матери молебен. По окончании молебна сваха нас, молодых, привела в спальню, посадила рядом и дала нам просфору. Так как в настоящий день я и новобрачная постились, то, после чаю, нам дали немного закусить. Потом сваха убрала голову молодой так, как это бывает у замужних. После этого мы вышли к гостям, и вскоре начался стол, или брачный пир. Кушаньев было перемен десять; все в чисто русском вкусе, без всяких супов и соусов. К концу стола подали сладкий пирог, который должны были подносить гостям мы, молодые. Перед этим на мою молодую надели жемчужный кокошник, и я с нею и с свахою разносили пирог, а каждый поздравлял нас с законным браком. Стол окончился далеко за полночь. После того сваха с дружкою повели нас в спальню, убрали постель и заставили мою молодую жену меня разувать; уложили в постель и, пожелав нам доброй ночи, удалились. На другой день встал я рано; дверь оказалась запертою снаружи. Делать нечего, приходилось ждать. Наконец сваха отперла спальню и вместе с дружкою повели нас в баню; дверь за собою опять заперли. Из бани привела нас сваха в спальню, где уже приготовлен был чай. Через несколько времени пришла к нам от моего тестя женщина, называемая блинницею, принесла горячие блины и разное пирожное. Мы покушали. После блинницы явилась к нам родственница моей жены с подарками, которыми моя жена должна была дарить моего отца и мачеху. Отец и мачеха, получив эти подарки,

отблагодарили ее деньгами. В этот день отец мой пригласил родных и знакомых к себе на вечер; а я с молодою, свахою и дружкою отправились в гости к тестю. Потом попеременно бывали то Ланины у нас, то мы у них. И тем вся церемония нашей свадьбы кончилась.

Я упоминал, что мы были помещичьи крестьяне и платили барину оброк. Сам помещик, по фамилии Салтыков, в нашей слободе не жил; зимой проживал он в Петербурге, а летом в подмосковном своем имении — Сергеевском; к нам приезжал редко. У нас, в слободе, был управляющий и бурмистр, которые творили расправу с крестьянами и заботились о взыскании с них помещику оброка. Мой отец, как человек богатый и уважаемый, неоднократно бывал бурмистром. Эта должность, завидная для других, ни мне, ни отцу моему не нравилась: во-первых, потому, что наши торговые дела требовали частых отлучек отца из дому, а тут надо было постоянно находиться в слободе; во-вторых — потому, что при взыскании оброка невольно приходилось входить в неприятные столкновения с крестьянами и наживать себе врагов. К тому же отец постоянно опасался, как бы не подпасть под гнев помещика и не подвергнуться какому наказанию. При нашем помещике, человеке довольно взбалмошном, это случалось не редко. Например, однажды, в 1820 г. — не припомню по какому случаю — помещик прислал к моему отцу из другой вотчины крестьянина с приказанием посадить его на цепь и кормить однажды в сутки по фунту черного хлеба, впредь до нового распоряжения; при этом было объявлено отцу,

что если узник убежит или его будут лучше кормить, то с отца строго взыщется. Приковали мужика цепью к стене в нашем старом доме и одного человека поставили его караулить; есть же, из человеколюбия, отец приказал давать узнику довольно. Прошло с полгода. Отец отлучился не надолго из дому по торговым делам. В это время узник бежал. Донесли помещику, который немедленно и приказал взять с отца 7000 руб. штрафу. Через несколько времени бежавший крестьянин был пойман; но деньги остались, разумеется, у помещика.

А то, бывало, неожиданно шлет барин строгий приказ, чтобы отец явился к нему и представил оброк, примерно тысяч тридцать или сорок. С крестьян деньги еще не собраны; а не исполнить приказания помещика — опасно. В этих случаях отец поступал так: если у него были под руками свои деньги, то он прилагал недостающее количество; если же таких денег не было, то занимал их у арзамасских купцов, уплачивая проценты собственными деньгами. Таким образом дело сходило с рук, хотя и не без ущерба для отцовского кармана. Но однажды, именно в самый год моей свадьбы (1820), отец не мог представить помещику своего оброка, указывая в свое оправдание на то, что все торговцы и ремесленники понесли в этот год большие убытки и потому платить оброк затруднялись. Помещик и слышать этого не хотел; грозил посадить отца в смирительный дом или сослать в Сибирь на поселение. Однако дело кончилось тем, что помещик приказал сменить отца с должности бурмистра. Мы были весьма

этому рады, тем более что количество оброка, зависевшее от произвола барина, год от году не только не уменьшалось, а напротив увеличивалось.

Странные бывали у нашего помещика причины для всего, чтобы увеличивать оброк. Однажды помещик, и с супругою, приехал в нашу слободу. По обыкновению, богатые крестьяне, одетые по-праздничному, явились к нему с поклоном и различными дарами; тут же были женщины и девицы, все разряженные и украшенные жемчугом. Барыня с любопытством все рассматривала и потом, обратясь к своему мужу, сказала: «У наших крестьян такие нарядные платья и украшения; должно быть они очень богаты и им ничего не стоит платить нам оброк». Не долго думая, помещик тут же увеличил сумму оброка. Потом дошло до того, что на каждую ревизскую душу падало вместе с мирскими расходами свыше 110 руб. асс. оброка. Помещик назначал, сколько следовало оброчных денег со всей вотчины; нашей слободе приходилось платить 105 000 руб. асс. в год. У нас в слободе числилось до 1840 ревизских душ. Но не все одинаково были способны к платежу: например крестьянин богатый, но ему приходилось платить за одну или две души; а другой бедный, и у него пять или шесть ревизских душ; были престарелые и увечные, отданные в рекруты и беглые, которых налицо не состояло, но за которых следовало платить оброк. Помещик всего этого не хотел знать и требовал, чтобы назначенный им оброк был ему представлен сполна. Тогда делали раскладку оброка на богатых и зажиточ-

ных плательщиков. Таким образом выходило, что, например, мы с отцом платили помещику оброка свыше 5000 руб. асс. в год; а один крестьянин уплачивал до 10 000 руб.

Казалось бы, при таких распорядках состоятельным крестьянам следовало бы откупиться от помещика на волю. Действительно, некоторые и попытались это сделать, но без всякого успеха. Один крестьянин нашей слободы, очень богатый, у которого было семь сыновей, предлагал помещику 160 000 руб., чтобы он отпустил его с семейством на волю. Помещик не согласился. Когда через год у меня родилась дочь, то отец мой вздумал выкупить ее за 10 000 руб. Помещик отказал. Какая же могла быть этому причина? Рассказывали так: один из крестьян нашего господина, подмосковной вотчины, некто Прохоров имел в деревне небольшой дом и на незначительную сумму торговал в Москве красным товаром. Торговля его была незавидная. Он ходил в овчином тулупе и вообще казался человеком небогатым. В 1815 г. Прохоров предложил своему господину отпустить его на волю за небольшую сумму, с тем что эти деньги будут вносить за него, будто бы, московские купцы. Барин изъявил на то согласие. После того Прохоров купил в Москве большой каменный дом, отделал его богато и тут же построил обширную фабрику. Раз как-то этот Прохоров встретился в Москве с своим бывшим господином и пригласил его к себе в гости. Барин пришел и не мало дивился, смотря на прекрасный дом и фабрику Прохорова; очень сожалел, что отпустил от себя такого человека и дал себе слово

впредь никого из своих крестьян не отпускать на свободу. Так и делал.

В конце 1823 г. отец мой вновь был назначен бурмистром; при этом помещик приказал брать с нашей слободы, вместо 105 000, 61 000 руб. асс. оброка. В то время я находился в Оренбургском крае и об этом ничего не знал. Когда я приехал и отец рассказал мне о случившемся, мы стали советоваться, каким бы образом уволиться отцу от ненавистной для нас должности бурмистра? В слободе временно находился тогда камердинер нашего господина, его любимец, который иногда устраивал крестьянские дела к обоюдному для нас и помещика удовольствию. Отец и обратился к этому камердинеру с просьбой — походатайствовать перед господином об увольнении его от бурмистерской должности, за что и дал ему 100 руб. Камердинер написал барину, от которого получен был следующий ответ: «Если Шипов станет даже помышлять об увольнении, то я сделаю с ним то, чего он никогда не ожидал: его самого сошлю в Сибирь на поселение, а сына его отдам в солдаты». Прискорбно было нам слышать это известие, и в порыве горести я сказал отцу, что лучше итти в солдаты: за государем служба не пропадет «Нет», с грустью возразил мне отец: «такой разлуки с тобой я не перенесу. Будем жить вместе: какое бы горе и страданье ни случилось с нами, будем терпеть и творить волю господскую. Хорошо бы было, — продолжал отец, — если бы новое положение господина насчет 61 000 оброку было навсегда; но я знаю хорошо нашего барина: он будет недоволен и скоро снова

увеличит оброк. Боюсь, чтобы против моей совести я не сделался крестьянам ненавистен». Потом, после некоторого раздумья, отец сказал: «Да, я буду править дела крестьянские, а ты занимайся торговлею и распоряжайся как знаешь. Ты теперь уже можешь». Скрепя сердце я выслушал это решение отца и ничего не возражал, зная, что уж если что решил он, то так тому и быть.

1824 — 1827 гг.

С 1824 г. я очень часто начал отлучаться из дому по торговым делам. Торговля была попрежнему уральским скотом и пушным товаром. После 1822 г., когда в Оренбургском крае стояла жестокая зима, баранов там много поубавилось и цены на них были не совсем подходящие. И вот я задумал отправиться для покупки скота к букеевским киргизам в барханы.[1] Хотя во время прежних моих поездок я неоднократно имел дело с киргизами и мог немного говорить по-киргизски, но счел за нужное нанять толмача. Таковой скоро нашелся, один из уральских казаков, и я подрядил его за 100 руб. асс. ехать со мною. Мы с этим толмачом и несколькими моими работниками отправилися на повозках в киргизские аулы, верст за 40 от линии, где киргизы почивали в своих кошомных кибитках.

[1] Барханами называются пески с небольшими неровными возвышенностями: они простираются верст на 100, а далее носят название «Рын-пески». В наших обыкновенных повозках ездить по барханам весьма затруднительно. — *Н. Ш.*

Приехали в аул, к старшине, который назывался Бек-Мухамедом-Утемисом. Он нас принял. Я подарил ему чаю и сахару; Мухамед же дал нам особую палатку, угостил меня аряном (кислым молоком) и вареной ягнятиной. Арян мне не понравился, вероятно потому, что он содержится киргизами обыкновенно в сырых кожаных мешках. Скоро мы с Мухамедом сделались хорошими знакомыми. Он пригласил меня с толмачом в гости к своему двоюродному брату, Ковдобаю, который находился в другом ауле, верст за 5 от нашего. Я, разумеется, не отказался. Хозяин нас встретил радушно; мы сидели, покуда не было все прибрано в кибитке для приема гостей. Потом нас пригласили в кибитку. В ней были развешаны ковры: разноцветные сундуки стояли открытыми: на полу также разостланы ковры и положены подушки, на которые мы и сели. Хозяин спросил, что мы будем есть: старого барана или ягненка? Мы согласились на последнее. Жена хозяина была в шелковых штанах и рубахе; голова покрыта платком, на ногах надеты красные киргизские, с большими каблуками, сапоги: это для удобства при верховой езде. Она начала раскладывать из тезека [1] огонь посреди самой кибитки; потом поставила на четырех ножках таган, а на него большой котел с водою. Принесли кожаный мешок, из которого хозяйка вытаскивала говядину или кобылятину и клала в котел. Когда говядина сварилась, она вынимала ее из котла вилкой и накладывала в красную деревянную чашку; хозяин же мелко разрезы-

[1] Тезек, или коровий кирпич, служит обыкновенным топливом у киргизов.

вал ее ножом. После того хозяйка варила ягненка; хозяин и его разрезал на мелкие кусочки. С нами обедали 6 человек киргизов. Хозяин брал всеми пятью пальцами кусочки говядины и угощал ими прямо в рот; гости подползали к нему на коленях, причем старались, чтобы кусок не выпал изо рта, так как в противном случае им было бы стыдно. Для меня хозяин положил говядины и ягнятины в чашку. Затем хозяйка сготовила еще два кушанья: жидкую молочную кашу с сорочинским просом и жареную в масле сметану, что по-киргизски называется «ремчук». Обед продолжался довольно долго. Разговаривали о баранах, о лошадях. Хозяин предложил мне свои услуги: завтра он объедет свой род и объявит, чтобы киргизы приходили ко мне для продажи баранов; при этом будет стараться о выгодной для меня покупке, только я должен ему что-нибудь подарить. Поблагодаривши хозяина, я в свою очередь пригласил его к себе на чай. Он не отказался. Приехали в мою палатку; пили чай. У меня были мягкие булки и пшеничные сухари; я дал их моему новому знакомцу. Он положил их в свою кожаную сумку. Такие сумки киргизы всегда носят при себе на ремне, а русский гостинец роздают понемногу своим женам, детям и приятелям. Настал вечер, и мы отправились к старшине ужинать. На другой день я встал утром рано. Начали собираться киргизы — одни на лошадях, другие на верблюдах, а иные — на быках. Богатые киргизы были в шелковых бухарских халатах, лисьих шубах, в синем или красном чекмене, в лисьих бархатных шапках. У некоторых лошади были в се-

ребряных уборах. Через толмача я стал торговать у киргизов баранов; но они объявили дорогую цену и, не сторговавшись, разъехались по своим аулам. Вечером приехал ко мне мой новый знакомый из киргизов, Ковдобай, и, узнав, что мы не сторговались с его единоплеменниками, обещался завтра уговорить их быть уступчивее. Мы расстались. На следующий день киргизов собралось в мрй табор множество; иные приезжали просто посмотреть на русских людей. Прибыл и Ковдобай. Он просил меня некоторых почетных киргизов напоить чаем и дать им сухарей. Это я исполнил. После того, при киргизах, Ковдобай спросил меня: «Почем даешь, купец, за дюнана, кунана, буйдака?» Дюнан — это самый старый баран, кунан — средний, а буйдак — молодой. Через толмача я ответил, что за первого — 9 руб. 25 к., за среднего — 8 руб. и за буйдака 6 руб. 25 коп. Тогда мой знакомец закричал: «Я согласен на эту цену и завтра же пригоню своих баранов, а другие как хотят». Это подействовало на киргизов, и они разъехались с обещанием пригнать баранов. В продолжение двух дней я купил около 3000 штук, расплатился серебряными деньгами; славно угостил старшину Бек-Мухамеда с Ковдобаем, простился с ними и отправился в Уральск. Здесь я купил еще до 7000 баранов, поручил их приказчикам и рабочим, а сам отправился домой, где мой отец встретил меня с моею новорожденною дочерью. Сердце мое забилось радостно.

Впоследствии мне каждый год приходилось иметь дело с киргизами по покупке баранов на всем пространстве их кочевья до Нового Узеня

и далее. Я даже завел особую торговлю с киргизами красным товаром, который покупал в Москве и в первых месяцах каждого года отправлял его с приказчиками к Уральску, а потом в барханы. По-киргизски я научился говорить недурно. Поэтому мне представлялось возможным довольно хорошо познакомиться с жизнью киргизов.

Киргизы — народ очень любопытный; обыкновенно расспрашивают: кто едет, куда и зачем? Разъезжая по барханам, мы обыкновенно останавливались ночевать близ аулов; это для безопасности, потому что у киргизов существует обычай оберегать своих гостей. На степи рек почти совсем нет; во многих местах вырыты колодцы, к которым пригоняется скот для водопоя; ведра везде кожаные, а корыта сделаны из досок. У некоторых киргизов были большие стада баранов, лошадей, рогатого скота и верблюдов. Я знал одного киргиза, Танинского рода: у него было более 7000 лошадей. Киргизы питаются главным образом овечьим и коровьим молоком; употребляют и верблюжье. Летом они приготовляют молоко для зимы: сушат его на солнце до того, что оно делается твердым, и хранят в кожаных мешках.[1] Такое молоко называется по-киргизски «крут»; его растворяют в воде и едят. Если в дороге киргизу путь лежит аулами, то он ничего не берет с собою съестного, потому что киргизы имеют обычай путешествующего родича

[1] Киргизы вырывают не очень глубокие ямы, в которых коптят сырые лошадиные кожи; из этих кож делают мешки как для твердого, так и для жидкого молока. — *Н. Ш.*

накормить и напоить безмездно. Киргизы никогда долго не остаются на одном месте; как только скот поест траву, они перекочевывают на другое место, отыскивая тучные и привольные пастбища. Зиму они проводят обыкновенно близ Каспийского моря, к западу, с мелким скотом; лошадей же пасут на степи, под надзором старого опытного киргиза. Случается, что во время бурана скот замерзает, но это беда небольшая: киргизец, у которого это случилось, отправляется в отдаленные аулы, где бурана не было; здесь родичи дадут ему вдоволь скота, с тем что если у них случится такое же несчастье, то он должен помочь им. Киргизские свадьбы совершаются таким образом: невест засватывают в малом возрасте, лет десяти; при этом отец жениха дает родителям невесты «калым», т. е. будущее приданое скотом, когда придет время отдавать невесту жениху, то приданое возвращается, и с приплодом; кроме того, отец невесты дает близким родственникам своего зятя разные подарки. В известное время женихи на хороших резвых лошадях и невесты на иноходцах скачут по степи. Каждый из женихов старается догнать свою невесту и схватить ее за грудь. Впрочем, только та невеста позволяет жениху брать себя за грудь, которая жениха любит; в противном же случае бьет его плетью. Когда для женщины-киргизки наступает время разрешиться от бремени, то все ее домашние принимаются отыскивать христианские волосы. На вопрос мой — для чего эти волосы? — мне отвечали, что их должно сжигать во время родов, в кибитке роженицы, от чего облегчаются и ускоря-

ются роды. Вскоре после родов муж режет баранов, созывает гостей, и происходит пиршество.

1828 — 1831 гг.

В 1828 году, вскоре после пасхи, я отправился по обыкновению в Уральский край, на реку Узень, где с моим приказчиком находились гурты баранов. Здесь я получил известие, что от жестокой зимы погибло до 1000 штук. 2 табуна я отправил к Уральску, приказав купить там еще баранов, а сам вознамерился отправиться степями в Астрахань с красною юфтью, которой у меня было более 100 пудов. Хотя меня и отговаривали ехать степною дорогою, где кочуют киргизы, калмыки и трухменцы, но мне непременно хотелось узнать эту дорогу. Я взял 2 повозки, 7 лошадей и 5 верблюдов; при мне находились два приказчика, два работника и один киргизец — опытный по этой дороге вожак. 17 мая мы выехали. Дорога была жесткая. На третий день встретили ужасные пески, называемые рынами, где кочевали киргизы. Этими местами мы ехали несколько дней, совершая не более 15 верст в день. Жара была нестерпимая; лошади уморились и не могли поспевать за верблюдами. В седьмой день нашего путешествия мы получили известие, что невдалеке от нас стоит лагерем букеевский хан и покупает верблюдов по случаю войны с турками. Из любопытства, я с вожаком отправился туда. Хан сидел в палатке с киргизскими старшинами и казачьим майором; конвой его составляли 60 донских казаков. Отдав хану надлежащее почтение, я объявил ему,

кто я. Он несколько времени разговаривал со мною по-русски о нашей торговле и предложил мне купить у него баранов. Распростившись с ханом, приехали к своему каравану. На девятый день нашей езды песку стало меньше, дорога становилась легче и удобнее, но трава повсюду совершенно засохла, воды нигде не было. Ехали еще два дня, и вожак сказал мне, что скоро будет колодезь. Мы с усилием и нетерпением подвигались к этому колодезю, однако воды в нем не оказалось. С досады я начал выговаривать вожаку, что он повел нас такой скверной дорогой, где нет вовсе воды; вожак уверял, что в прошлом году здесь воды было достаточно, а ныне она от необыкновенной жары высохла. Нечего делать: двинулись далее. Мы и лошади выбивались из сил, да и верблюды изнурились. Наконец я послал вожака отыскивать воду, а сами медленно подвигались вперед. Скоро бывшие при нас собаки, должно быть, почуяли воду и побежали, мы — за ними. Спустя немного времени мы действительно увидели воду. Но что это была за вода? Темно-белого цвета, густая, негодная к употреблению не только для людей, но и для животных. Я велел вскипятить эту воду к чаю; но, устоявшись в чае, она превратилась в тесто, и чай нельзя было пить. Тогда я приказал налить воды в котлы и насыпать туда соли; вода приняла обыкновенный цвет и хотя стала соленою, но годною для питья. Мы утолили жажду и отправились далее по назначенной вожатым дороге. Отъехавши верст 10, мы встретили нашего вожака, который объявил, что в недалеком расстоянии находится колодезь с хорошей

водой. При нашей усталости и истощении лошадей мы едва достигли до этого колодезя. Здесь мы отдохнули с истинным удовольствием, дав волю и скоту насытиться кормом и водою. Вода нам показалась особенно вкусною и прекрасною, хотя на самом деле она, быть может, вовсе не была такою. При дальнейшем отсюда путешествии в воде мы не нуждались; но у нас истощались съестные припасы. Дорога стала твердая, жесткая, и мы ехали скорее. Через несколько времени мы увидели калмыцкие аулы. Я послал вожака купить в этих аулах муки и крупы; сами же расположились на удобном месте отдыхать. Это был 14-й день нашего странствования. Солнце склонялось к западу; наступил и вечер, а вожак не возвращался. Я подумал, что одно из двух: или калмыки взяли его в плен, или же он изменил нам и решился предать нас в руки калмыков. Поэтому на ночь я приказал рабочим взять ружья и пистолеты и не спать. Около полуночи послышался топот лошадей и голос каких-то песен. То были калмыки, которые скоро прискакали к нашему табору. Я спросил по-киргизски: «кто едет?» Один из них ответил: «калмык, толмач барма», т. е. калмыки, есть ли переводчик? Я сказал, что нет, и просил их не подъезжать к нашему табору близко, так как в противном случае мы будем стрелять из ружей и пистолетов; если же что им нужно, то они могут переговорить с нами завтра днем, а не ночью, когда ездят одни разбойники. Моя ли угроза подействовала или что другое, только калмыки, поговорив о чем-то между собой, удалились, не причинив нам никакого вреда.

Спустя немного времени возвратился вожак. Я ему рассказал о случившемся; он заметил, что если бы мы пустили калмыков в табор, они непременно разграбили бы нас. В эту ночь спать мы не ложились. Вожатый уверял, что до Сентовской пристани осталось не более 35 верст, что скоро калмыцкие аулы кончатся и начнутся кочевья трухменцев или волжских ногайцев. Это народ смирный и безопасный. Действительно, верст через 15 мы увидели ногайские аулы; они очень отличаются от киргизских. Почти при каждом из них стоят для перевозки небольших тяжестей арбы, или телеги на двух колесах. Убранство в кибитках мне не понравилось. У молодых женщин и девушек в ноздрях повешены серьги. Оставив караван с рабочими и вожаком, сам я отправился вперед; доехал до реки Бузана. Отсюда оставалось до Астрахани 60 верст водяного пути. Плавание по рекам Бузана и Волге на лодке было непродолжительно, и я прибыл благополучно в Астрахань. Через два дня пришли сюда с товаром и приказчики, которых я оставил в ногайских степях. Юфть я разменял на бухарские товары — бумажные и шелковые халаты и кумачи.

Из Астрахани я опять отправился в Уральск, но не степной дорогой, а другой, гораздо лучшей и удобной. Отсюда поехал в Оренбург. Здесь, однако, не пришлось мне купить баранов по случаю дороговизны цен. Так как наступило время Макарьевской ярмарки, то я через Казань отправился в Нижний-Новгород. Прожив три дня и оставив в лавке с пушным товаром приказчика, сам поехал домой.

Здесь я услышал от отца, что к нему в помощники по управлению слободой назначен помещиком дворовый человек Тархов. Это известие было для меня крайне неприятно, потому что Тархов, по какой-то злобе к отцу, а также в видах, может быть, занять его место бурмистра, старался всеми мерами навредить отцу и всему нашему семейству. В настоящее время он распустил слух, что на моем отце состоит большой начет по управлению вотчиною и что поэтому наш скот и все товары будут арестованы. Слух совершенно ложный; но он дошел до купцов, с которыми мы имели торговые дела, как правдоподобный. На Макарьевской ярмарке, куда я вскоре приехал из дому, купцы мне в долг не доверяли, во внимание именно к этому нелепому слуху. Мне стоило больших хлопот и усилий, чтобы поддержать наш кредит. Хотя мне и удалось этого достигнуть, но мы в 1828 г. понесли убытку около 18 000 руб. асс.

В следующем году Тархов продолжал свои коварные происки против моего отца; некоторых из крестьян он подговаривал подавать управляющему Рагузину на отца разные жалобы. Был у нас родной племянник отца и его крестный сын, Раев, которого отец очень любил, чуть ли не больше меня. По наущению и подговорам Тархова этот Раев подал прошение Рагузину о том, что будто бы мой отец не выдал ему всех денег, оставшихся после смерти его матери. Эта неприятность так подействовала на отца, что он сделался нездоров. Торговля наша пошла плохо. Мы получили опять значительный убыток. Оброк с нас не умаляли. За право торговли

*

платили попрежнему 800 руб. асс. в год. Я видел, что если впредь так пойдет дело, то мы совершенно разоримся. Надо было что-нибудь придумать к улучшению своего положения. Но что именно? Мы попробовали обратиться с просьбой к управляющему Рагузину, чтобы он исходатайствовал у помещика мне свободу за 50 000 руб. асс., с тем что отец мой останется крепостным. (Моей мачехи в это время уже не было в живых). Но управляющий наотрез отказался даже докладывать об этом господину. Тогда я задумал бежать из дому и более не возвращаться к отцу. Хотелось попытать счастия на чужой стороне. Это было в конце 1830 г.

Не говоря ни отцу, ни жене о своем намерении, я собрался в дорогу. Взял с собой 13 000 руб. денег. Отцу сказал, что еду в Уральск купить сала и рыбы. Когда я расставался с отцом, сердце мое сильно тосковало; на глаза навертывались слезы, как я ни старался удерживать их. Прощаясь, отец твердил мне: «приезжай скорее». Жена проводила меня до Арзамаса. При прощаньи я взял у нее ее обручальное кольцо, а свое отдал ей. Мне было грустно. Я поехал в Уральск, а отсюда на Узень, чтобы устроить некоторые дела по торговле. 10 января 1831 г. я прибыл в Самару. Здесь встретил одного из наших приказчиков, от которого узнал, что отец мой очень болен и его лечит доктор. Это известие меня поразило. «Если я не приеду скоро домой», думал я, «и обо мне не будет никакого слуху, отец непременно пошлет отыскивать меня в Уральск; здесь меня не найдут, отцу скажут, что я пропал без вести. Он — больной — не пере-

несет удара и умрет; тогда я должен считаться его убийцей». При этой мысли сердце мое обливалось кровью. Жаль было моего доброго отца, не говоря об оставленной жене и шестилетней дочери. Выехал я из Самары с помянутым приказчиком. В дороге я долго боролся с своими мыслями и заливался горючими слезами. Я снова спрашивал приказчика, в каком положении остался отец. Он твердил одно и то же — что отец очень слаб. На третьей станции находился поворот дороги: одна была на Сызрань, а другая в Симбирск. Тут я приказал ямщику остановиться. Сердце мое сильно билось; во мне не было решимости: ехать ли направо, по дороге в дом родительский, или налево — почти неизвестно куда? Наконец я сказал самому себе: «Твори, господи, волю свою! Я не оставлю отца в его тяжелой болезни. Бог даст, он выздоровеет, и тогда свершу задуманное мною дело». Я велел ямщику ехать направо по симбирской дороге.

Дома я застал отца лежащим в постели. У него была водянка. Он сердечно обрадовался моему приезду. В первые дни после этого болезнь стала легче; отец начал поправляться. Но тут неожиданно приехал к нам управляющий Рагузин по поводу новых жалоб на отца, которые были поданы некоторыми крестьянами по наущению Тархова. Это сильно подействовало на отца: с ним приключилась горячка, а через 9 дней моего незабвенного родителя не стало.

Я не буду описывать горести, обуявшей мое сердце. У меня была одна только мысль: что нет более моего дорогого отца — руководителя и со-

ветника моей жизни. Теперь живи, как знаешь; поступай, как умеешь. В то же время я предчувствовал, что враги покойного отца во главе с Тарховым не оставят меня в покое и будут вредить мне. Предчувствие не обмануло меня.

Отдавая последний долг покойному, я устроил пышные и богатые похороны: пригласил архимандрита арзамасского Спасского монастыря, настоятеля Высокороской пустыни Антония [1] и 16 священников с причтами. Народу собралось множество. Во время литургии и панихиды пели певчие; священники говорили проповеди и надгробные речи. На обеде, после погребения, присутствовало более 100 человек родственников и друзей покойного. На могиле был поставлен гранитный памятник, под балдахином с крестом, вызолоченным червонным золотом. Некоторым бедным должникам я простил их долги; роздал нищим и убогим более 100 руб.; выкупил на волю двух бедных девушек. Потом я отправился к управляющему Рагузину и донес, что за покойным отцом не осталось никакого начета по управлению им вотчиной в должности бурмистра.

Вскоре Тархов назначен был преемником моего отца.

Еще за несколько дней до смерти родителя я в видах предосторожности отдал арзамасскому купцу Подсосову 15 000 под векселя, а движимое имущество, наиболее ценное, отправил в 14 сундуках к своим родственникам — дяде Фео-

[1] Ныне наместник Московской Сергиевской лавры. — *Н. Ш.*

ктистову и Потехину. Теперь я рассудил не торговать более скотом и салом. Поэтому 13 котлов из своей салотопни я продал помянутому купцу Подсосову на завод и велел своему приказчику туда их перевезти. Это было 1 марта. В тот же день я приехал к Подсосову. Через несколько времени пришел ко мне приказчик и рассказал, что когда он с рабочими повез котлы, то на дороге несколько человек крестьян, по распоряжению Тархова, их остановили и возвратили ко мне в дом. Я не мало этому подивился. Вслед затем пришел сельский староста, приятель мне и кум, Павельев, с требованием, чтобы я сейчас же явился в контору к Тархову. Контора помещалась у меня в доме, занимая одну из угловых комнат. Я приехал домой, но в контору не пошел, хотя присылали за мной неоднократно.

К вечеру этого дня последовало такое распоряжение: приказчиков и рабочих согнали со двора моего вон; дверь у одного крыльца заперли замком, а к другому крыльцу приставили караул, так что я не мог выйти. На ночь около дома находились тоже караульщики. На другой день Тархов потребовал от меня паспорт; я отдал. Родственников и знакомых ко мне не допускали. Прошло недели две. О таком несправедливом заключении меня я написал помещику и управляющему Рагузину, но никакого ответа или распоряжения от них не последовало. Наступил сороковой день после смерти отца; я хотел помолиться на его могиле. Но мне не позволили исполнить и это. В грусти и унынии проходили для меня дни и ночи.

Ровно через месяц, именно 29 марта, утром я увидел в окно, что караула у моего дома нет. Это было для меня непонятно. Но скоро все объяснилось. В комнату вошел сельский староста Павельев, отдал мне паспорт и письмо от управляющего Рагузина на мое имя. Рагузин писал: «Слободское начальство заметило за вами какое-то сумнение, по которому сделали над вами арест. Я предписал Тархову снять оный и куда вам угодно отлучаться. Распоряжайтесь своею торговлею, как и прежде». Я сейчас же пошел смотреть двор, кладовые, амбары; везде замки были сбиты и много товару расхищено. Написал об этом объявление и послал его в земский суд, а сам отправился в Петербург для личных объяснений с Рагузиным и помещиком.

По приезде в Петербург я остановился в господском собственном доме; здесь жил и Рагузин. Он принял меня ласково, сожалел о моем отце и о случившемся со мною происшествии, обещался взыскать с виновных причиненные мне убытки и восстановить мой кредит. Я плохо верил в обещания Рагузина, но приходилось ждать и надеяться. Притом же еще раз я решился попробовать откупиться у помещика на волю. Както за чаем я начал говорить об этом Рагузину, указывая на то, что если теперь господин не сделает меня свободным, то жить в Выездной мне будет невозможно. За свое освобождение я предложил 25 000 руб. асс. Рагузин с недовольным видом сказал мне, что надобно повременить докладывать об этом помещику, потом прибавил, что я попрежнему прекрасно могу жить в нашей слободе и, может быть, буду на отцов-

ском месте бурмистром. Я решительно возразил Рагузину, что от должности бурмистра навсегда отказываюсь: через то и отец мой умер, не получив от господина за свою службу никакой милости. Тем разговор наш и кончился. Итти к помещику для личного объяснения по моему делу я не посмел, так как это было совершенно против желаний Рагузина. В Петербурге я пробыл дней пять. Ходил в Казанский собор, Александро-Невский монастырь и в Петропавловский собор, где поклонился всем в бозе почившим императорам и императрицам. Я уже собирался ехать обратно на родину, как прошел слух, что 15 мая должен быть на Царицынском лугу смотр войскам, на котором будут присутствовать государь император, наследник и только что приехавший из Тифлиса граф Паскевич-Эриванский. Я дождался 15 мая и утром отправился к Павловским казармам. Войска на плацу было множество, а народу смотреть собралось еще больше. Около полудня приехал государь с Паскевичем верхами, и начался смотр. Наследник в парадной гусарской форме командовал взводом. По окончании смотра народ побежал на плац, где находился государь с наследником и Паскевичем. Мне удалось попасть вперед толпы и довольно насмотреться как на государя с Паскевичем, так и на наследника. У государя взор был строгий, повелительный. Мне показалось, что, видевший раз эти взоры, не мог забыть во всю свою жизнь. На наследника я долго и пристально смотрел и не мог вдоволь насмотреться. Как сейчас вижу: премилый — беленький, круглолицый, румяный, как наливное красное яблоч-

ко, улыбка добрая и невыразимо приятная, на лице выражалось что-то важное, царственное. Предчувствие у меня тогда было, что этот царь будет великий, и покровитель всем угнетенным. На другой день я отправился домой.

1831 — 1832 гг.

В это время мои торговые дела шли плохо, но прекратить торговлю мне было нельзя. Поэтому, приехав из Петербурга домой, я отправил оставшийся у меня пушной товар на Коренную ярмарку (Курской губернии) с приказчиком. Потом, через несколько дней, и сам уехал туда же как будто для продажи этого товара. На самом же деле цель моего отъезда была та, чтобы розыскать шурина моего Степана Ланина. Этот Ланин лет пять тому назад бежал из дому в Бессарабию; потом находился в Валахии; состоял во время похода русской армии маркитантом. Шурина мне надо было отыскать потому, что он своими указаниями и содействием мог помочь мне в осуществлении моего намерения — скрыться из дому, так как это дело ему было хорошо известно по опыту. Где находился мой шурин, я не знал; но мне был известен адрес одного купца в Одессе, через которого Ланин получал письма от родных и знакомых. Так как по случаю холеры торговля на Коренной ярмарке была очень плохая, то я с товаром и приказчиком поехал на Ильинскую ярмарку в Ромны (Полтавской губернии). Здесь продал товару тысяч на восемь; оставшийся товар препроводил с приказчиком в Харьков на Успенскую ярмарку.

Сам я отправился в Одессу, где через известного купца скоро отыскал моего шурина Ланина: он недавно прибыл сюда с вином из Константинополя и торговал в погребе на рыбном базаре. Я объяснил шурину свои обстоятельства и просил его помочь мне бежать из дому. Он согласился с радостью. Тогда я дал ему 2000 руб. асс. на расходы; он обещался приписать меня с женою в Кишиневе или где окажется более удобным и пачпорты лично мне доставить в Харьков на Крещенскую ярмарку следующего 1832 г. Разумеется, все это должно было оставаться в секрете.

Из Одессы я поехал в Харьков, а отсюда домой, куда и прибыл в первых числах сентября месяца. Свое продолжительное отсутствие я объяснял родным и знакомым тем, что по дороге из Ромен, в Полтаве, заболел холерою и долго лечился. На другой день после моего приезда ко мне пришли за оброком на последнюю треть года и требовали 1150 руб. асс. Тогда я послал к управляющему Рагузину слезное письмо, в коем просил его сбавить с меня хотя сколько-нибудь оброка по той именно причине, что в настоящий год я понес большие убытки и разорение. На это письмо мною получен был от Рагузина ответ, чтобы требуемый оброк я заплатил беспрекословно, а когда он сам приедет в слободу, то дело разберет и оброк сбавит. Нечего делать, отдал оброк. После этого чего я мог ожидать от Рагузина по тем обещаниям, которые он дал мне в Петербурге относительно взыскания убытков с виновников моего ареста и разорения и относительно восстановления моего кредита? Разу-

меется, ничего. Мало того. Стороною до меня начали доходить слухи, будто все мое имение скоро будет арестовано, а меня самого, если не отдадут в солдаты, то наверное сошлют в дальнюю вотчину. Быть может, эти слухи были преувеличены, не верны. Но ведь, кто знает? Все может случиться с крепостным рабом. Так мне в то время думалось.

В декабре месяце я начал приготовляться к побегу и сделал последние распоряжения. Решено было ехать мне с женой; семилетнюю же дочь нашу оставить до поры до времени на попечении ее бабушки Ланиной. Наступил новый 1832 год.

Не радостно пришлось мне встретить его...

1832 — 1835 гг.

1 января, ночью, выехал я с женою на почтовых в Харьков. Здесь встретился с шурином моим Ланиным, который привез мне и жене годовые пачпорты под именем кишиневских жителей Григория и Елизаветы Кисловых. Отсюда втроем отправились в Могилев, что на Днестре. Тут с шурином мы условились, что он немедленно поедет в Кишинев, выхлопочет там мне с женою заграничные пачпорты и отправит их в местечко Бричани Бессарабской области, где мы должны уже быть и дожидаться. Сказано — сделано. Шурин уехал. На другой день я подрядил одного жида вести нас до местечка Бричани. Санная дорога уже рушилась, а на колесах ехать было еще нельзя; словом, стояла распутица, так что мы с трудом добрались до Бричани. В этом местечке не оказалось ни одного русского, все

евреи. Нечего делать: наняли квартиру у еврея. Комната оказалась весьма неприглядною, с каким-то особенно тяжелым запахом. Жена моя не видала таких скверных покоев; ей и было противно. Прожили мы тут более недели. Скука была непереносимая. Наступила масленица. Жена каким-то манером ухитрялась печь блины — и это составляло для нас большое удовольствие. В субботу на масленице получен был от шурина заграничный пачпорт, и на другой день мы отправились на молдавскую границу. По переезде границы ночевали у одного молдавана. Потом наняли у него две повозки, уложили на них свое имущество и двинулись в путь по неведомой для нас стране в главный город ее — Яссы. Ехали то горами, то долинами, останавливаясь в корчмах, где ничего нельзя было найти, кроме вина и водки. Молдаванского языка я не знал, да и в деньгах не понимал счету; денег тогда находилось при мне около 14 000 руб. Впрочем, кое-как я изворачивался и понемногу привыкал. Наконец мы прибыли в первый молдавский город — Баташаны. Остановились на постоялом дворе в жидовской корчме. Из повозок мы перенесли свое имущество в большую комнату и сложили в углу.

В этой комнате находилось множество жидов и молдаван полупьяных; тут же продавали водку и вино. Я оставил жену при имении, а сам пошел на базар. В некоторых торговали чисто русские мужички, с бородами. Я обрадовался; вступил с ними в разговоры. Оказалось, что они — закоренелые старообрядцы, давнишние молдавские подданные: отцы и деды их пришли сюда из

России еще во времена Петра I. По их словам, в Молдавии много русских; живут своими селениями, занимаются хлебопашеством и садоводством, особенно же торговлею. Жить им очень привольно, податей платят мало; в рекруты их не берут. Старообрядцы в свою очередь расспрашивали меня про Россию. Я им рассказывал, что для свободных у нас житье хорошее, но господским крестьянам жить очень худо: бедность, барщина да оброки совсем их замучили. Старообрядцы об этом не мало жалели.

В Баташанах мы пробыли менее суток. Отсюда я нанял большой фургон на четверке лошадей до Ясс, куда приехали 1 марта. Остановились на постоялом дворе, в отдельной от других комнате. Наш хозяин умел говорить несколько по-русски. Это мне пригодилось. Я послал о своем местопребывании письма в Москву, Кишинев — к шурину и в Арзамас к родственникам. Потом объявил свой пачпорт русскому консулу.

Яссы — город обширный и многолюдный, улицы кривые, узкие, грязные. Окружен фруктовыми и виноградными садами. В городе много церквей; есть митрополия, в которой живет митрополит. В церкви Иоанна Предтечи почивают мощи св. Парасковии. Старообрядцев, вышедших из России, здесь было довольно. Жили и скопцы. Молдаване употребляли больше хлеб, под названием мамалыга.[1] Чай, сахар, хлеб, особенно фрукты и вино были дешевы. Например, фунт обыкновенного чаю стоил 50 коп., а цветочный — рубль сер. Достоинством этот чай хуже

[1] Это хлеб, приготовляемый из кукурузы; на вкус довольно неприятный. — *Н. Ш.*

кяхтинского; жиды в большом количестве тайно провозили его в Россию.

Перед пасхою я получил от одного арзамасского родственника письмо с известием, что гонитель мой — бурмистр Тархов — наконец понял, что я бежал, о чем и подано объявление; мой дом со всем находившимся в нем описали. Моему тестю и теще начали делать относительно меня строгие допросы, с разными угрозами, и при доме их поставили караул, чтобы я не увез как-нибудь своей дочери. Это известие сердечно нас опечалило. Наступила пасха. В светлое воскресенье ходили к заутрене в русскую церковь, а к обедне — в митрополию, где евангелие читали на 12 языках. Скучно и грустно проводили мы этот великий праздник. Молдаване находились более в корчмах, пили вино, плясали, а цыгане играли на каких-то инструментах: музыка выходила странная. При корчмах были качели, где жиды продавали разные фрукты. Но все это не веселило нас. К довершению горя, я получил из Арзамаса известие, что слободское начальство послало троих крестьян нас разыскивать. Тогда мы отправились в город Галац, стоящий на берегу реки Дуная, где находится пристань морских судов, приходящих из Греции и Турции. Здесь мы встретились с шурином Ланиным, который задумал ехать в Константинополь для покупки товаров. Я хотел последовать его примеру, но моя жена боялась морского плавания, а оставить ее было не с кем. Поэтому мне не пришлось ехать. Тогда мы условились с шурином таким образом: я дал ему собственных денег 6000 руб. под расписку (которую не нашли

нужным засвидетельствовать у русского консула), и он купленный в Константинополе товар пришлет в Одессу; а я отправлюсь в Ромны на ярмарку, чтобы получить, по доверенности от шурина, с некоторых купцов деньги около 4000 руб. При этом я надеялся разведать: действительно ли посланы из Выездной слободы за мною сыщики и, буде посланы, то кто именно? После этого мы возвратились с женою в Яссы. Здесь я оставил жену у одного знакомого скопца — Дубровина; купил 6 фунтов розового масла по 100 руб. за фунт, надеясь выгодно продать его в России, и отправился через австрийскую границу в город Черновиц. Я думал провезти масло тайно, не платя никаких пошлин; но это мне не удалось; масло мое таможенные чиновники открыли, арестовали и вместе со мною препроводили в Черновиц. Я смекнул, что дело может быть худо, и потому через переводчика Ламиковского показал комиссару всю правду. Масло свесили, выдали мне в принятии его расписку и отпустили меня с миром. Так как Ламиковский уверил меня, что масло будет мне возвращено, только не скоро, то я выдал ему доверенность хлопотать по этому делу, а сам поехал через Каменец-Подольск в Ромны. Здесь денег по доверенности шурина получить мне не пришлось, но я узнал достоверно, что меня разыскивают. За поимку меня Тархов обещал 1000 руб. Я стал осторожен; переменил свой костюм, бороду сбрил, волосы остриг по-немецки, выходил только по вечерам. Но все-таки долго оставаться здесь мне было небезопасно; поэтому, сделав кое-какие распоряжения, я поспешил в Яссы.

Через несколько времени я получил из Константинополя от шурина письмо, в котором извещал, что он купил бакалейного товару на 7000 руб. и отправил его в Одессу на имя одного тамошнего купца. Почти в то же время дошло до меня известие от арзамасского родственника Потехина, что на оставшиеся у него мои деньги, около 5000 руб., он купил 100 пудов юфти и препроводил ее в Одессу к известному мне купцу. Кроме того, Потехин уведомил меня, что Тархов послал крестьянина нашей слободы Павельева меня разыскивать, уполномочив его особой доверенностью, в которой было сказано, что я ушел с большим имуществом и деньгами; но чьи эти деньги и имущество — помещичьи или мои собственные, — того в доверенности не значилось. Получивши такие известия, я начал думать о моей поездке в Одессу, так как присутствие мое там было необходимо. Однако эту поездку пришлось мне на время отложить. Был у меня знакомый, прежде меня бежавший из нашей слободы, крестьянин Кожевников; он так же скрывался, как и я. Время от времени мы с ним виделись, вели между собою секретную переписку по моим делам; за услуги и хлопоты я платил Кожевникову хорошо. В то время он находился в Одессе. Вот от этого-то Кожевникова я и получил письмо, в котором он извещал, что крестьянин Павельев приехал в Одессу с целью непременно разыскать меня или его самого. Я немедленно известил Кожевникова, чтобы он приехал в пограничное местечко Скуляны для личного со мною объяснения. Тут мы условились, что Кожевников будет в свою очередь

следить за Павельевым, потом наблюдать за моим товаром, присланным из Арзамаса, а также и относительно дел моего шурина, и обо всем уведомлять меня без замедления. Я дал Кожевникову 25 червонцев, и он уехал в Одессу.

Скоро я начал получать от Кожевникова известия, одно за другим, но не радостные, а грустные и печальные. Так, я узнал, что приказчик, с которым прислана была моя юфть из Арзамаса, тайно продал ее и с деньгами скрылся неизвестно куда. В одесском городском правлении было получено из русского консульства в Константинополе сведение, что шурин мой Ланин помер от свирепствовавшей там чумы; а так как в бумагах покойного не найдено никакого распоряжения об оставшемся после него имуществе, то положено его продать и деньги отдать в приказ общественного призрения. Это известие меня очень опечалило, потому что главная моя надежда была на шурина. Я не знал, что делать. Думал немедленно отправиться в Константинополь сам, но многие причины тому воспрепятствовали: и дальность пути, и дороговизна, и тамошняя чума. К тому же жена моя ходила последнее время беременности. Словом, ехать в Царьград оказалось невозможно. Наскоро выхлопотал я на имя известного купца доверенность, послал ее вместе с распискою покойного шурина на 6000 руб. в Одессу к этому купцу и просил его хлопотать о получении денег. Затем все дело это представил воле божией.

Тяжело у меня было на душе... 19 января 1833 г. у меня родился сын, которого назвали Николаем. Этому я очень обрадовался, но ра-

дость моя омрачилась печальными думами. Незадолго перед этим мой арзамасский родственник прислал мне письмо, в котором извещал, что по приказанию слободского начальства нашу дочь взяли от ее бабушки и отправили в ту вотчину, где проживал управляющий Рагузин. Какая цель имелась в виду при таком распоряжении, мне было неизвестно; но я живо представлял невеселую жизнь дочери и ничего не мог сделать к облегчению ее участи. И новорожденного сына моего, что ожидало в будущем? Правда, я надеялся устроить как-нибудь жизнь свою к лучшему; не век же я буду находиться в гонении и преследовании от моих недругов. Но когда настанет это дорогое времечко? . .

На масленице я получил из Одессы от Кожевникова известие, что сыщика моего Павельева там нет и, вероятно, он отправился в Кишинев. Полагая, как бы не пожаловал этот неприятный гость ко мне в Яссы, я переговорил об этом с своим хозяином Дубровиным, дал ему 2000 руб. денег и просил его, буде окажется нужным, оградить меня от поисков Павельева. Тот согласился. Прошло несколько дней. Однажды Дубровин прибежал ко мне в комнату, встревоженный, и сказал, что он видел Павельева с каким-то неизвестным ему мужчиною и консульским служителем; они идут, вероятно, сюда. Надо было как-нибудь скрыться. Тотчас же снарядили жену с ребенком, посадили ее на дрожки и приказали ехать к одному нашему знакомому скопцу. Затем мы условились с Дубровиным, чтобы он говорил Павельеву, что я уехал

в Константинополь, а имущество заложил у него за 4000 руб. Я запер комнату, отдал ключ Дубровину, а сам спрятался в сарай на сено. Спустя немного пришел на двор Павельев с несколькими лицами. Дубровин к ним вышел навстречу. (Я наблюдал через небольшое отверстие в стене сарая).

— Где Кислов[1] и его квартира? — спросил Павельев Дубровина.

— Он уехал в Царьград, — отвечал Дубровин, — а квартира его здесь. Ключ от комнаты у меня. Имущество свое он оставил у меня в залоге за 4000 рублей.

— Я сегодня сам видел Кислова, — говорил Павельев, — он должен быть здесь.

— Если ты видел его, — сказал Дубровин, — то почему же не взял его и не представил в консульство?

— А где жена Кислова?

— Я почем знаю. Спроси у мужа.

Тут кто-то сказал Павельеву, что жену мою отвезли к одному скопцу. Пошли искать жену, но ее, разумеется, не нашли. Когда Павельев ушел, я вылез из сарая и на своей квартире не остался, а отправился к знакомому скопцу Александровскому. Скоро многие из скопцов узнали об этой нашей истории, приняли в нас участие и всячески старались скрыть меня и жену с ребенком от Павельева. Так, у скопцов, у того или другого, мы и скрывались несколько времени. Но потом это оказалось неудобным по той причине, что у скопцов в домах детей нет;

[1] В это время я жил под фамилией Кислова. — *Н. Ш.*

а у нас был ребенок. Тогда мы решились оставить Яссы. При помощи и содействии знакомых скопцов мы скоро собрались в дорогу: они выхлопотали у прусского консула пачпорт на имя прусского подданного Петра Иоганна с женой Александрою и сыном Николаем, т. е. теперь я стал уже прусским подданным; купили для нас фургон и пару лошадей, снабдили провизией и дали рекомендательное письмо к игумену Пунгарацкого монастыря Константину; в провожатые нанят был молдаван, верхом. 2 марта мы распростились с гостеприимными скопцами и отправились в путь.

Ехали мы на город Тыргофармос; отсюда отъехали еще верст 50 и ночевали в молдаванской деревушке. Утром мы увидели Карпатские горы, вершины которых покрыты снегом, а ниже клубились облака. Вид был величественный и прекрасный; мы любовались довольно. Потом проехали через город Кятр, и за него верст 20; дорога пошла в гору; мы подвигались вперед медленно. Наконец увидели церковь и вокруг нее разбросанные молдаванские небольшие домики. Это — монастырь Пунгараци.

Игумен монастыря, отец Константин, принял меня ласково. Я ему по-молдавански объяснил, что со мною жена и малое дитя, что мы приехали сюда говеть и что поэтому нам нужно где-нибудь поместиться. Отец Константин приказал приготовить для нас особую келью, или комнату, и мы стали жить. Чрез неделю я с женой начали говеть; исповедались и приобщились св. тайн. Странно: просфоры были из чеоной муки, должно быть потому, что белой муки здесь вовсе

нет или трудно ее достать. Наступила пасха. В первый день, после обедни, в 10 часов утра отец Константин прислал к нам монаха просить нас на обед. Мы пошли. Обед был скоромный, с мясом; приготовлен хорошо и со вкусом. В Молдавии не так, как у нас: монахи едят скоромное и мясо, разумеется, кроме постов. Праздник проводили довольно скучно. Впрочем скуку разгоняли тем, что выходили из монастыря на прогулки по окрестностям. Тогда была там уже настоящая весна, с ясным солнышком, теплым, приятным воздухом, цветы расцвели, деревья покрылись зеленью. Вид окрестностей монастыря был прелестный; особенно мы любовались Карпатскими горами, которые на необъятном пространстве высились к небесам. В этих горах находится много камней, употребляемых на мельницах. Иногда прогуливались и вместе с отцом Константином; он любил ходить на реку Быстрицу, которая протекает в 3 верстах от монастыря; она впадает в Дунай. Вода в этой речке так быстра, что вполне оправдывает данное ей название. На берегу реки живет постоянно рыболов, который собственно для монастыря и ловит рыбу, называемую здесь ласташ. Эта рыба видом похожа на нашу лососину; но вкус имеет другой, особенный. Если ласташ попадался крупный, например более аршина, то отец Константин посылал его в Яссы митрополиту.

На Фоминой неделе встретилась надобность отцу Константину съездить в Яссы. Я воспользовался этим случаем и известил скопца Дубоовина с товарищами, чтобы сообщили мне о Павельеве и выхлопотали другой паспорт для проезда

в Россию через австрийские владения. Спустя несколько дней отец Константин возвратился из Ясс; привез мне денег 330 червонцев (с небольшим 4000 руб.) и письма с паспортом на проезд Николаю Николаеву через австрийскую границу в пределы России. Деньги 4000 руб. были присланы на имя Дубровина одним моим приятелем из Москвы, для передачи мне; они получены от купца Подсосова, у которого я оставил перед бегством из дому 15 000 руб. Дубровин писал, что Пазельева в Яссах нет; ему кто-то сказал, будто я нахожусь в Бухаресте, и он уехал туда. Это известие для меня было как нельзя более кстати. Немедленно мы собрались в путь; 1 мая распрощались с монастырем Пунгараци и с его добрым игуменом отцом Константином.

Переехав благополучно австрийскую границу, мы остановились в городе Сычаве и прожили здесь около месяца. Город небольшой, но красивый и приятный. В одной молдаванской церкви покоятся нетленные мощи Иоанна Сычавского. Недалеко от этого города находится известное у наших раскольников селение Белая Криница (по-молдавански Фонтын-Альба); тут живет старообрядческий митрополит с разрешения австрийского правительства. Житье здесь раскольникам было привольное, льготное. Из Сычавы мы поехали через город Серет в Черновиц. Этот последний город мне был известен по случаю моего пребывания в нем в прошлом году. Здесь я узнал от переводчика Ламиковского, что дело о моем арестованном розовом масле, будто бы, поступило в высшую инстанцию и скоро решится в мою пользу. Я был рад этому.

Из Черновиц мы поехали Бессарабиею в Могилев на Днестре и через Балту в Одессу. Здесь я узнал, что оставшийся после шурина моего товар продан; деньги 7100 руб. асс. положены в приказ и получить их можно только по истечении годичного срока публикации о вызове кредиторов и наследников. Денег у меня оставалось мало, а получение их в скором времени не предвиделось. Тут я вспомнил, что бежавший из нашей Выездной слободы, лет 30 тому назад, крестьянин, дедушка моей жены, Марков, живет ныне в Симферополе. Не долго думая, мы отправились туда. Ехали через Николаев в Херсон. Этот последний город, по своему красивому виду и местоположению, мне очень понравился; впоследствии, много лет спустя, он сделался как бы второю моею родиной. Из Херсона отправились в Бреславль, а отсюда в Перекоп и Симферополь. Здесь я скоро разыскал дедушку Маркова. Он был очень рад нашему приезду. Оказалось, что он знал историю моего бегства из дому; трое крестьян из нашей слободы разыскивали меня в Симферополе и расспрашивали обо мне самого дедушку; разумеется, он не мог сообщить относительно меня никаких сведений. Я занял у дедушки 500 руб. асс. и выдал ему открытое письмо — получить эти деньги от моего московского приятеля. В Симферополе мы прожили недели две и опять поехали в Херсон. Здесь мы расположились перезимовать в виду того что этот город стоит как будто в стороне, и Павельев, мой неутомимый преследователь, мог сюда не заглянуть; притом же я ожидал денег от московского приятеля и изве-

стий из Ясс от Дубровина. Наконец из Херсона мне удобно было следить за делом моего шурина, производящимся в Одессе. В Херсоне мы прожили спокойно и благополучно до весны 1834 г. Потом мы поехали в Бессарабию, к австрийской границе, но это путешествие оказалось совершенно бесполезным; только в одном селении мы чуть было не встретились с Павельевым, который проезжал из Черновца через Кишинев в Одессу. Из Бессарабии мы отправились в Лубны (Полтавской губернии) на ярмарку. Тут я решил ехать на Кавказ. Накупил некоторых товаров, особенно кожевенного, и препроводил это с приказчиками, при обозе донских казаков, в город Новочеркасск. Здесь купил я 1000 бутылок черкасского вина, и со всем товаром отправились на волах далее, до Ставрополя. Ехали степями, дорога была трудная, подвигались по ней медленно. В Ставрополе я выправил у губернатора паспорт для проживания на Кавказе. Затем мы отправились через Георгиевск в Пятигорск, где я намеревался пожить подольше, заняться торговлею или вообще чем приведется. Еще далеко не доезжая до Георгиевска, мы увидели гору Бештау, а за нею — хребет Кавказских гор наподобие облаков. Гора Бештау была видна нам на расстоянии слишком 170 верст. Название ее — татарское и означает пять гор, т. е. 1) собственно Бештау, 2) Верблюд, 3) Лысая, 4) Змиева и 5) Машук, из которой вытекают минеральные горячие воды. В конце октября месяца мы прибыли в Пятигорск. Я явился с паспортом к коменданту и полицеймейстеру, которые приняли меня вежливо и обласкали. По-

том я нанял на базаре лавку с квартирою, сроком на год. Перебрались мы в это помещение и, с разрешения коменданта, начали помаленьку торговать.

1835 — 1836 гг.

Прошел год. Во все это время ни слободское начальство, ни преследователь мой Паскельев меня не тревожили, и я спокойно занимался торговлею: ездил в Моздок и Кизляр для покупки местного вина, под именем чихиря, и так называемой кизлярской водки,[1] а также свежей рыбы шамаи, которую солил и коптил по способу, употребляемому армянами; приготовлял «шашлык»,[2] прочий же товар для лавки выписывал большей частью из Москвы. Торговля моя шла довольно успешно, так что я заявил уже желание приписаться в пятигорские купцы и представил соответствующий капитал; но дело это почему-то затянулось в Ставрополе, в областном управлении.

Благодаря моей торговле я познакомился со многими лицами и в том числе с сотником донского полка Василием Сухоруковым. Это был человек умный, ловкий, предприимчивый и пользовался большим уважением. Он снимал на Кавказе почтовые станции, брал казенные подряды и вообще пускался в разные коммерческие предприятия. Вот этот-то Сухоруков предложил мне

[1] Чихирь, красный и белый, обыкновенный, я покупал по 1 р. 60 к. асс. за ведро, а водку по 5 р. Чихирь старый, например десятилетний, был несравнительно дороже.

[2] Это — жареная на вертеле баранина; «шишлык из тюрятины» — значит: из мяса дикого *горнкаго* барана.

быть у него как бы комиссионером, с жалованием по 1000 руб. асс. в год, и, кроме того, 2000 руб. для торговли по моей лавке. Это предложение было как нельзя более мне по сердцу, и я согласился. В это время объявлены были торги на казенные нефтяные колодцы, находящиеся в горах близ крепости Грозный. Сухоруков пожелал снять эти колодцы и поручил мне сначала съездить на торги в Ставрополь, а потом на самые колодцы и заняться нефтяным делом. Это было в начале 1836 г. Для своей лавки я нанял приказчика и его, вместе с моей женою, оставил торговать, а сам отправился исполнять приказания Сухорукова.

На торгах нефтяные колодцы остались за Сухоруковым, и я поехал в Грозную крепость; здесь принял от полковника колодцы, распорядился с рабочими по переливке нефти из колодцев в бочки и приказал отправить на станцию Наур, куда через несколько времени прибыл и я для следования с нефтью на ярмарки — в Моздок, Екатериноград и Егорьевск. На этих трех ярмарках мною продано было нефти довольно много и выгодно. После того я возвратился в Пятигорск с отчетом Сухорукову, который остался мною доволен и просил меня найти мастера для выгонки из черной нефти белой. Мастер скоро отыскался, и он поднялся за дело при нефтяном складе в станице Наур.

Спустя немного времени, именно в мае месяце, Сухоруков послал меня в разные южные города России и на австрийскую границу для узнания цен на белую нефть и для запродажи как ее, так и черной нефти. Ехал я на почтовых через

знакомые мне города — Ставрополь, Ростов-на-Дону, Таганрог, Херсон и Одессу, отсюда — на Скуляны и Каменец-Подольск, а потом через Староконстантинов и Дубно в Радзивилов. Здесь я нашел одного еврея-фактора и послал его с пробной нефтью за австрийскую границу, в местечко Броды, разведать, не требуется ли там нефть. Между тем я узнал, что верст за 30 отсюда находится Почаевский монастырь, с явленною иконою божией матери, известной под именем Почаевской. Не долго думая, поехал я в Почаев. Монастырь стоит на горе, окружен большим лесом. Явленная икона божией матери поставлена на алтаре, за престолом; посреди храма находится камень, на котором, по преданию, пресвятая богородица стояла своими святыми стопами. Из камня вытекает каплями вода, которую собирают в особый большой сосуд; при молебнах с водосвятием вливают несколько капель этой воды и раздают богомольцам, чего удостоился и я.

Из монастыря я возвратился в Радзивилов и от еврея-фактора узнал, что в Бродах нефть никому не требуется. Тогда я отправился через Кременчуг, а отсюда на Роменскую ярмарку и в Харьков; здесь продал нефти достаточное количество и прибыл в Ставрополь, где находился в это время Сухоруков. Я отдал ему отчет о моей поездке, после чего он отправил меня покупать житную муку по Пятигорскому округу для взятого им казенного подряда. Скоро я прибыл в Пятигорск и через три дня собрался ехать в Кисловодск. В это время пришел ко мне один из хороших моих знакомых, бывший полицейский

письмоводитель в Пятигорске, Кастыченко. Узнав от него, что он едет в Кисловодск, я попросил его купить там ржаной муки, четвертей 200, так как самому мне для такой малости ехать туда не хотелось: я рассчитывал купить муку в Егорьевске и в селениях по реке Куме. Кастыченко согласился. Я дал ему 200 руб. на задаток и свою верховую лошадь черноморской породы. После этого мы расстались, и я отправился на Куму. Купив значительное количество муки в селениях, я прибыл в Егорьевск, где услыхал, что несколько дней тому назад (дело было в половине октября месяца) на Кисловодск напали ночью черкесы, казаков на посту порубили, разграбили и сожгли станицу; несколько человек взяли в плен. Этот слух сильно поразил меня и встревожил: что сталось с Кастыченко? Ведь так возможно было мне самому быть на его месте! Я немедленно поехал в Пятигорск, а отсюда в Кисловодск; здесь я узнал, что слух о набеге сюда черкесов был справедлив, Кастыченку с моею лошадью черкесы увели в плен. И то сказать: набеги разных горских хищников на мирных жителей в тех местах и в те годы случались нередко.

В это время Сухоруков получил из Тифлиса, от почт-инспектора Клемента, письмо с известием — не желает ли он принять участие в торгах на снятие почтовых станций во всей Грузии. Сухоруков призвал меня и сказал, чтобы я ехал в Тифлис на торги, но не для того, чтобы действительно снять станции, а с той целью: не удастся ли мне взять с почт-содержателей сколько-нибудь денег в его пользу? Эта задача была для меня трудная, да и дорога предстояла

неизвестная для меня, а главное — опасная. Однако раздумывать мне было некогда: Сухоруков торопил меня отъездом. Я взял денег у Сухорукова, простился с женою и сыном и 17 октября отправился в путь по эстафету.

На закате солнца я приехал в Екатериноград. Так как у меня было рекомендательное письмо от Сухорукова к тамошнему почтмейстеру, то он немедленно дал для меня верховую лошадь и вытребовал в провожатые мне десять казаков с урядником и столько же солдат с унтер-офицером, — это для безопасности от нападения ночных хищников. С таким конвоем я отправился. Переехали реку Малку через мост. Ночь была лунная, ясная, звезды сверкали как бриллианты; тут и там возвышались серебристые исполинские горы, между которыми резко выделялись Казбек и величественный Эльбрус. В левой стороне шумел бурливый Терек. Мы ехали тихо, молча, прислушивались к каждому шороху или малейшему звуку. Я невольно предался своим думам, думам грустным. Что делается на моей дорогой родине, там, где протекает Волга многоводная, где раскинулись Уральские степи привольные? И где я теперь влачу жизнь мою? В Кавказских горах, в опасности от хищников, ежеминутно ожидая смерти... О, свобода, свобода! Где те люди счастливые, под какою планетою родились, которые не видели и не видят никакого гонения, никакого стеснения? Живут они по своей вольной волюшке и ничего не боятся. А я?.. Мне постоянно, во сне и наяву, представляется, что меня преследуют — в темницу сажают, деньги мои отбирают, жену с сыном и

дочерью со мною разлучают, в доме моем повелевают и все по своему распоряжению; из отчизны милой в изгнание посылают и на прах родителей пролить слезы не допускают... Незабвенный родитель! Встань и посмотри на сына своего, тобою столь много любимого. Что с ним?.. Вот-вот набег хищников, — и разрубят меня горцы своими острыми шашками, тогда окровавленный труп мой не будет лежать возле твоего милого праха и никто не придет оросить родными слезами мою одинокую дальнюю могилу. Разве только какой-нибудь проезжий путник, подобно мне, увидит мой бугорок могилки и скажет: «Вот здесь лежит, верно, какой-нибудь несчастный, убитый хищниками». Тяжело и грустно мне было; слезы невольно катились с глаз... Тут унтер-офицер прервал мои размышления, начал рассказывать, что дня четыре назад, на этом самом месте, хищники убили одного ротного писаря и ямщика, ехавших из Ардона в Екатериноград. Я сказал унтер-офицеру:

— Может быть, и нам будет такая участь?

— Да, — отвечал он, — если набежит на нас большая шайка горцев.

Я струсил не на шутку. Однако через несколько времени прибыли благополучно в укрепление Ардон. Здесь мне тоже дали конвой из 12 казаков, и я поехал далее. На рассвете прибыли в укрепление Манарет. Тут я немного отдохнул, подкрепил себя в духане пищею и опять-таки с казаками отправился до следующей станицы. Так я доехал до Владикавказа. Отсюда опасности от горцев не предвиделось, и потому мне посоветовали взять с собой только

одного казака. Отправились мы, переплыли шумный Терек на пловучем мосту и въехали в самые горы Кавказские. Дорога неприметно повышалась, то извиваясь узкой полосой по берегу Терека, то пролегая между страшных каменистых утесов, нависших над головою путешественника. С непривычки кажется, что эти утесы вот-вот сейчас обрушатся: страшно становится, сердце сильно бьется и творишь молитву, желая одного — как бы поскорее миновать эту скалистую дорогу. Доехали до селения Казбек, расположенного близ горы этого названия, которая возвышалась над селением в несколько верст; на вершинах горы висели огромные сугробы снегов, как бы готовых обрушиться и задавить это небольшое селение. Отсюда я поехал уже в повозке, на тройке лошадей. Тут дорога изменилась к лучшему только немного. Со станции Пасанаур она стала заметно скатистою с гор на обширную равнину, до самого города Тифлиса. С левой стороны стояли высокие утесы, а с правой — страшные обрывы с долинами внизу, где заметны были селения, пасущийся скот и люди. Все это казалось столь малым, как маленькие детские игрушки. По местам дорога была так узка, что мы с трудом проезжали по ней; я обыкновенно вылезал из повозки, так как упасть ей в обрыв было очень легко. Но вот мы спустились на станцию Ананур, дорога стала не так крута, и мы поехали рысью до города Душет, а отсюда прямо в Тифлис.

Нимало не медля, я отправился к почт-инспектору Клементу и подал ему письмо от Сухорукова. Он принял меня радушно, видимо был

рад, что Сухоруков прислал меня для снятия почтовых станций в Грузии и, между прочим разговором, серьезно спросил меня: действительно ли найдутся у Сухорукова лошади, если станции останутся за ним, и может ли он содержать их? Я, помня приказ Сухорукова, отвечал на это утвердительно. Тогда Клемент обещался сделать для меня все, от него зависящее.

Между тем съехались в Тифлис почт-содержатели, повидались с Клементом и узнали от него, что я, как поверенный Сухорукова, приехал с непременным намерением снять все станции в Грузии. Они желали переговорить со мною и для свидания назначили дом одного почтодержателя. Клемент, сообщив мне об этом, выразил мысль, что если бы почт-содержатели предложили мне порядочную сумму денег, то можно бы торги оставить и без хлопот возвратиться к Сухорукову. Я это замотал себе на ус и в назначенный день вечером отправился на свидание с почт-содержателями. Меня попросили в большую залу, где были армяне, грузины, татары — человек 30. Я раскланялся, и мне предложили сесть на диван. Тут находились какие-то князья, другие — с золотыми, серебряными медалями, словом — все лица важные, представительные. Некоторые из них знали Сухорукова лично, спрашивали об его здоровье, делах и потом повели разговор насчет предстоящих торгов. Я им решительно заявил, что приехал снять станции, так как у Сухорукова лошадей много, и он ни в чем не нуждается. Подали чай, затем ром. Я сказал, что крепких напитков не пью. Все очень этому удивились и высказали: не может быть,

чтобы русский ничего не пил. Потом разными намеками стали говорить мне, чтобы я не вмешивался в торг, за что предлагали денежную благодарность. На это я сказал: если вы хотите, чтобы я не мешал вам на торгах, то дайте мне 10 000 руб. сер. Они положительного ничего не говорили и стали угощать меня разными европейскими винами, закусками и, наконец, шампанским. Увидев, что я упорно отказываюсь от их угощения, перепились сами и с тем все разъехались.

На другой день явился я к Клементу и рассказывал, что было на свидании с почт-содержателями. Он похвалил меня и сказал:

— Теперь я буду делать все в пользу Сухорукова и на то употреблю все свои силы. Если скоро он не вышлет тебе денег, то я могу дать тебе своих тысяч до десяти; на них ты пока будешь покупать здесь ячмень, сено и саман (ячменную солому). Только вот что: скажи мне откровенно — сдержит ли Сухоруков станции? Ведь к 1 января (1837 г.) надобно выставить на все станции 360 троек лошадей и 360 русских ямщиков. Если он этого не сделает, что я тогда скажу барону Розену.[1] Ведь я подвергнусь большой неприятности и даже могу попасть под суд.

Я, видя такие добросердечные чувствования и расположение Клемента к Сухорукову, затруднялся в своих мыслях. Знаю, что Сухоруков послал меня только с обманом; но придется ли мне взять что-нибудь с почт-содержателей — неизвестно. А завтра торги; время коротко. Я сказал Клементу:

[1] Барон Розен был в это время главнокомандующим в Грузии. — *Н. Ш.*

— Василий Михайлович, я вижу ваши добрые намерения. Но если я вам скажу всю правду и Сухоруков о том узнает, ведь мне будет беда.

— Не беспокойся, — живо возразил мне Клемент, — я буду защищать тебя от нападок Сухорукова.

Тогда я признался Клементу, что у Сухорукова нет ни денег, ни лошадей и что он вовсе не намерен снимать станции. Клемент остался этим очень доволен, велел мне явиться на торги только для проформы и обещался взять что-нибудь с почт-содержателей в мою пользу.

На другой день состоялись торги, но барон Розен их не утвердил и отдал все почтовые станции в Грузии своему любимцу, грузинскому купцу Зубалову, впрочем с большой уступкой в пользу казны.

В Тифлисе я прожил до половины ноября месяца. Денег у меня оставалось мало, а Сухоруков не присылает. Тогда Клемент дал мне денег на путевые издержки, и скоро я оставил Тифлис. В дороге пришлось пробыть довольно долго, потому близ Екатериноградa я просидел 14 дней в карантине. По прибытии в Пятигорск явился к Сухорукову и отдал справедливый отчет о своей поездке. Сухоруков на этот раз худого мне ничего не сказал, но скоро обнаружились его худые против меня замыслы.

1837 — 1841 гг.

В январе месяце стали доходить до меня слухи, что Сухоруков вел переписку со своими тифлисскими приятелями относительно того: не взял

ли я сколько-нибудь денег с почт-содержателей, будучи на торгах в Тифлисе? Пока слухи эти ничем не подтверждались. Но вот в половине апреля Сухоруков призвал меня к себе на квартиру и сказал, что я получил от почт-содержателей 4000 руб. асс. При этом он подал мне письмо, полученное им от отставного полковника Городинского. Разумеется, я утверждал, что Городинский написал обо мне неправду. Тогда Сухоруков предложил мне сделать сейчас же следующее: написать жене моей письмо, что будто бы я уехал по делу Сухорукова в Егорьевск и чтобы она прислала мне деньги с подателем — нашим общим знакомым, прапорщиком Главацким. Ничего не подозревая, я исполнил это требование Сухорукова, и Главацкий отправился с письмом к жене. Через несколько времени он возвратился и в другой комнате о чем-то переговорил с Сухоруковым. После этого Сухоруков вышел ко мне и сказал:

— Ну, Николай Николаевич, верно правда, что Городинский наврал про вас, потому что у вашей жены не оказалось никаких денег. Я это и без того знал.

Мы с Сухоруковым расстались друзьями. Когда я пришел домой, то жена моя не мало дивилась происшедшему и рассказала, что так как у нее денег не было, то он пошла к одному знакомому занять денег, а Главацкого просила подождать ее; но знакомого не застала дома и вернулась ни с чем. После того Главацкий ушел. Я посмотрел в столовый ящик, где обыкновенно хранились у меня разные бумаги и документы: многих из этих бумаг, особенно касаю-

щихся Сухорукова, не оказалось; пропал также лежавший тут же бриллиантовый перстень. Тогда я понял проделку со мною Сухорукова и Главацкого. На другой день мною подана была об этом жалоба коменданту Симборскому с целью оградить себя от происков и притеснений Сухорукова. Но после я каялся, что подал эту жалобу. Дело в том, что Сухоруков, узнав о моей жалобе, сильно на меня разгневался и решился во что бы то ни стало сделать мне зло. Начальник Кисловодской линии, барон Ган, храбрый воин и человек во всех отношениях почтенный, был коротко знаком с Сухоруковым. Последний упросил Гана послать тому же коменданту Симборскому такую бумагу, что будто бы пойманы двое хищников, при коих найдено 10 фунтов пороху, и они показали, что порох этот куплен ими у меня в лавке, где его имеется достаточное количество, и что поэтому следует сделать у меня в квартире и в лавке надлежащий обыск, а затем отдать меня под суд. В один несчастный день неожиданно явился ко мне комендант, полицеймейстр и стряпчий с понятыми для обыска. Однако пороху не нашли. Спросили хозяина моей квартиры и соседей о продаже мною пороху, но те сказали, что ничего подобного не видали и не слыхали. Тем дело и кончилось. Тогда Сухоруков воспользовался таким случаем. Мои родственники и знакомые адресовали мои письма на имя Сухорукова с передачею мне. Сухоруков стал предварительно прочитывать присылаемые мне письма. Однажды он получил из Одессы письмо от Кожевникова, который писал мне, что преследователь его и мой — крестьянин

Павельев — находится в Одессе и что ему, Кожевникову, верно, не укрыться от него и быть в остроге; поэтому Кожевников просил меня, чтобы я выслал ему денег, за что он не скажет Павельеву о моем местопребывании. Сухоруков представил это письмо полицеймейстеру, и меня посадили под арест при полиции. Прошло недели три, и я упросил письмоводителя, чтобы мне дозволено было хоть изредка навещать свое семейство. Тут я узнал, что Сухоруков подал на меня заявление, будто я должен ему 500 руб. асс. и просил описать мое имущество. Это было исполнено, лавка запечатана; должники по лавке отказались платить мне. Наконец Сухоруков добился того, что меня с женою и сыном отправили по этапу из Пятигорска в Ставрополь. Здесь препроводили меня из полиции в острог, а жену — в женскую тюрьму. Это было 1 августа.

Меня поместили в казарме, на дверях которой висела доска с надписью: «за бродяжничество». Началась для меня невыразимо горькая жизнь, столь горькая, что и теперь, при воспоминании о ней из моих глаз катятся невольные слезы... Но буду продолжать рассказ.

Прошел месяц. Жену мою выпустили из тюрьмы на поручительство. Изредка она с сыном навещала меня; но мне от этого было не легче. Она поступила работницей к одному купцу да притом же ходила последние дни беременности. Я ничего не мог сделать к облегчению ее горькой участи. Впрочем, четырехлетнего сына нашего взял к себе в острог.

В октябре месяце прошел слух, проникший в нашу камеру, что проездом из Грузии скоро бу-

дет в Ставрополе император Николай Павлович и посетит острог. Все арестанты пришли в движение, и хотя нам было объявлено, чтобы мы не смели беспокоить государя ни письменными, ни словесными просьбами, однако многие запаслись прошениями, надеясь подать их лично государю. Я также решился сказать незабвенному монарху о злоупотреблениях на Кавказской линии, в той уверенности, что он окажет мне какую-либо милость. В день приезда государя с раннего утра все начальство острога было на ногах. Везде чистили, выметали сор, полы усыпали песком. Арестантам выдали по новому полушубку. Наварили говядины и каши: словом, для нас наступил настоящий праздник. В 12 часов приехал государь. Я стал у самой двери нашей казармы. Лишь только отворилась эта дверь и я увидел государя, как тотчас пал на колена и произнес: «ваше императорское величество!» Но в ту же минуту дверь затворилась; государь не вошел в нашу казарму. Так я и остался влачить жизнь свою попрежнему.

В соседней с нашей казарме посажены были раскольники, человек 35. С некоторыми из них я познакомился, и они рассказывали мне про себя следующую историю. Все они государственные крестьяне селения Михайловки, отстоящей 15 верст от Ставрополя. Они были люди зажиточные, трудолюбивые. Несколько лет тому назад им пришло на ум разведать: какая на Руси вера правая, истинная? С этой целью они отправили в Москву и разные другие города и места двоих стариков. Когда старики возвратились домой, то рассказали, что лучшей веры, как ста-

рая поморская, не было и нет; так говорили и в Москве, и на Унже, и везде. Тогда михайловцы избрали себе наставника, по имени Гаврила, начали жить по этой старой вере, и никто их не тревожил. В начале прошлого (1836) года пришел в Михайловку какой-то странник, по фамилии Липатов, попросился у одного крестьянина пожить немного времени. Тот согласился. Скоро старообрядцы узнали о новоприбывшем страннике, стали навещать его и слушать его речи от «книжного писания». Липатов говорил: в слове божием сказано: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение свое и раздай нищим, и следуй за мною». Поэтому слушатели должны были оставить дома свои с имуществом и бежать в горы далее немирных черкесов, в места пустынные и безлюдные, и там поселиться. На дорогу следовало взять с собой только самое необходимое. Если бы они пошли, то он, Липатов, всех их перекрестит, но имен им не переменит, и будет во всем их главным наставником и руководителем; они станут называться братьями, а жены их сестрами. Если бы в дороге или где-либо они попались и стали обращать назад в дома свои, то они не ходили бы и обличали антихриста. Такое учение Липатова прельстило михайловцев, и они решились ему последовать. Исподволь, понемногу они распродали скот, хлеб и другое именье, а в ночь на светлое христово воскресенье (1837 г.) на нескольких повозках выехали из своего селения. Отъехав верст 40, остановились близ какой-то речки кормить лошадей. Тут Липатов всех их перекрестил, они стали называться «братьями», а жены их «се-

страми». Прибыли на Кубань, где были расставлены казачьи посты из линейных казаков. Эти казаки оказались тоже какие-то старообрядцы, и михайловцы скоро сторговались с ними, чтобы они пропустили их за Кубань да кстати нашли им одного черкеса в провожатые. Ночью наши странники переправились через Кубань, и вожак повел их дальше в горы. День провели в лесу, а ночью вожак опять повел их; но через несколько времени скрылся, и они остались одни в совершенно незнакомой им местности. На рассвете невдалеке от себя они увидели черкесскую деревню. Вошли в большой лес и расположились тут передневать. Из деревни (она оказалась мирных черкесов) вышел один черкес в лес осмотреть капканы, расставленные для ловли диких коз и оленей; он заметил табор михайловцев и дал знать об этом начальнику своей деревни — офицеру русской службы из черкесов. Офицер с вооруженными черкесами немедленно прибыл к странникам и начал их расспрашивать: кто они, куда идут и прочее, но в ответ получил только грубости и бранные слова. Тогда офицер приказал гнать их в станицу, где находился полковой штаб. Полковник вышел к старообрядцам и спросил: «Кто у вас начальник?» — «Я», ответил Липатов и начал говорить разные грубости. Полковник тут же приказал ему дать 200 ударов казацкой плетью. Липатов под этими жестокими ударами стонал, не охал, а произносил только слова: «Братцы мои! Помолитесь за меня грешного». Товарищи его стали на колени и молились на восток. По окончании экзекуции Липатов встал, повернулся лицом к востоку, перекре-

стился и сказал: «Слава тебе, господи, что снял с меня всю нечисть». Полковнику не понравились эти слова, и он приказал дать Липатову еще 70 ударов, после чего он уже не мог встать: его подняли товарищи. После Липатова наказан был еще Гаврилов 80-ю ударами. Потом, на другой день, всех их погнали в Ставрополь. Здесь им были разные допросы; ходили к ним священники, уговаривали, увещевали, но толку от всего этого выходило мало. Впрочем, человек 10 их возвратились в свои дома, а остальные были посажены в этот острог, где и я влачил с ними свою горестную жизнь. Наставник их Липатов содержался от них особо, на гауптвахте, в тяжелых кандалах; он приходил только в острожную баню, где виделся с своими товарищами и говорил с ними. Я видел этого наставника. Он был роста среднего, широкоплечий и, казалось мне, очень не глуп. Впоследствии некоторые из этих старообрядцев скоро померли, другие возвратились в свои дома, человек 15 сослано было в Сибирь, а иные отданы в солдаты.

В конце этого (1837) года начали собирать обо мне справки из тех мест, где я получал заграничные паспорта. Вероятно, благодаря этому обстоятельству сыщик мой Павельев в Бессарабии, в Одессе или в каком другом месте узнал, что я содержусь в Ставропольском остроге, и приехал в Ставрополь. Свидание мое с ним было непродолжительно, но крайне неприятно и тяжело для меня. Павельев говорил мне, чтобы я возвратился домой в Выездную слободу и помещик меня простит. Я отвечал, что так как теперь дело пошло по суду, то пусть суд и рассудит нас;

я лучше буду жить в Сибири, а к помещику не пойду. Тем разговор наш и кончился.

Прошло более года. В это время губернским правлением собраны были обо мне справки из разных присутственных мест, и дело мое поступило на рассмотрение уездного суда, а отсюда, как я слышал, скоро должно было перейти в уголовную палату и, благодаря ходатайству за меня генерала Реброва, оно должно было решиться, наконец, в мою пользу. Так я ожидал и надеялся.

Но не дремали и мои недруги. Не припомню в феврале или марте месяце 1839 г. в Ставрополе получено было из Арзамасского уездного суда отношение, в коем требовалось, чтобы я выслан был в Арзамас, на мою родину, для очных ставок с крестьянином Кожевниковым, который содержался в Арзамасском остроге. (Вероятно, все это сделалось по проискам и домогательствам Тархова с Рогузиным.) 19 апреля меня с женою и сыном отправили по этапу из Ставрополя на родину. Здесь посадили меня в Арзамасский острог, обрили мне половину головы и бороды и заковали в кандалы, а жена моя с сыном, по распоряжению Тархова, была отправлена на жительство в село Ларионово (100 верст от Арзамаса, где жил управляющий Рагузин и где находилась моя дочь). Скоро родные, знакомые слободские крестьяне узнали о моем печальном прибытии и положении; хотя всем им запрещено было навещать меня, но это не всегда соблюдалось. Поэтому жить мне в остроге было не особенно тяжко. Я собрал даже с прежних моих должников порядочно денег, благодаря ко-

торым в октябре месяце и выпущен был из острога на поручительство.

Я поселился у дяди своего Феоктистова; ко мне приехала жена с сыном. В декабре месяце родилась у меня еще дочь, и я, в память освобождения сего из острога на поруки 10 октября, назвал ее Евлампией. Сын начал учиться грамоте. Мы стали жить не совсем худо, особенно по сравнению с только что пережитым временем.

Не прошло и полугода, как стали доходить до меня слухи, что Тархов, по приказанию Рагузина, хлопочет и домогается, чтобы вновь посадить меня в острог. Действительно 30 июля 1840 г. я призван был в уездный суд, где судья прочел мне указ из Нижегородской уголавной палаты о заключении меня вновь в Арзамасский острог. Делать нечего: пришлось покориться необходимости.

Между тем дело мое рассматривалось в уездном суде, который решил: по наказании, сослать меня в Сибирь. Уголовная палата это решение утвердила. Но сенат, согласно ходатайству Нижегородского губернатора Панова, определил: водворить меня к помещику. 5 ноября 1841 г. я был выпущен из острога.

1842 — 1844 гг.

В январе месяце приехал в нашу слободу главноуправляющий Рагузин, и я упросил его выдать мне полугодовой паспорт на случай куда бы то ни было моей поездки из дому. Я постарался собрать с прежних своих должников кое-какие деньги, до 1000 руб.; получил от Тархова полу-

годовой паспорт и 15 мая выехал в Москву. Здесь отыскал я жену моего покойного друга, у которого некогда мною оставлены были деньги и часть имущества. Эта женщина оказалась уже вышедшею замуж; она сказала мне, что не знает никаких денег и имущества, которые я будто бы оставил у них, и в завещании покойного об этом ничего не сказано. Я прослезился, и с тем ушел от нее.

В Москве нашлись некоторые старые мои приятели, сделали мне посильное денежное пособие, и я отправился через Коренную ярмарку в Херсон. Здесь служил двоюродный брат мой военным писарем у коменданта; он переведен был сюда из Брест-Литовска. С этим братом я не видался более 11 лет. Какая радость у нас была при свидании. Хотя он и был солдатом, но дышал свободно; за верную и добросовестную службу его любили начальники и давали препоручения, какие выпадают на долю не всякого. А я все еще находился под бременем своих гонителей и влачил жизнь свою, как в поле былинка, засохшая от бездождия. И за что же? За то единственно, что я желал вольности до последнего своего издыхания; искал не чести, славы и богатства, а только независимости себе и своему потомству от жестокосердного помещика. Но мне предлежало еще много перенести горя и лишений, пока не пробил для меня вожделенный час...

В Херсоне у брата я пробыл недели две; потом поехал в Одессу, а отсюда через Тирасполь в Кишинев. Тут я случайно узнал, что упоминаемый мной прежде Годунов имел здесь собственный дом, неправедными делами воздвигнутый.

Теперь мне нечего было страшиться, как прежде, когда он вместе с Павельевым разыскивал меня в Яссах. Поэтому я пошел к нему. Он знал меня только по портрету, бывшему в то время у Павельева. Придя к Годунову, я сказал:

— Когда-то вы с Павельевым задорого желали посмотреть на Шипова. Теперь можете даром его видеть и не стараться его разыскивать. Я — Шипов.

Годунов, повидимому, обрадовался мне и просил меня остаться у него в доме. Я согласился. В разговорах мы припоминали прошлые обстоятельства моей жизни, в которых Годунов принимал столь неприятное для меня участие. Между прочим, я узнал от него, что покойный мой шурин, Ланин, оставил часть наших денег и имения у одного кишиневского купца. Эти деньги и вещи отданы были в полицию; но мне получить их не привелось: сказывали, что все они были раскрадены.

Из Кишинева я отправился в Яссы. Здесь я получил от кума моего, скопца Чукова, часть своих денег, золотые вещи и жемчуг. Вещи эти я распродал и думал было заняться в Яссах какою-либо торговлею. Но это показалось мне неудобным, потому что мое слободское начальство опять могло приняться меня разыскивать и тогда уж мне несдобровать. Я распростился с Чуковым и возвратился в Кишинев, где случайно узнал, что одна купчиха сдает в наем свой клейный завод с шерстяною мойкою, стоящий на реке Бычке. Мне показалось это дело выгодным, и я снял этот завод на три года, с тем чтобы вступить в него 18 февраля следующего, 1843 г.

Задаток, материал для выгонки клею и проч. — все это стоило мне 1200 руб.

12 декабря я возвратился на родину. Рагузин был в это время в Петербурге. Я пришел к Тархову и объяснил, что выгодно снял в Кишиневе клейный завод, употребив на то почти все свои деньги, и просил его дать мне паспорт. Тархов снесся об этом с Рагузиным, который через несколько времени писал ему, что помещик не приказывал выдавать мне более паспорта. Тогда, жалея, чтобы деньги мои не пропали, я в начале 1843 г. нанял в Арзамасе мастера, приказчика с работником и отправил их на завод в Кишинев. Однако без меня они ничего не могли там сделать и возвратились ко мне ни с чем. Так погибло для меня это предприятие, а вместе с ним и последняя надежда поправить свои денежные обстоятельства.

В апреле месяце 1843 г. начали сватать мою дочь женихи из хороших и богатых домов, с тем чтобы отдать в приданое за нее мой дом, на что я был согласен; но от помещика разрешения на это не последовало. Видя, что зажиточные люди дочь мою не возьмут замуж, я решился выдать ее за одного небогатого слободского крестьянина — Пузакова, по ремеслу сапожника. Свадьба у нас была самая бедная, и скоро молодые уехали в Нижний-Новгород, на ярмарку, для занятия сапожным мастерством.

В это время я находился в бедственном положении. В услужение меня никто не принимал, меня боялись как медведя. К тому же я должен был платить 400 руб. оброку, которых мне решительно негде было взять. В сих крайних об-

стоятельствах я решился обратиться к не раз упоминаемому прежде дяде моему Феоктистову, у которого все-таки оставалась часть моего имения; но он не хотел отдать мне его. Я подал об этом прошение в магистрат, который решил дело так, что имение мое принадлежит Феоктистову на основании десятилетней давности владения им. Я обратился с жалобою в гражданскую палату, но она рассудила, что по этому делу должен был хлопотать или сам помещик, или его управляющий. Я просил Тархова войти в мое положение, но он наотрез отказал мне. Тем дело и кончилось.

Ходя по этому моему делу, я познакомился с одним столоначальником, который давал мне читать законы. Однажды он принес мне IX том Свода законов, и я нашел статью, в которой было сказано, что крепостные люди, бывшие в плену у горских хищников, по выходе из плена освобождаются на волю со всем своим семейством и могут избрать род жизни, где пожелают, в течение девяти месяцев. Тогда я решился испробовать и это крайнее средство, лишь бы избавиться от власти помещика. Затаив от всех такое намерение, я в декабре месяце выхлопотал кое-как у Рагузина полугодовой паспорт, собрал от добродушных людей 25 руб. на дорогу и 3 января 1844 г. покинул свою родину...

Я не буду (да и не могу) описывать те чувства, которые наполняли и волновали в это время мое бедное сердце. Помню, что губы мои шептали только одно: «Всемогущий боже! Вразуми меня и услышь вопль души моей, хотя не для меня, но для наследника, сына моего. Творец

милосердный! Дай мне крепость и терпение перенести все несчастья. Впрочем, да будет воля твоя. . .»

С попутчиками поехал я на Тамбов, а отсюда в Воронеж, где отыскал одного старинного приятеля; он отдал мне немного прежнего долгу и свою лошадь с повозкой и упряжью. На этой подводе я отправился сначала в Харьков, а отсюда в Херсон — к брату, у которого провел масленицу. Сделалась распутица, дорога стала ужасно трудная, грязная. Я купил себе маленькую, легкую повозку на двух колесах, называемую по-малороссийски «беда» или «выгода». В этом-то экипаже я и поехал в разные города, как-то: в Одессу, Кишинев, Яссы и Черновиц, с тою целью, не получу ли где-нибудь денег. Деньгами хоть я и раздобылся, но очень немного — всего 250 руб. Однако и этому я был рад. 3 апреля возвратился в Херсон, где с братом думали и советовались, что́ мне следовало предпринять. В то время генерал Лидерс выступил из Херсонской губернии с пятым корпусом в поход на Кавказ. Я решился последовать туда же, с намерением поступить там к маркитантам в работники, или не примут ли они меня к себе товарищем. По приезде в Одессу я продал свою лошадь, взял пассажирский билет до Керчи и в конце апреля на пароходе «Наследник» отправился на Кавказ.

Погода была теплая, ясная; море тихо и спокойно. На поверхности его играло множество морских свинок, которыми я любовался. Севастополь оставался у нас в левой стороне, да к тому же мы проехали тут ночью. Но вот пока-

залось издали имение графа Воронцова — Алупка. Когда пароход поровнялся с нею, нам салютовали гавани из пушки, на что с нашего парохода отвечали тем же. С моря вид на Алупку был очарователен; строения причудливой архитектуры, очень красивы; кругом их, по горе, прекрасные сады, которые были покрыты свежей весенней зеленью; извилистые, как змеи, дорожки, и везде цвели цветы, как лучший персидский ковер; ветром доносило к нам ароматный запах и долетали песни соловьев. Мы поплыли в Ялту, где пароход на два часа останавливался, — в Феодосию и Керчь, куда прибыли первого мая. Отсюда, проливом верст 30, я проехал в город Тамань на лодке. Этот город хуже деревни, но из него прекрасный вид — Керчи, Еникаля и Евпаторийского госпиталя. Из Тамани я нанял извозчика до Екатеринодара, а отсюда в Ставрополь. Здесь я встретился с некоторыми из прежних своих знакомых, и они не мало дивились моему приезду. Им было хорошо известно дело по заключению меня в Ставропольский острог, но они не знали, чем оно кончилось, и считали меня или сосланным на край света, или умершим. Я рассказал и им эту горестную историю.

Между тем срок моему паспорту через месяц истекал, и я стал придумывать — как бы мне получить новый паспорт. Думал я, думал и решился написать в Петербург главноуправляющему Рагузину следующее: «Проезжая через город Екатеринодар, я видел тут бежавших из слободы Выездной крестьян, которые годны в солдаты. Я могу поймать этих крестьян и представить

их в местную полицию, для препровождения на родину. Но без доверенности этого сделать нельзя. Поэтому, неугодно ли вам будет прислать мне эту доверенность, а вместе с нею пришлите и паспорт». Отправляя это письмо, я надеялся, что Рагузин с помещиком поверят моей выдумке. И не ошибся: через два месяца я получил и доверенность, и паспорт. Но, разумеется, для меня нужен был только последний.

Из Ставрополя я отправился в Пятигорск пешком, так как нарочно нанимать подводу было для меня не по карману, а попутчиков не находилось. Шел я этим путем-дорогою, придерживаясь старой поговорки: «мне не привыкать куликать — где пришлось, тут и остановился». За станцией Александровской мне снова открылись величественные Кавказские горы; я увидел знакомые места и дорогу. В одном месте я присел на камень отдохнуть, прослезился и подумал: «Господи, еще раз ты привел меня видеть эти исполины. В виду их я претерпел самое горестное событие моей жизни... Но где получишь несчастие, тут должно ждать и радости». Я вынул из мешочка кусок хлеба, закусил и пошел дальше. К Пятигорску прибрел я поздно вечером и думал: куда мне итти ночевать? Знакомые в Пятигорске у меня, конечно, были: но не забыли ли меня? Пошел я к одному приятелю-армянину, по фамилии Аракчееву; он имел собственный дом недалеко от базара. Аракчеев не узнал меня и не хотел сначала пускать меня ночевать; но когда узнал, принял меня как родного и не мало дивился моему прибытию: в течение семи лет

ему ничего не было обо мне известно. В это время у Аракчеева находился упомянутый мной выше бывший полицейский письмоводитель Кастыченко, который в 1836 г. взят был в плен хищниками. Велика и непритворна была радость при нашем свидании. Мы всю ночь провели в разговорах за стаканами чихирю. На другой день я вышел на базар, и скоро все знакомые и приятели узнали о моем прибытии.

В Пятигорске я прожил до июня месяца, а потом отправился через Екатериноград в Моздок. Здесь я пробыл всего одни сутки и пошел дальше. Солнце стало заходить за Кавказские горы, когда я приближался к станице Науру. Но вот и самая станица. Я вошел в один духан и сел на лавку отдыхать. Между прочим, я спросил сидельца, кто у него хозяин? И в ответ услышал, что ростовский купец, еврей Осип Борисович Фавишевич. Эта фамилия мне показалась знакомой; я стал припоминать, что в 1836 г., когда я служил у Сухорукова, то тогда был у нас приказчиком по продаже нефти еврей Оська, как мы его называли, по фамилии Фавишевич. Я начал подробно расспрашивать сидельца о его хозяине и убедился, что наш бывший Оська теперь стал Осипом Борисовичем. (На Кавказе да и в некоторых других местах лиц бедных, особенно евреев, называют полуименем; если же кто-нибудь из таких лиц сделается богатым и влиятельным, то его уже величают по имени и отчеству). Сиделец мне сказал, что его хозяин завтра должен был быть в Науре. Тогда я подумал: «в былое время я оказывал этому Осипу Борисовичу возможное пособие и добро, при его

бедности, и он, хоть еврей, но верно не забыл того, что я для него сделал» — и решился повидать Фавишевича. На другой день около полудня сиделец сказал мне, что хозяин его приехал с братом своим Леоном Борисовичем (прежде мы звали его Лейба). Я тотчас же пошел к Фавишевичам. На дворе их квартиры стояла коляска, запряженная тройкою отличных гнедых лошадей. «Вот тебе и Оська!» подумал я. Придя в комнату, я сделал приветствие обоим братьям и сказал:

— Признаете ли меня, Осип Борисович и Леон Борисович?

— Нет, — отвечали братья в один голос, — мы вас совсем не знаем.

— Вы, вероятно, помните, Осип Борисович, Николая Шипова, — сказал я, — я рекомендовал вас по торговле нефтью, в 1836 г., в бытность мою у Сухорукова комиссионером.

Тогда они бросились ко мне и начали целовать меня, говоря:

— Ах, друг наш любезный! Какими судьбами ты сюда попал? Слух был, — продолжал Осип Борисович, — что негодяй Сухоруков вас обидел и довел до несчастия. Я жалел об этом, сердечно жалел; но пособить вам ничем не мог, потому что не знал, где вы тогда находились. Мы даже слышали, что будто бы вы сосланы были в Сибирь за какое-то важное преступление. Садитесь, пожалуйста, любезный Николай Николаевич.

Я сел и рассказал Фавишевичам о постигшем меня, по вине Сухорукова, бедствии. Выслушав меня, Осип Борисович сказал:

— Душевно сожалею о вашем несчастии и желаю помочь вам, потому помню для меня ваши благодеяния.

Потом Фавишевич предложил мне быть с ним компаньоном по торговле, рассказав, что он с одним товарищем, белевским купцом Кузнецовым, заключил контракт с Кабардинским егерским полком на три года — доставлять полку жизненные припасы. Штаб этого полка находился в крепости Незапной, за Тереком, на реке Акташе, близ Андреева аула, а баталионы расположены по разным укреплениям, неподалеку от Незапной. Так как у Осипа Борисовича были еще другие дела, то он соглашался дать мне доверенность, и я мог, по усмотрению, торговать или при полковом штабе, или же итти с полком в поход, который предполагался в этом месяце (июне). Разумеется, мне ничего не оставалось, как с радостью принять это предложение Фавишевича. На другой день я поехал с ним в Незапную крепость и немедленно вступил в отправление своих обязанностей.

Теперь скажу несколько слов об этой Незапной крепости и об Андреевском ауле, так как здесь совершилось одно из самых важных событий в моей жизни.

Крепость стоит близ леса, на правой гористой стороне быстрой каменистой речки Акташ. В крепости находятся казармы, церковь и дома каменные; кругом их — крепостной вал, на котором четыре бастиона с большими орудиями. Этот вал соединяется с форштатом, где живут в собственных домах женатые казаки. Здесь находится дом полкового священника, разные ка-

зармы, маркитантский двор и две обвахты или заставы, из коих одна на реку Акташ, по дороге к укреплению Кастычам, а другая — в Андреевский аул, отстоящий от форштата не более версты. За дровами ездят из Незапной всегда с конвоем; это называется «оказией». Скот пасут за рекой Акташом тоже под конвоем, так как нередко случалось, что черкесы нападали на скот.

Андреевский аул—татарский, большой; в нем было более 5000 жителей. Улицы в ауле очень узкие, грязные и бестолково построенные, так что в них легко заблудиться. Дома или сакли деревянные, без заборов; крыши плоские, земляные; на них родится красный крупный лук, который на вкус сладковатый. Печей в саклях нет; только в одной из стен проведена труба, под которой разводят огонь и готовят кушанья. Виноградное вино татары пьют кипяченое или молодое; хлебную водку любят. Лошадей держат хороших, в поле работают с осторожностью и недалеко от своего аула, по которому ходят всегда вооруженными прекрасными кинжалами. Андреевский аул всегда славился этим оружием. Базар в ауле бывал по пятницам; народу сходилось множество. Торговлей занимались татары, евреи, а частью моздокские и кизлярские армяне. Говорить по-кумыцки я научился довольно скоро, так как этот язык сроден киргизскому. В Андреевском ауле мне приходилось бывать часто, и я хорошо познакомился тут с некоторыми татарами; они звали меня «Мекелей».

Итак, с половины июля месяца (1844 г.) я начал в Незапной крепости заниматься по торго-

вым делам у Фавишевича.[1] Это занятие было не легкое. Надо было наблюдать интересы хозяина и в то же время ладить с разным полковым начальством, начиная от ротного фельдфебеля. В укреплении Таскичах, при баталионе полка, торговал у нас приказчик; там же находился и Кузнецов. Приказчик что-то не поладил с баталионным лекарем. Этот подал полковому командиру рапорт, будто приказчик доставлял для баталиона нехорошую говядину, отчего солдаты болеют. Полковник вспыхнул гневом, призвал к себе Кузнецова и распорядился с ним так, что он прибежал ко мне в Незапную как полоумный, весь в слезах, и просил меня поправить дело. Я пошел в Таскичи, повидался с лекарем, дал ему подаяньице, достодолжно угостил его, и с тех пор от него не было никаких подобных рапортов.

А таких случаев — что греха таить? — могло быть не мало. То вот говядина нехороша, то сено гнилое, то водка уж слишком разбавлена водой—да мало ли что? Бывало, полковой квартермистр знает, что такого-то предмета у нас в

[1] Иногда мне приводилось ездить из Незапной в Богоматов мост; это не что иное, как мирная черкесская деревня, расстоянием от Незапной 50 верст, а от Кизляра 30. При ней было небольшое укрепление и рота солдат с 50-ю казаками, для конвоирования оказий и рекрут, идущих в Темир-Хан-Шуру из Кизляра. Здесь я покупал сено, разную дичь, которой было множество по небольшим озерам и заливам. В огромных камышах, наподобие леса, водились дикие свиньи; их беспощадно убивали татары. Свинья противна их закону. Когда татарин застрелит ее, то не берет в руки; заденет за морду свиньи веревку, привяжет к лошадиному хвосту и тащит волоком. Эти свиньи продавались чрезвычайно дешево. — *Н. Ш.*

лавке нет, а по контракту он должен быть. Квартермистр прибежит в лавку и начнет требовать чего нет к завтрашнему дню непременно; зашумит, раскричится, — так что и сам Фавишевич не показывается ему на глаза. Что тут делать? Обыкновенно вечером, незаметно для других, я отправлялся к разгневанному квартермистру и умел сделать так, что он переменял гнев на милость и потом с улыбкой говорил:

— Давно бы так делали, а то с вами одно только беспокойство и неудовольствие.

На другой день квартермистр присылал в лавку своего денщика за даровой провизией. Плац-адъютанту и адъютанту полковому у нас тоже шла дача не малая; а например, ротным командирам так сам Фавишевич приказывал отпускать из лавки безданно-беспошлинно все, что им заблагорассудится...

Из Незапной крепости выходили несколько раз летучие отряды, которые скоро опять возвращались в Незапную. С этим отрядом я или отправлял приказчика при нагруженных провизией арбах, или же присутствовал сам. Однажды, в конце августа месяца, из Незапной выступил отряд в 3000 пехоты и артиллерии под командою полковника Козловского. Я снарядил две арбы с разными припасами. Отряд направился вверх по реке Акташу и, отойдя верст 6, встретился с хищниками. Завязалась перестрелка. На другой день черкесы заняли реку Акташ, заградив нам путь к воде, засели за большими камнями, в ущельях, и открыли огонь. Все усилия Козловского выбить черкесов из ущельев оставались тщетными, тогда как черкесы беспокоили нас

сильно, потому что бивак наш расположен был на открытом месте. Мы даже с трудом могли достать из Акташа воду. Кончилось тем, что на 4-ю ночь Козловский сделал беспорядочное отступление обратно в Незапную. При этой суматохе у меня у одной арбы изломалась ось, и весь бывший на ней товар достался в добычу хищникам. До арбы ли тут, когда только думы и заботы: как бы самому остаться целым и невредимым? Ох, ты жизнь и торговля маркитантская!

1845 г.

Из Незапной крепости в Андреевский аул я ходил довольно часто как для учета сидельцев в двух духанах Фавишевича, так для покупки скота и разных припасов. По пятницам (базарные дни) я бывал в ауле непременно. Ходить приходилось большею частью одному, иногда довольно поздно. Некоторые знакомые татары предупреждали меня, чтобы я опасался ходить ночью. На такие предупреждения я мало обращал внимания: я боялся только смерти; плена же у горцев хоть и страшился, но в душе желал его.

Наступило 8-е число февраля, пятница.

8 февраля

В этот день я, по обыкновению, был в ауле на базаре, купил что надобно и к вечеру возвратился домой в Незапную, отдал отчет и деньги Фавишевичу. Поблагодарив, он сказал мне:

— У нас в лавке совсем нет коровьего масла. Сегодня последнее взяли в полковую квартиру.

А завтра утром опять потребуется как полковнику, так и офицерам.

— Масло я сегодня приторговал у одного татарина, — доложил я Фавишевичу, — только не дал ему задатка.

Тогда Фавишевич стал просить меня, чтобы я шел в аул и дал татарину задаток и чтобы масло было доставлено завтра рано утром в лавку. Хоть мне и не хотелось итти, потому что весь день провел на ногах, бегая по аулу, но я хорошо знал полкового командира, и просьба Фавишевича мне показалась основательной. Я пошел в аул. Солнце закатилось за горы, с которых потянулся ужасно густой туман. Близ обвахты попался мне навстречу знакомый унтер-офицер и спросил:

— Куда так поздненько идешь?

— В аул, — отвечал я.

— Смотри, Николай Николаевич, — сказал мне унтер-офицер, — теперь ходить опасно, как бы тебя чеченцы где не схватили. Проклятые азиаты замысловаты; они знают, что при тебе всегда есть деньги. Подкараулят и отправят в горы, а то так прямо на тот свет.

— Вот вздор какой, — сказал я, — позже ходил да с рук сходило. Авось, и теперь ничего не случится.

Мы расстались.

Когда я шел по улицам аула, было уже темно, и я с трудом отыскал саклю татарина, у которого утром сторговал масло; дал ему задаток и приказал привезти масло завтра пораньше. Отсюда я зашел в наш духан, где сиделец отдавал мне вырученные им деньги 200 руб.; но денег этих я

не взял до завтра. Посидев немного в духане, я пошел домой. Темнота была ужасная — хоть глаз выколи. При выходе за аульские ворота меня окликнул часовой:

— Кто идет?

— Маркитант, — отвечал я.

От ворот дорога шла под гору, а справа — к реке Акташу — крутой яр. Я шел близ самого утеса. Как раз на половине дороги от аула и форштата меня вдруг схватили неизвестные люди и потащили под гору к Акташу; вниз я скатился с ними по снегу.

Я вздумал было кричать часового, но хищники обнажили свои кинжалы и приставили их к моей груди. Я обмер. Потом хищники надели мне на голову какой-то башлык, перевязали его так, что я не мог ничего уж видеть; руки мои тоже связали ремнями и повели. Мы прошли близ какой-то водяной мельницы, где я слышал разговор на кумыцком языке.

Перешли вброд реку, вероятно Акташ; потом повели меня далее; но куда — я не понимал. Где-то вдали послышался лай собак. Тут спутники мои начали разговаривать между собой по-чеченски; этого языка я почти не понимал. Прошли по снегу так версты 4. Лай собак стал слышнее. Перешли еще раз реку по колено, и я полагал, что это опять-таки Акташ. Мы поднимались как будто на гору. Потом хищники остановились и начали кого-то окликать. Откуда-то сверху тихо отвечали, потом что-то сбросили. Хищники перевязали меня веревкой поперек живота, развязали руки и по-кумыцки сказали: «уста аркан» (держись за веревку).

Я это сделал. Меня потащили вверх, где, сажени через три, я был принят за руки двумя человеками, которые вели меня потом с четверть часа. Затем они связали мне руки назад, толкнули в какой-то чулан, хлопнули дверью и заложили ее цепью.

Мое новое помещение оказалось не из теплых: в него со свистом врывался холодный ветер. На мне была тогда бешметь и легкая на вате шинель; промокшие ноги холодели, связанные руки коченели. Я стоял на ногах, боясь ходить или двигаться. Так прошло довольно времени. Потом кто-то вывел меня в другое помещение и развязал мне голову. Тут я увидел большую саклю, которую освещало горящее на табуретке сало. Передо мной стоял кумык — высокий, стройный, широкоплечий, которого я никогда не видел. Он спросил меня:

— Танимсан менеке (знаешь ли меня)?

— Бельмейма (не знаю), — отвечал я.

Тогда кумык, указав мне на табуретку, сказал:

— Ултар (садись).

Я исполнил это приказание.

Кумык вынул из кармана нож и начал его оттачивать на бруске. У меня волосы на голове становились дыбом, сердце мое так сильно забилось, что, полагаю, и кумык мог слышать это биение моего сердца. Я мысленно прощался со своими родными и со всем светом, полагая, что настали последние минуты моей жизни. Кумык кончил точить нож, подошел ко мне, прижал к себе мою голову и, сказав «коркма» (не бойся), принялся мылить мне голову.

Я догадался, что он будет брить мои волосы. Сердце мое стало отходить. Кумык обрил мои волосы, подстриг бороду, надел на меня шапку, завязал тем же башлыком, отвел меня в прежний чулан и безмолвно затворил за мной дверь.

Эту ночь я проводил очень беспокойно; от холода не мог сомкнуть глаз. Пропели в ауле петухи.

9 февраля

Вот я слышу: люди загалдели, буйволы заревели, арбы заскрипели, залаяли собаки.

Должно быть, рассветало. Я то разминал свои коченевшие члены, то, сидя или стоя, прислонялся к стене и дремал. Какой-то человек отворил дверь и сказал:

— Аман, Мекелей (здравствуй, Николай).

Я очень обрадовался, что меня назвали по имени и ждал с нетерпением, что пришедший будет говорить мне; но этого я не дождался: дверь захлопнулась. Вероятно, уже вечером меня опять привели в ту саклю, где вчера кумык обрил мне голову. Когда меня развязали, я увидел того же кумыка, который меня спросил:

— Ахча барма сенике (есть ли у тебя деньги)?

— Иок ахча (нет денег), — отвечал я.

Тогда кумык всего обыскал меня, но денег не нашел; только вынул из кармана в бешмете мою записную книжку с карандашом и сказал мне:

— Зжяс Осип кагас (пиши Осипу записку).

— Не зжяздым (что напишу)?

— Мень чебердым саган, берь ахча чус тюмень кумыш (я отпущу тебя; дай десять десятков серебряных рублей).

Я вырвал из книжки чистенький листок и Фавишевичу (Осипу) написал:

«Нахожусь в плену и не знаю где; а выкупу за меня просят 300 руб. Ради бога выручи несчастного Н. Шипова».

Кумык взял эту записку и снова запер меня в чулан. Эту ночь я провел, как и прошлую, с тою лишь разницею, что мне очень хотелось чего-нибудь поесть.

10 февраля

В этот день ко мне никто не показывался. Уже поздно вечером, когда в ауле все смолкло, пришел татарин и повел меня из темницы. Чрез несколько времени мы остановились, и близ меня очутилось четыре человека; они развязали мне руки, перевязали вокруг живота веревкой и, сказав по-русски: «держись крепче», столкнули меня с крутизны и начали спускать вниз. «Верно в первую ночь меня здесь втаскивали», — подумал я.

Внизу приняли меня два человека и о чем-то тихо поговорили с верхними. Потом, связав мне руки ремнем, повели меня вброд через речку; затем скорыми шагами пошли по снегу.

Собачий лай оставался у нас назади: Дул не очень холодный ветер. Дорога шла то под гору, то в гору. Я стал догадываться, что теперь ведут меня к немирным черкесам в самые горы. Шли мы довольно долго. Ветер стал тише. Мы как будто подходили к лесу. Тут развязали мне глаза и руки.

Передо мной стояли два, средних лет, татарина, которые имели при себе по ружью, шашки,

пистолеты и кинжалы. Они глядели мне в глаза, а я на них смотрел; потом они спросили меня по-кумыцки — знакома ли мне местность, на что я отвечал отрицательно и стал осматривать окрестность.

По обеим сторонам дороги тянулся небольшой лес; чем далее шли вперед, тем дорога делалась уже и уже. Ночь была пасмурная: на небе ни звездочки. Татары, насмехаясь надо мной, говорили мне:

— Согом саган керех, ахча бар (надо тебе скотины, деньги имеешь).[1]

Я им сказал только, что теперь у меня нет денег.

Ветер дул мне в лицо; я освежился; мне стало легче и приятней.

Прошли лесом несколько верст.

Татары свистнули, на что последовал тоже свисток; а спустя немного подошел к нам молодой татарин, который сделал моим провожатым приветствие «саламаликам», давали друг другу руки и говорили по-чеченски. Пришедший и мне сказал: «аман-ма» (здорово). Я сказал ему то же. Потом все мы пошли узенькой снеговой тропинкой.

Лес становился крупнее. Тропинка стала извилистой под гору. Впереди я заметил как будто татарское кладбище, на котором стояли разные каменные памятники. Когда мы поровнялись с

[1] Это горький намек на мое теперешнее положение по сравнению с прежним, когда я покупал скот в Андреевском ауле для Осипа Фавишевича и при мне всегда находились деньги. Татары, очевидно, знали это. — *Н. Ш.*

этим местом, татары остановились и громогласно сказали: «саламаликам». Тогда я спросил:

— Не бу монда (что такое здесь)?

Один из них на каком-то странном кумыцко-русском языке отвечал:

— Кардаш умрит, коп салдат убит, монда бардым аул (умерли братья, много убито солдат, здесь была деревня).

Тогда я понял, что татары здравствовались с своими умершими родичами.

Мы пошли далее, и скоро послышался шум быстро текущей воды. Я спросил спутников:

— Что это за река?— они сказали: «Эрак-су».

Тут мне стало ясно, где мы идем, и я стал внимательно примечать местность. Перешли реку вброд и стали подниматься на гору. Потом вышли на ровную дорогу и шли довольно долго. Далеко впереди я увидел огонь и спросил:

— Кайда от-курнеда (что за огонь видно)?

Мне отвечали:

— Караул чечень-бар (чеченский караул).

Подошли близко к огню. Для меня это было интересно. Я как будто позабыл, что я пленный и что могло со мной случиться. А могло случиться, как я слыхал, вот что: у горцев есть будто бы обыкновение, что когда ведут пленного и в это время навстречу попадется кто-нибудь из хищников же, то между ними происходит большой спор и распря: встречному хочется взять что-либо с того, кто ведет пленного; а тот ничего не дает, потому что встречный не участвовал в поимке пленного, всегда сопряженной с большим трудом и опасностью. Тогда, со злобы, встречный хищник убивает пленного: пускай, мол,

никому не достается. Вот что могло со мной случиться. Но, слава богу, нам навстречу никто из хищников не попался.

Наконец мы подошли к плетневым воротам, по обеим сторонам которых были вырыты небольшие канавы с земляным валом и наверху накладен колючий терновник.

Мы отворили ворота; нас окликнул вооруженный чеченец и повел к плетневой караулке, близ которой ярко горел огонь. У огня спали четыре черкеса. Когда мы пришли, черкесы встали и приветствовали нас. Потом они сели возле огня и стали разговаривать по-чеченски, после чего все легли спать. Прикурнул у огня и я. Скоро мои товарищи заснули; но мне было не до сна. У меня в голове роились разные мысли. «Бог даст», — думал я, — «как-нибудь удастся мне бежать из плена, тогда я буду вольный человек и потомство мое всегда будет благодарить меня. А что подумают гонители мои, когда узнают, что я с семейством свободен? Они будут очень недовольны собой, что выпустили меня из своих рук, и притом ни за копейку. Они никогда не простят за это ни себе, ни мне. А может быть, мне уже никогда не придется видеть ни родины, ни милого семейства...» Тут часовой разбудил моих спутников, и мы пошли далее.

Дорога шла под гору, и опять начался крупный лес. В правой стороне от нас, в лесу, на возвышенном месте, виднелся огонь и шумели люди. На вопрос мой провожатые ответили:

— Алтмиш-кши караул бар салдат эжиберьма (60 человек караульных солдат не пускают).

Почти тотчас же прибежал к нам с того караула чеченец, поговорил с моими спутниками и ушел обратно, а мы начали спускаться под гору. Светало.

11 февраля

Мы подошли к реке, о которой провожатые мне сказали, что это — Яман-су. Перейдя реку вброд, мы пошли вверх по ее течению. На косогоре, по мелкому лесу, виднелись разбросанные сакли, из которых выбегали к нам злые собаки. Чрез несколько времени один из моих спутников простился с своими товарищами; потом он подал мне руку и также сказал: «саубул» (прощай).

Стало совершенно светло. По обеим сторонам ровной дороги возвышался большой чанаровый лес, в котором какая-то птица пела странным заунывным голосом, и я думал: «не предвещает ли она мне смерть?» Но вот под горою показался небольшой аул; из разбросанных саклей шел дым, который, мешаясь с туманом, расстилался по низменной равнине и чанаровому лесу. Из гор протекала в Яман-су маленькая речка. Когда мы спустились по извилистой дороге в аул, то вошли в саклю о двух трубах. Нас встретила очень хорошенькая молодая черкешенка, с грудным ребенком на руках, с прелестным видом смотрела на моих спутников, из которых один, как потом оказалось, был ее муж; время от времени и на меня обращала она свои быстрые, огневые, черные глаза.

Сели мы в сакле на разостланные кошмы: я — возле камина, в котором горел небольшой огонь. Черкешенка с ребенком вышла из сакли и скоро

*

возвратилась в шелковых шароварах и бумажном бешмете. Через несколько времени я прилег у камина и крепко заснул. Долго ли спал — не знаю. Меня разбудил хозяин, сказав мне: «тур» (вставай). Тут я увидел полную саклю черкес и черкешенок разного возраста. Мужчины и мальчишки были вооружены кинжалами, а некоторые и пистолетами. Все смотрели на меня своими черными глазами с любопытством и неприязненно. А я, как невольник, глядел на них с унылым видом. Они между собой говорили по-кумыцки, чеченски и тавлински.

Черкешенка-хозяйка вынимала из золы в камине небольшие круглые лепешки из пшеничной муки (чуреки) и, вытерев их грязной тряпкой, подавала моим спутникам; один чурек дала и мне. Я его с большим аппетитом съел, держа над горстью, как просфору: ведь трое суток я не принимал никакой пищи. Затем хозяйка, подложив в огонь дров, повесила над ним небольшой котелок с водой, всыпала в него ячменной крупы и положила немного сала. Когда это кушанье поспело, хозяйка разлила его в чашки, положила в чашки по ложке и подала моим хозяевам, а также и мне; при этом она дала мне еще один чурек. Я поел с удовольствием, отдал чашку хозяйке и стал сидеть безмолвно.

Народ то приходил в саклю, то уходил, и дверь беспрестанно скрипела как немазаное колесо.

Часа через три меня отвели в другую саклю; здесь по стенам висели ружья, пистолеты, шашки и седла; посредине стояла наковальня. Я своего провожатого спросил:

— Кем дархан монда бар (кто здесь кузнец)?

— Кардаш маган (брат мой).

Тут я понял, что меня вели два брата, из коих один был холостой, а другой женатый. И сюда начал приходить народ. Из пришедших один кумык сел со мною рядом и начал порядочно говорить по-русски. Оказалось, что он житель Андреевского аула, где у него был дом, жена и двое детей. Имя его Мустафа. Как-то раз он купил в ауле Таскичах у неизвестного татарина пару лошадей. Лошади оказались краденными, и Мустафа посажен был под арест, с тем что если он не разыщет татарина, у которого купил лошадей, то будет предан военному суду. Найти этого татарина было невозможно, и Мустафа из-под ареста бежал в здешний аул, где и жил уже более месяца. Тайно он ходил в Андреевский аул к своему семейству. Я был очень рад, что встретился с этим Мустафой и подробно рассказал ему о своем плене. Выслушав меня, он заметил, что мне едва ли удастся отсюда вырваться скоро; вероятно, меня поведут к Шамилю в Красный аул (Дарго), который в 40 верстах от здешнего аула.

Тут вошел в саклю черкес пожилых лет, рослый, стройный, красивый; одет он был в желтую черкеску, убранную серебряным галуном; на груди прекрасные патроны, на левом боку кинжал с дорогой рукояткой, сзади пистолет. Он сел возле меня, бросил на меня свой орлиный взор и сказал:

— Аман, салдат (здравствуй, солдат).

Я ответил: «аман», и потом спросил Мустафу — кто это?

— Чеченец, — отвечал Мустафа, — этого и окрестных аулов начальник. Тысячным прозывается. В случае какого приказа от Шамиля к тревоге, он выгоняет из аулов вооруженных людей и представляет куда следует.

После этого Мустафа разговаривал с тысячным минут 10 по-чеченски. Потом тысячный через Мустафу спросил меня — сколько у русского царя войска. Я отвечал, что два миллиона. Мои собеседники очень этому удивились; тысячный полагал, что в России только и войска, которое дерется с ними в горах. Тысячный сказал еще, что у них есть свой порох, делают его тавлинцы: он не так силен, как русский. При этом тысячный высыпал из одного патрона порох и показал мне. Порох похож на наш пушечный, только помельче. Русский порох черкесы доставали от мирных черкесов по 2 абаза (40 коп.) за фунт. По словам тысячного, у Шамиля пушки лили беглые поляки.

К вечеру черкесы ушли из сакли, в том числе и тысячный. Остались только 4 молодых черкеса и один старик да Мустафа, который сказал:

— Тебе скучно; я принесу карты и будем играть.

Он ушел, а один из черкесов принес ножные железы и сковал мне ноги. Скоро Мустафа возвратился с новенькими картами. Мы сели у камина, в котором ярко горел огонь. К нам присоединились два черкеса, и мы стали играть в дураки. Черкесы играли плохо, но я нарочно оставался дураком; они были очень довольны и смеялись надо мной, говоря, «салдат теньтяк»

(солдат дурак). Часа через два хозяин принес мне чурек; я бросил карты и начал его есть с водою, которая была в чугунном кувшине. Эта вода служит черкесам для умывания рук и лица, когда они идут в мечеть на молитву. Поевши, я начал опять играть в карты, и играли до позднего вечера. Потом Мустафа сказал мне: «хочу спать» и стал собираться уходить. Я просил его притти ко мне завтра и, буде услыхал бы в ауле какую новость, то поделился бы ею со мной: ведь так приятно было слышать хоть что-нибудь. Когда Мустафа ушел, молодые черкесы легли спать, а старик предварительно осмотрел на мне железы, привалил к двери стоящую посреди сакли наковальню и потом уже расположился спать. Я лег у самого окна под своей шинелью, но долго не мог заснуть от разных невеселых дум.

12 февраля

Проснулся я рано. Товарищи мои еще спали крепким сном. Я прозяб и стал разводить огонь в камине. Когда рассветало, загалдел в ауле народ, замычали коровы, заблеяли бараны, закричали петухи, кудахтали куры, ревели буйволы, в лесу кричали филины. Товарищи мои встали и выходили из сакли. Я тоже вышел подышать свежим утренним воздухом. Небо было пасмурно, с гор расстилался по аулу густой туман; на высоких чанаровых деревьях висел серебристый иней; вдали шумела по камням река Яман-су.

Я возвратился в саклю и сел у огня. Через несколько времени пришел ко мне хозяин с каким-то одеянием и пантоминно объяснил, чтобы

я переменил свой костюм; при этом он отпер мои кандалы. Я надел рубашку столь грязную, как у трубочистов, овчинную дырявую шубу, на ноги — худые «чевяки», а на голову — рваную шапку. В этом параде я, вероятно, похож был на пугало, что ставят в деревнях на огородах.

Хозяин запер у меня кандалы, взял с собой мою одежду и вышел из сакли. Спустя немного жена хозяина принесла мне кашицы с салом и несколько более обыкновенного чурек. Лишь только окончил я свою трапезу, как пришел Мустафа; он сказал, что был у тысячного, который ему передал, будто меня скоро поведут к Шамилю; только мой хозяин уговорил его повременить, обещаясь дать ему за это подарок. Тут мне пришло на мысль: не хлопочет ли Осип Фавишевич о моем выкупе. Кроме меня и Мустафы в сакле никого не было. Я его спросил, нельзя ли мне как-нибудь бежать отсюда?

Мустафа отвечал, что он душевно рад бы мне помочь в этом деле; но одному ему тут ничего не поделать, а кому-нибудь сказать об этом он страшится. Впрочем, завтра ночью он отправится в Андреевский аул к своему семейству и может быть что-нибудь разведает там относительно моего освобождения.

Тут пришли мои товарищи и некоторые другие черкесы. Мы стали опять играть в карты, и, как вчера, я умышленно оставался дураком, чем доставлял видимое удовольствие черкесам.

Вечером мы остались с Мустафой одни. Четверо моих молодых товарищей не показывались. Мустафа сказал, что они уехали на воровство.

— А куда? — полюбопытствовал я.

— Они и сами не знают, когда выезжают из своего аула, — отвечал Мустафа. — Обыкновенно ездят и бродят, как голодные волки, по разным дорогам и близ мирных аулов. Если кто встретится — ограбят; попадется скот — угонят. Они неустрашимы. Этим только и живут. Да вот еще: кого в плен возьмут — если не убивают, продают.

При этом Мустафа грустно взглянул на меня, а мне было грустнее его.

Он простился со мной. Хозяйка принесла мне кашицы и чурек. Потом пришел старик, осмотрел на мне кандалы, не забыл привалить к скрипучей двери наковальню и расположился спать. В камине горел огонь. С тревожными мыслями заснул и я.

13 февраля

Проснулся рано. Старик встал, посмотрел мои кандалы, взял топор и ушел из сакли. Я остался один и с горечью вспомнил этот незабвенный в моей жизни день: в этот день скончался дражайший мой родитель.

Слезы ручьями полились из глаз моих... Явился хозяин, поздоровался со мной и ушел. Хозяйка принесла кашицы и чурек. Спустя немного забежал ко мне Мустафа, — сказал, что ему сегодня некогда и завтра, по возвращении из Андреевского аула, у меня будет. Я вышел из сакли и тяжелыми стопами направился в гору. Хозяин прошел мимо меня, но не сказал ни слова.

Сел я на приталинке, как жаворонок, возле

огромного чанарового дерева и стал рассматривать окрестность.

Солнце ясно выкатывалось из-за гор и своими лучами пригревало землю. С гор журчала вода; река Яман-су шумела. С деревьев осыпался иней. В лесу черкесы рубили столетние чанары, которые с треском валились на землю, и их возили на буйволах в аул. Жаворонки пели, филины кричали каким-то странным голосом. Черкешенки гнали на водопой скот; некоторые носили из протока воду на плечах в кувшинах. Ко мне подходили ребятишки; у них были кинжалы и небольшие пистолеты. Они садились возле меня и смотрели очень недружелюбно. Между собой говорили по-чеченски, и я не понимал.

Но вот я остался один, стал смотреть на землю и тут заметил: что-то светится в роде звездочек. Покопал щепкой немного в земле — звездочки умножались. Мне пришло на ум, что это, должно быть, какой-то горный металл, и я подумал: «дай бог нашему царю скорей покорить Шамиля с его хищными народами и завоевать эту мятежную землю, в которой можно найти не мало богатства и изобилия; бог даст, настанет конец этим постоянным браням и кровопролитиям, и наш царь овладеет этою прекрасною страной». В сих размышлениях я заметил — вдали с горы к аулу спускались какие-то два человека в белых чалмах, ведя оседланных лошадей. Хозяин мой, увидя этих лошадей, пошел к ним скорыми шагами и долго о чем-то с ними разговаривал, причем все трое посматривали на меня. Когда те отправились далее, хозяин подошел ко мне и, вздохнув, спросил:

— Сенике катан бар (есть ли у тебя жена)?

— Бар катан улу нике кыз (у меня есть жена, сын и две дочери).

Хозяин опять вздохнул и пошел от меня в свою саклю. Я совершенно терялся в догадках: для чего это он спросил меня о моем семействе?

Я думал, что нет ли тут какой связи с моей запиской к Осипу Фавишевичу, у которого я просил для выкупа меня 300 руб. Мне по опыту известно, что худо делается скоро, а добро творится медленно. И Фавишевич едва ли обратит внимание на мою записку. Вот если бы он хоть догадался и написал жене моей в Выездную слободу — другое дело: жена, может быть, как-нибудь собрала бы в Арзамасе от сродников и знакомых требуемую сумму. Но это дело могло очень затянуться. Я заплакал неутешно...

Уже вечером, когда воздух начал чувствительно холодеть, я приплелся в саклю, поужинал известной кашицей с чуреком и расположился у огня. Пришел мой неизменный страж-старик с охапкой дров и, бросив их возле меня, сердито сказал: «ма, салдат, от-сал» (на, солдат, клади на огонь). «Что ж», подумал я, «от безделья и то рукоделье», и стал подкладывать дрова в огонь.

14 февраля

Рано утром пришел ко мне Мустафа и сказал, что он только что прибыл из Андреевского аула, где виделся со своей женой, которая передала ему обо мне следующее: на другой день моего плена, 9 февраля, утром, Фавишевич, будто бы, заявил полковому командиру Козловскому, что

ночью я не пришел домой из Андреевского аула, куда он, Фавишевич, послал меня по делу. Полковник полагал, что меня убили андреевские татары или передали в горы хищникам, и поэтому приказал солдатам искать меня по подозрительным в ауле саклям; но эти поиски, разумеется, оказались тщетными. На другой день найдена была по дороге в аул та записочка, которую я писал Фавишевичу о своем выкупе, и теперь, будто бы, полковник, по просьбе Фавишевича, хлопочет выкупить меня или сделать промен на хищников, содержащихся на обвахте. Но когда это будет — неизвестно.

Разумеется, я был очень рад этим вестям. После этого хозяин принес мне известный обед; я стал есть, а он разговаривал с Мустафой. По уходе хозяина Мустафа передал мне свой разговор с ним. Хозяин говорил, что вчера мимо здешнего аула проезжали два черкеса из купцов, узнали, что у него есть пленный (т. е. я) и покупали меня за 100 баранов; но хозяин на это не согласился и сказал, что он еще подождет — не будет ли лазутчика из Андреевского аула насчет выкупа меня за деньги: это для него удобнее, так как деньги всегда можно иметь при себе, а скот держать опасно, даже от набегов русских.

Потом мы целый день играли в карты. Уходя, Мустафа сказал мне, что кажется его скоро простят, и тогда он будет в состоянии меня украсть. Обрадовало меня это. Я заснул с приятными мечтаниями. Сон мне привиделся: будто мой покойный родитель, пришедши ко мне в эту саклю, сказал: «Что ты, Николай, здесь сидишь? Я тебя давно ищу. Пойдем скорее».

И, взяв меня за руку, повел из сакли. Мы вышли на ровную чистую дорогу; по обеим сторонам зеленелись большие луга с сочной высокой травой и цвели цветы. Я был очень рад... и проснулся.

15 февраля

Я начал разводить в камине огонь. Старик проснулся, быстро встал, посмотрел на мне кандалы и взглянул на дверь: она была не завалена наковальней.

Старик покачал головой и чуть слышно сказал: «алла, алла». Через несколько времени хозяйка принесла мне обычную порцию кашицы и чурек. Поевши, я пошел из сакли на прежнее место к высокому чанару, сел на камень и, смотря как бы на знакомую местность, призадумался. Ко мне подошел пожилых лет мужчина; в одной руке он держал деревянную необделанную ложку, а в другой — род топорика, которым ложку эту обделывал. Он поздоровался со мной, сел и изломанным кумыцким языком стал говорить; с трудом понимал его.

Мужчина объяснил, что он тавлинец, живет в здешнем ауле. При этом он указал рукою на одну из саклей. Потом говорил, что у него есть много всякого хорошего оружия, овец, лошадей и рогатого скота; имеет дочь. Вслед затем, совершенно неожиданно для меня, он предложил мне, чтобы я взял дочь его в замужество и остался здесь навсегда. Я ему отвечал, как умел, что у меня есть жена и дети и закон наш не позволяет жениться при живой жене. Тавлинец покачал головой, вздохнул и задумался. Потом

он стал обделывать ложку, которую я похвалил. Он ушел от меня, не сказав более ни слова.

День был ясный и теплый. Я просидел до вечера, когда стало холодать; тут я возвратился в саклю, развел в камине огонь. Пришел Мустафа и сказал, что он был в мечети. Вслед за ним хозяин принес мне молочной кашицы с сорочинским просом и два куриных яйца, промолвив, что сегодня у них «байрам» (праздник). Потом он начал разговаривать с Мустафой, который разговор этот переводил мне. Хозяин говорил, что по случаю давнишней брани с русскими у них в горах все дорого; не будь этой брани — было бы совершенно наоборот: самый хлеб ничего бы не стоил, потому что почва здесь плодороднейшая. Житье им стало трудное и потому, что надобно бояться и Шамиля и русских, которые всегда могут напасть на них врасплох и истребить до основания. Поэтому, если ему, хозяину, удастся продать меня в горы или получить выкуп с русских, то он оставит здешние места и примет русское подданство.

Мы стали играть в дурачки. Через несколько времени вошел в саклю рослый, совсем вооруженный черкес, которого хозяин и Мустафа приняли благосклонно и с почтением просили садиться. Этот черкес посмотрел на меня очень свирепо, как зверь; казалось, своими быстрыми глазами он хотел съесть меня. Такой взгляд был для меня неудивителен, потому что редкий азиат смотрел на меня с улыбкой или сожалением. Это и понятно. Все горские народы от века своего жили свободно и независимо ни от кого. Только с русскими они вели давнишнюю

беспрерывную брань. Во все это время много пролито русской крови; а из горцев, может быть, из десяти один найдется, у которого не был бы убит русскими дед, отец, сын — какой-либо родственник. Поэтому, как же иначе, как не с ненавистью должен был смотреть на меня азиат?

Пришедшего черкеса я еще не видал у себя в сакле и думал: «Не пришел ли он сюда покупать меня или вести к Шамилю?»

Сердце мое забилось. Я спросил о черкесе Мустафу, который отвечал, что это — здешнего аула житель, отважный храбрец, уважаемый всеми, даже самим Шамилем; он только сегодня приехал из гор. Я успокоился. Пришедший черкес не умел играть в карты; он только смотрел на нас. Потом вступил со мной в разговор, выражаясь по-кумыцки с изломанным русским языком.

— Сколько у вашего царя войск? — спросил меня черкес.

— Много, — ответил я. — А у вашего Шамиля сколько?

— Годных к ружью выйдет тысяч 60.

— У нашего царя в 30 раз больше.

Черкес подумал и потом сказал:

— Ваши четыре солдата не стоят нашего одного горца. У нас каждый приучен стрелять с малолетства. С малых же лет каждому внушается, что русские много убили наших и они наши враги. Потому черкес модничает убить русского и промаха не дает: дорожит пулей. Опять и то: мы хорошо знаем местность. Русский солдат всегда идет грудью: открыт для наших выстрелов, и мы стреляем — то с дерева, то из-за камня. В нас не легко попасть.

Потом, помолчав, он спросил меня:

— Когда выгоняют скот для питья из Незапной крепости на реку Акташ, и бывает ли при нем конвой?

— Поят скот, — отвечал я, — когда взойдет солнце и туман совсем рассеется; если же есть туман, то скот на Акташ не гоняют: боятся черкесов. Да вам зачем это знать?

— Мне давно хочется угнать скот из Незапной, — сказал черкес.

— Но вокруг всей крепости расположены секреты, — возразил я. — Сейчас дадут знать на обвахту; забьют тревогу и майор Кишинский в самых горах вас будет преследовать.

— Ох, уж этот Кишинский, — сказал черкес. — Много вреда он нам делает. Но когда-нибудь он попадется же нам. Тогда с живого кожу сдерем и вам пришлем чучело. Нам много еще вредит ваш толстый полковник;[1] и до него доберемся. Он прошлой весной много наших черкесов перебил.

— Да, правда, — заметил я. — Хоть меня в это время и не было, но я слышал, что 23 апреля приходил Шамиль к Незапной крепости и полковником Козловским был прогнан с большим уроном.

После этого разговора черкес ушел. Затем Мустафа рассказал мне новость, что Шамиль издал повеление по всей Чечне, чтобы его подвластные горские народы не курили табаку и не пили водки. Какой смысл в этом повелении — мне было неизвестно. Я спросил Мустафу:

[1] Это Кабардинского полка командир Козловский. — *Н. Ш.*

— А что, исполняют это повеление?

— Да, — отвечал он, — в самой точности. Даже и я не могу курить здесь явно, а курю секретно; потому — как раз наживешь себе худо.

Мустафа просидел у меня до поздней ночи и потом ушел в свою саклю. Мы остались вдвоем со стариком, который скоро заснул. А я начал думать: нельзя ли бы мне убежать как-нибудь? Вот если бы можно было чем-нибудь разбить железы или отпереть их. До Незапной не более 40 верст; дорогу я помню. Но если навстречу попадутся хищники — что тогда? Положим, я могу взять со стены кой-какое оружие, но ведь все-таки я буду на дороге...

Вдруг собачий лай разнесся по всему аулу; люди начали громко кричать. Старик проснулся, выбежал из сакли и через несколько времени возвратился, сказав мне: «кас-кыр-кельды» (к скоту пришли волки). Шум в ауле продолжался не более получаса, и затем все смолкло. Старик уснул, а вместе с ним и я.

16 февраля

Утром пришел ко мне хозяин и, после приветствия «аман», рассказал мне, что ночью приходили волки и утащили много овец. Хозяйка принесла мне кашицы и чурек. Потом пришел ко мне Мустафа с известием, что поутру тысячного зачем-то потребовали к Шамилю. «Вот», подумал я, «теперь, верно, скоро и меня поведут к нему».

Между тем приехали моих прежних четверо товарищей, которые ездили на грабеж. Мустафа объяснил мне, что им на воровстве удачи не

было никакой и что дня через три они отправятся за добычей на самый Терек. Весь день играли в дурачки. Вечером хозяйка принесла мне известное кушанье, к которому я стал привыкать. Товарищи мои, верно, утрудившись в дороге, скоро легли спать, а за ними и старик.

На дворе был мороз; в сакле становилось холодно. Я прибавил в огонь дров и безмолвно грелся. Старик позабыл запереть дверь и завалить ее наковальней. Я задумал бежать. Вышел тихонько из сакли и направился к конюшне: она оказалась не запертой. Я также тихо вернулся в саклю и стал обдумывать следующее: оружие, развешанное по стенам, надобно вынести и спрятать; если черкесы мои и проснутся — не беда: у них не будет оружия. Затем возьму с собой два ружья, пистолет и кинжал; оседлаю лошадь, отведу ее из аула сажень сорок, разобью кинжалом свои железы, сяду на лошадь и ускачу. Если попадется кто из хищников — у меня все-таки три выстрела.

«Да», думал я, «надо бежать. Благослови меня, господи». И начал кандалы свои обертывать тряпкой, чтобы они не бренчали. Только что хотел достать седло и оружие, как один из черкесов заворочался, приподнял голову и, взглянув на меня, спросил:

— Не турассан (что ты сидишь)?

— Век сувук (очень холодно), — отвечал я и затрясся, как в лихорадке.

Черкес встал и вышел из сакли, а через несколько минут вернулся. Хотя он и лег спать, но все что-то ворочался. «Нет», подумал я,

«видно, не настал еще час моего побега», и начал развертывать с желез моих тряпку. После этого я лег у самого огня; но от сильного волнения и мыслей о дорогих родных не мог заснуть до самого рассвета.

17 февраля

День начался обычным движением в ауле. Рано пришел ко мне Мустафа и, вынув из кармана трубку и табак, сказал:

— Хоть Шамиль и запретил курить в горах табак, но только своим подданным; а вы не подданные — пленные: сегодня здесь, а завтра у русских.

— Твоими бы устами мед пить, — промолвил я.

Потом пришел хозяин с четырьмя моими прежними товарищами. Он спросил меня:

— Аман-ма, салдат (здоров ли солдат)?

— Бак-аман (очень здоров), — отвечал я.

Хозяин улыбнулся.

Спустя немного хозяйка принесла мне обычное кушанье. Потом играли в карты. Около полудня я вышел из сакли и, сев на толстое сухое дерево, предался своим печальным думам... Тут пришел ко мне хозяин и сказал:

— Юр мень курсетеим ат-каисы урланда Андрев аул у солдат (пойдем я покажу тебе лошадей, которых украли в Андреевском ауле у солдат).

Действительно, я увидел великолепных четырех лошадей, принадлежавших батальону Замойского полка, расположенного в Андреевском ауле.

*

Вечером опять сели за карты. Правда, это — пустое занятие, но в моем положении — и за то спасибо: без этого развлечения обуяла бы меня скука смертная и дума горькая. К полуночи игра кончилась, и я, завернувшись в свою дырявую шубу, положив под голову кулак, уснул.

Мне привиделся сон, будто меня привели к Шамилю, который уже был не молод, с подкрашенной бородой, худощавый, в пестрой чалме, в белом шелковом бешмете, подпоясанный наборным серебром, с убранным драгоценными камнями кинжалом: он сидел на прекрасном персидском ковре, поджав под себя ноги. Я ему поклонился и он также, сказав: «аман москов». Я сказал: «аман», и проснулся.

«Да», подумал я, «может быть, сон мой осуществится сегодня же. И что со мною будет?» Я слышал, что Шамиль круто обходится с нашими офицерами, попавшими к нему в плен. А уж мне и думать нечего о какой-нибудь милости или снисхождении. Впрочем и то: ведь я не сделал никакого зла повелителю горских народов, так за что же он меня будет тиранить? Но — чему быть, того не миновать.

18 февраля

Утром, по обыкновению, пришел ко мне хозяин и, после обычного приветствия, сказал:

— Монда турассан сигас кун (ты здесь сидишь осьмой день).

После этого ушел.

«Верно», подумал я, «хозяин высчитывает цену меня».

Явился Мустафа и передал мне, что если не завтра, то послезавтра тысячный поведет меня к Шамилю.

Я ничего не сказал, а только вспомнил прошедший сон. Хозяйка принесла мне больше обыкновенного чурек и кашицы; она как будто знала, что мне предлежит нелегкий путь к повелителю горских народов. Когда я пообедал, Мустафа, подавая мне трубку, сказал:

— Кури и накуривайся. У Шамиля курить не дозволят.

Мы вышли из сакли и сели на пригорке.

— Ты очень изменился в лице, — промолвил Мустафа.

Я согласился, что это может быть, — и снова начал говорить ему о своей тоске, по пословице: «у кого что болит, тот о том и говорит».

Потом Мустафа ушел.

Весь день и вечер провел я невыразимо скучно.

19 февраля

Когда я проснулся, в сакле было уже светло. Товарищи мои встали, надели на себя свои боевые доспехи, оседлали лошадей и уехали на грабительский промысел. Скоро пришел ко мне Мустафа, а за ним хозяин, который сказал мне через Мустафу, что его тревожит тысячный относительно того, чтобы меня вести к Шамилю, и затем с огорчением оставил саклю. Думать надобно, что это огорчение происходило от того, что Фавишевич не присылал лазутчика с выкупом за меня, а при отправке меня к Шамилю хозяин мог и ничего не получить; значит —

труды его и какое ни на есть содержание мое пропали для него даром. Мустафа угостил меня трубкой, обещался притти ко мне завтра пораньше проводить меня, как поведут к Шамилю, и обо всем поговорить.

Он удалился.

Скушав чурек и кашицу, я вышел из сакли и, поднявшись в гору, сел на камне. Знакомые картины... Я стал смотреть в ту сторону, куда меня поведут: там синели высокие горы, на вершинах которых белелся снег и клубился густой туман, а там — облака неслись по направлению полуденного ветра к северу. Выглянуло солнце, но прискорбное сердце мое не находило отрады...

Ко мне подошел как будто черкес, невысокого роста; при нем был один кинжал. Подошел ко мне и чисто по-русски сказал: «Здравствуй, брат». Это меня удивило, и я полюбопытствовал узнать: кто он?

— Я, — сказал он, — Кабардинского полка солдат, татарин. Из полка бежал уж года три. Живу здесь в ауле. Вон моя сакля. (При этом он протянул правую руку к краю аула.) Я видел, когда тебя вели два брата — кумыки. Говорят, из Андреева аула. У меня знатная собака, первая в здешнем ауле.

— Видел, брат, твою собаку, как вели меня в этот аул. Собака злая. Если бы ее в Россию для гуртовщиков, то не пожалели бы и ста рублей, потому — не подпустит к скоту хищного волка. А какой ты губернии и уезда?

— Оренбургской, — отвечал он, — Каргалинской слободы житель.

— Я, любезный, очень хорошо знаю Оренбург и слободу Каргалу. Там у меня есть знакомые купцы и татары. Я покупал у них баранов. Да и на меновом дворе в 1828 г. приказчик мой имел там лавку и обменивал баранов на красный товар у киргизов.

Солдат спросил:

— А как звали приказчика?

— Иван Семис, —[1] ответил я.

— Я служил у него 4 месяца в том году, — начал татарин. — Водил киргизов в его лавку, именно менять баранов на товар. За это получал от него хорошее жалованье. Но вас в лавке не видал. К вашему приказчику я поступил в августе месяце.

— В это время меня уж не было в Оренбурге. Уехал. Но вот что, любезный друг; какой странный случай видеть в горах, у хищников, своего работника. Как ты сюда попал?

— В солдаты я пошел за братьев, потому — у них дети. Назначили в этот самый Кабардинский полк. Пригнали на Кавказ. Но как я привык дышать свободой, то не хотел служить, ушел сюда и живу ладно: разве только при большой тревоге потребуют к Шамилю. Да и то отлыниваю. Что я за дурак такой, — в своих стрелять? Это противно и грешно. Живу себе здесь, коплю копейку, завелся саклей, хочу жениться. Может быть, здесь и умру.

Тут он попросил меня рассказать ему мою историю жизни. Разумеется, я с удовольствием

[1] Фамилия киргизская; по-русски значит — жирный. — *Н. Ш.*

исполнил эту просьбу, и свою печальную повесть заключил так:

— Ты видишь — я теперь пленный человек у хищников. У меня осталось милое, дорогое семейство. Мне его душевно жаль. А как ты ел мой хлеб и слышал обо мне, кто я был таков — то, добрый работник мой, помоги мне в моем несчастьи: помоги мне отсюда бежать. Я могу, там, дать тебе 200 рублей.

При этом я взял его за руки и сам горько заплакал.

— Я слышал, почтенный мой хозяин, — сказал татарин, — что завтра вас поведут к Шамилю. Вырваться оттуда трудно. Я бы помог вам, только (тут он задумался)... Знайте: из этого проклятого аула черкесы часто ездят на воровство или к родным и знакомым в Андреевский аул. Ведь попадешься — смерти не минуешь. А дорога не близкая. Положим, до Незапной добежать можно. Все-таки...

Тут татарин опять задумался и потом сказал:

— Мне жалко вас, хозяин, и хочется сделать вам добро. А денег ваших мне не надо, да и трудно получить их, опасно... Когда бы вышли из плена, то, по крайней мере, сказали бы, что татарин освободил вас только из одного сердоболия.

Мой собеседник снова умолк. Затем он, оглянувшись кругом, начал говорить мне следующее:

— Да, так: я хочу только помочь вам. И вот что я сделаю: железы на ваших ногах отопру, провожу два караула, дорогу расскажу, а сам вернусь поспешно в свою саклю. Бегите до Не-

запной как знаете. Если же на дороге вы попадетесь хищникам и будете живыми возвращены в этот аул или в другие немирные аулы, то никак не открывайте, кто вам отпер железы и выпроводил отсюда. В дороге не медлите.

В порыве радости я произнес:

— Ты — второй отец мой, покровитель и избавитель в гонениях моих и всего рода моего вовеки.

Татарин говорил мне:

— Теперь ступайте в свою саклю: нас могут заметить. Я буду у вас перед вечером, когда ваши хозяева будут в мечети, и принесу вам — чем можно отпереть на ваших ногах железы. Дайте, *взгляну*.

Он посмотрел на ногах моих железы и, сказав «хорошо», молвил:

— Ужо, как выйдете из сакли, идите вон по той тропинке (он указал рукой) и ждите меня. Я свистну.

У меня был точно чад в голове. Неужели это правда? Ведь правда так несбыточна!.. Я утер кулаком катившиеся по моему лицу слезы и пришел в свою саклю. Растопил камин и стал смотреть на свои железы. Будет ли мне обещанный ключ отпереть их? Жду — не дождусь своего благодетеля-татарина. Но вот он торопливо вошел в саклю и сказал:

— Давай отпирать ваши железы: скоро из мечети придут хозяева.

Он вынул из кармана какие-то четыре железки, из коих одной было очень ловко отпереть замок на моих кандалах. Эту железку я взял.

— Иди тихо, — сказал татарин, — как бы собаки не услыхали.

И поспешно ушел.

Хозяйка принесла мне чурек и кашицу. Я подумал: «может быть, в последний раз угощаюсь этим кушаньем». Покушавши, осмотрел свои чевяки: они были худые. Ни чулок, ни портянок нет. Я разодрал неприглядную хозяйскую рубашку, в торопливости, дрожащими руками, обмотал свои ноги и надел худые чевяки. — Пришел мой страж-старик, сел возле огня и стал со мною греться. Потом он осмотрел на мне кандалы, завалил дверь наковальнею и лег спать.

«Господи!» подумал я, «может быть, этот старичок в последний вечер исполняет свой дозор: осматривает на мне железы и запирает дверь. Когда я уйду, он, вероятно, получит за меня жестокие побои».

Мне стало его жаль (а себя — не скрою — больше). Я лег возле старика и притворился спящим. Через несколько времени, будто во сне, я толкнул старика ногой, но он лежал как убитый. Тут я встал, перекрестился, отпер замок на кандалах железкой, которую мне дал татарин, взял небольшую палку и тихо, осторожно вышел из сакли.

Собаки не почуяли меня. Выбрался я из аула и по указанной тропинке пошел на гору. Тут остановился близ толстого чанарового дерева и стал прислушиваться. Прошло минут 10. Слышу — кто-то идет ко мне по тропинке и, остановившись на минуту, тихонько свистнул. Это был мой благодетель-татарин, вооруженный по-черкесски,

Мы пошли скорыми шагами. Я не чувствовал под собою ног — как перо на воздухе поднимался.

Перешли вброд Яман-су и поднялись на гору в лес. Тут добрый сопутник мой сказал, что один караул надобно обойти лишнего версты на три, чтобы не попасться с этого караула возвращающимся в свои аулы хищникам.

— Ради бога, веди, где знаешь, — сказал я. — Я теперь пройду не только что три лишние версты, а и двадцать.

Мы пошли далее в лес, без дороги, снегом, который под нашими ногами проваливался. Мои худые чевяки были полны снегом, но мои разгоряченные ноги того не чувствовали. Вышли из большого леса в маленький, на узенькую, чуть видную тропинку. Потом спутник приказал мне сесть в стороне под куст, а сам пошел по тропинке к караулу разведать: спят ли часовые. Минут через 5 благодетель мой пришел ко мне с поспешностию, говоря, что все караульные спят.

Мы пошли тихо, с осторожностью. Вот и те ворота, через которые вели меня аульские хозяева в плен. Я взглянул на караулку, в которой горел небольшой огонь; сердце мое забилось.

Пролезли в ворота очень осторожно; от них дорога пошла под гору, к речке Эрак-су. Отошли немного; добрый провожатый мой остановился и сказал:

— Я, хозяин, больше провожать тебя не могу. Вот тебе дорога. Вправо не сворачивай — попадешь в немирный аул Аухи. Если влево попадешь, когда перейдешь Эрак-су, ты выйдешь

в мирный Акташ аул, или на большую дорогу, которая идет с линии Акташ аула, и тебе будет все равно бежать до Незапной ли крепости, или до Акташ аула. Если же не собьешься с правой дороги, то прибежишь в Незапную прямо. Будь осторожен, прислушивайся. Чуть что заслышишь впереди — бросайся в сторону. В случае поймают тебя хищники — не сопротивляйся, становись на колени и проси прощения: они это любят. Не теряй времени: оно для тебя дорого. Прощай.

Он крепко пожал мою руку и примолвил:

— Если благополучно доберешься до Незапной, вспомни, что я сделал это для тебя из сердоболия. Прощай.

Я поклонился ему в ноги и поцеловал его.

Как стрела пустился я под гору. Добежал до Эрак-су, перебрел ее по колена и побежал далее, опять под гору.

По обеим сторонам был лес и небольшие каменные утесы. Мне мерещилось, как будто за мной бегут. Остановлюсь на минуту, прислушаюсь, — и снова бегу. Дорога стала суживаться. Вот татарское кладбище; скорее — мимо их.

Ноги мои начали путаться в наполненных снегом чевяках. Пот с меня лил градом; страшную жажду утолял снегом, который хватал пригоршнями. Так пробежал я, примерно, верст 20 и сел в изнеможении на снег. Как от лошади, после долгой езды в морозную зиму, шел от меня пар.

Я заслышал: кто-то по тропинке идет. На голове мокрые волосы встали у меня дыбом.

«Ну, теперь не миновать мне своей погибели», мелькнуло у меня в уме. Я начал всма-

триваться вперед, откуда явственно слышался какой-то шорох, и увидел огромную дикую свинью.

Как быть? Когда свинья приблизилась ко мне сажени на две, я крикнул, что было мочи. Свинья шарахнулась с тропинки в сторону и, сделав несколько прыжков, в снегу завязла.

Потом полезла далее.

Я тихо пошел по тропинке, не спуская глаз с дикого животного. Отойдя сажень 10, пустился бежать, что называется, во все лопатки. Долго ли бежал, не помню. Тут и черкесов забыл. Остановился, посмотрел назад, не бежит ли за мной свинья. Нет, — и рысью побежал далее. Взмокшая на мне шубенка стала тяжела; впору бы ее и сбросить.

А снег беспрестанно бросал себе в рот, как воду на каменку. От свиньи отбежал приблизительно верст 10. Мои портянки и чевяки размочалились.

Я пошел шагом. Начала заниматься заря. Дорога виднелась впереди шире и шире, и мне было очень способно бежать. Вот и лес стал реже. Потом — дорога санная, мне попутная: верно в Незапное. Тут я, немного отдышавшись, тихо проговорил: «Господи, вынеси раба твоего грешного. Не попусти врагам или зверям растерзать мое нечистое тело на чужбине. И приведи мне быть у твоего св. гроба в Иерусалиме, чтобы пролить чистосердечные мои слезы за столь щедрые и богатые твои милости».

Светало. Мне подумалось, что откуда-нибудь издали хищники могут меня завидеть и мне будет невозможно укрыться от них. Я бежал сколько оставалось сил моих.

Слезы лились от встречного ветра; но мне было не до них... Вот вдали, по правую сторону, я увидел башню Незапной крепости, а там — и Андреевский аул.

Скоро лес совершенно кончился.

Я выбежал на большую дорогу, которая шла с линии от Терека. Вон, часовой на крепостной стене. Я прибежал к форштатским воротам и упал замертво...

Фавишевич ужаснулся, увидев меня в таком поистине плачевном виде, и был очень рад моему возвращению. Он попрежнему взял меня к себе на службу. Хоть искажена была моя голова, но в ней, благодаря богу, ум не повредился.

Прошло близ месяца, и я начал хлопотать по делу о моем плене. Пришел к полковому командиру Козловскому, рассказал ему все дело и просил выдать мне свидетельство о том, что в плену у хищников я действительно был. Командир сделал мне строгий выговор за то, что я иногда поздно ходил в Андреевский аул, однако приказал отобрать от меня в полковой канцелярии подробные объяснения, выдать мне надлежащее свидетельство и отнестись к начальнику левого фланга генералу Гасверту.

После того Фавишевич дал мне поручение ехать на линию до Ставрополя для разузнания цен на скот.

Это поручение мне теперь было как нельзя более кстати.

21 марта я отправился верхом, при «оказии»,

до Терека, а потом один, по большой дороге, на старое свое пепелище — Пятигорск.

Здесь с старинными приятелями провел первые три дня пасхи и двинулся в Ставрополь. По приезде сюда, на Фоминой неделе в понедельник, я подал прокурору, с приложением свидетельства о плене, прошение, в коем ходатайствовал «об освобождении меня от помещичьего владения».

После того возвратился в Незапную крепость.

Помнится, в первых числах мая месяца у нас разнесся слух, что Незапную посетит главнокомандующий граф Михаил Семенович Воронцов. Он осматривал в горах все укрепления. Ехал, будто бы, из Тифлиса через Темир-Хан-Шуру и аулы: Казиюрт и Кустяки, а затем и Андреевский. В назначенный день мы все вышли за крепостные ворота встречать высокого гостя. Когда граф с многочисленным конвоем и свитою показался из Андреева аула, началась стрельба из крепостных орудий. Он, украшенный сединами, ехал на белой черкесской лошади. С лица его не сходила приветливая улыбка. Подъехав к нам, граф спрашивал: нет ли кому от кого обиды или притеснения? Тогда полковник Козловский представил меня пред лицом графа. Его сиятельство очень ласково со мной говорил и расспрашивал о моем плене. В заключение он с улыбкою сказал:

— Молодец! Скоро ушел от них. Верно, тебе там не понравилось?

И с тем поехал от меня. В крепости был развод, которым граф остался доволен и благодарил Козловского.

На другой день граф оставил Незапную и через Баташ-Юрт отправился на линию в Кастыченское укрепление.

По отъезде графа войско из крепостей начало стекаться в сборный пункт — укрепление Таскичи. С своими нагруженными разною провизией арбами притащились и мы. Войска собралось тысяч до 30. Скоро прибыл граф Воронцов и выступил из Таскичей и Незапной.[1] В одном месте войско расположилось на отдых. Зной был нестерпимый, и потому всеми чувствовалась сильная жажда.

От меня потребовали для графа портеру. Я взял с дюжину бутылок и с ними явился к графу.

Он спросил: какого я полка маркитант? Козловский отвечал, что вверенного ему полка.

— Да это горский пленник, — сказал с улыбкою граф. — Сколько стоит бутылка портеру?

— Два рубля, — отвечал я.

Граф подивился, что так дорого. Я высчитал все расходы, во что обходится каждая бутылка маркитанту. Граф покачал головой и сказал:

— На тебе за 10 бутылок (20 руб.).

Я поклонился и пошел к своему обозу.

29 мая войско, под начальством графа Во-

[1] Перед этим выступлением граф отправил один батальон Кабардинского полка с несколькими сотнями донских казаков, под командою храброго полковника Домбровского, в горы, в Чечню, с тем чтобы в означенное время и на известном урочище соединиться с главным отрядом. Но в одной стычке с хищниками Домбровский был убит, а наш приказчик с рабочими едва спаслись. — *Н. Ш.*

ронцова, выступило из Незапной на Метлинскую переправу через реку Сулак.

С этим войском пошел сам Фавишевич, а я получил расчет, и 12 июня отправился в Ставрополь.

Здесь, в областном правлении, известное дело мое затянулось разными справками, переписками да проволочками. Между тем я получил от жены письмо с известием, что там, на родине, прошел слух о моем плене и новый бурмистр (Тархова уже не было на свете) писал в Незапную крепость, в полк, чтобы я выслан был по этапу на родину. Но из полка отвечали, что меня там нет, и потому все находятся в недоумении относительно моего пребывания. А я спокойно торговал в лавке знакомых купцов и ждал решения своего дела.

Наступило 16-е число октября. Поутру пришел ко мне знакомый чиновник, поздравил меня с освобождением от помещичьего ига и просил итти в областное правление за получением свидетельства. Выслушал я это и ни слова не мог вымолвить счастливому вестнику.

Бывали в жизни моей радости, но такой, как в настоящую минуту, я не испытывал никогда... Господь праведный, как много я чувствую бесконечное твое милосердие... Отселе начинается для меня новая жизнь...

Как на крыльях прилетел я в областное правление. Столоначальник вынес мне свидетельство, я расписался в исходящей книге в его получении и поклонился столоначальнику в ноги; больше мне нечем было благодарить его.

Потом этот чиновник сказал мне, что на-днях

будет дано знать по сему делу Нижегородскому губернскому правлению для объявления моему помещику и жене моей с детьми.

Я еще раз низко поклонился и вышел. Придя к знакомым, начал было читать свидетельство, но слезы радости застилали зрение, и я ничего не мог разобрать. Да, такие редкие, столь счастливые минуты не забываются во всю жизнь. Вот и теперь, я стою уже на краю гроба, а вспоминаю их с неописуемым удовольствием.

Денег у меня в это время оставалось три рубля, да незавидные серебряные часы, которые я разыграл в лоторею за 15 руб., и я задумался над тем: куда мне пуститься, где приписаться?

Тут получил я от двоюродного брата из Херсона письмо, которым он приглашал меня ехать к нему. (Он был извещен мною, что я хлопочу в Ставрополе о своей вольности.) Я так и сделал. Приписался в херсонские мещане и известил жену, чтобы она приезжала с детьми ко мне. Ее старались задержать и притеснить (как она мне рассказывала), но против закона и права ничего не могли поделать местные власти, тем более что главные мои гонители — помещик и главноуправляющий Рагузин — в это время отдали богу свои грешные души.

Жена с детьми приехала ко мне в Херсон, и мы начали жить по-новому.

1846 — 1852 гг.

Я занимался разными коммерческими оборотами. Купил себе в Херсоне небольшой домик. Главная моя забота теперь состояла в том, что

делать со старшим сыном, который хоть и хорошо учился в Арзамасском уездном училище, но взят был из второго класса? Отдать его в ремесленную работу: но у нас в роду не было ремесленников. Пристроить в лавку к какому-нибудь купцу: но тут он мог натерпеться много горя не только от пьяного и безалаберного хозяина, а и от взбалмошных приказчиков, — и притом горя бесполезного. Имей капитал я сам — другое дело. Да и то он все-таки вышел бы неучем. А потому решил: отдать сына своего в Херсонскую гимназию, что с разными затруднениями и лишениями я и исполнил.

Весь 1847 г. я почти безвыездно прожил в Херсоне. Побывал только в Таврической губернии, где намеревался купить тарпанов (диких лошадей), и в Кишиневе по делу о наследстве после покойного моего шурина Ланина; но эти поездки во всех отношениях оказались для меня тщетными.

1848 г. тоже провел в Херсоне. Упомяну только о случае, бывшем со мною на масленице. Из города Алешки я переправлялся через Днепр по столь рыхлому льду, что река вот-вот вскроется... ну, и чуть было не погиб в водах этой реки.

В начале 1849 г. вздумалось мне побывать в Ростове, с тем, не приищу ли себе какого места, или нельзя ли заняться торговлей, да кстати не получу ли с одного давнишнего должника сколько-нибудь долгу. Вздумал — и отправился через Екатеринослав. В Ростове я нечаянно встретился с одним приятелем из Пятигорска, который сказал мне, что он едет к моз-

докскому армянину выгонять из черной нефти белую. Тут и во мне явилось желание побывать на столь памятном для меня Кавказе, тем более что, по полученным мною здесь слухам, еврей Фавишевич торговал в Грозной крепости, и он мог снова принять меня к себе на службу.

Денег у меня было очень мало, и потому 1 марта я отправился на Кавказ по образу пешего хождения. Дорога, хоть и дальняя, но мне знакомая. Добрался до Ставрополя, где получил долгу 15 руб. Пошел в Моздок, куда прибыл ровно через месяц по выходе моем из Ростова. В Моздоке я узнал, что Фавишевич живет в Грозной крепости не в прежнем положении, а гораздо хуже, чуть ли не в бедности. Потому я не счел за благо итти к нему и решил возвратиться в Ростов.

Зашел в Пятигорск. 8 мая прибыл в Ростов и, здесь пожив малое время, отправился пешком же в Таганрог.

Этот город мне показался очень красивым. В нем обратил я свое внимание на дворец императора Александра Благословенного, в котором сей незабвенный монарх кончал остаток дней своих, и на прекрасный сад, где великий монарх прогуливался и отдыхал. Верстах в двух от города — дубовая роща, насаженная, по сказаниям, при Петре I. Из Таганрога пошел я в Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Бреславль. В последних числах июля я увидел Херсон. К концу года ездил по некоторым делам в Одессу и на Аккерманские соляные озера.

В 1850 г. ездил я в Кишинев все по тому же

злосчастному делу о наследстве шурина моего Ланина. Магистрат решил выдать мне 45 руб. 50 коп. — это из пяти-то тысяч рублей! Но в градской полиции и этих присужденных мне денег не оказалось. Я поехал в Одессу подать прошение генерал-губернатору. Прибыв в Херсон, нашел письмо из Бухареста от одного должника, чтобы я приехал к нему за получением денег.

В мае месяце 1851 г. я поехал, взяв с собой на всякий случай кинжал, как это со мною случалось при моих скитаниях и странствованиях (Кавказ научил).

В дороге за Кишиневом, верстах в 12, около полудня я зашел в корчму. В ней сидели два рослых, молодых молдавана, они были пьяны. Заметив у меня за поясом кинжал, они набросились на меня, крича, что я разбойник. Один из них вырвал у меня кинжал, причем обрезал себе руку. Я взывал о помощи к корчмарю, но он ничего не мог поделать против буйных своих гостей. Молдаване посадили меня к себе в повозку и повезли к Кишиневу. Проехали версты две. Я увидел каких-то людей — тоже молдаван — и стал кричать: «караул». Те прибежали к нашей повозке. Один из моих спутников показал им мой кинжал и окровавленную руку и стал говорить, что я обоих их хотел зарезать. Несмотря на мои оправдания, все молдаване кричали в один голос: «талгарь батэ, ляга» (вора бей, вяжи). И связали и били меня жестоко, а потом прежние два молодые молдавана повезли меня к Кишиневу.

Отъехав несколько, они вылезли из повозки, отошли в сторону и, что-то поговорив между со-

бой, возвратились ко мне; взяли у меня все деньги, около 30 руб., и бумаги. Потом один из них сказал мне (по-молдавански):

— Мы лишим тебя жизни.

Я пал на колени и просил о пощаде. Они вновь отошли и опять стали совещаться.

— Если пустим тебя, будешь жаловаться в Кишиневе, — сказали они, подойдя ко мне очень близко.

— Как я могу на вас жаловаться? — вскричал я. — Ведь я беглый солдат и все документы у меня фальшивые. Пустите меня, я уйду за границу, и более вас не увижу.

Тогда у одного молдавана смягчилось сердце, и он молвил своему товарищу: «ласса» (оставь). После этого они оставили меня в одном бурнусе и поехали к Кишиневу.

Мне бы и надо было остаться этим довольным. Нет, я вздумал искать правды и суда. При этом искании правды меня переводили из тюрьмы в острог, из одного места заключения в другое. Я сидел в арестантской при земском суде, в Кишиневе. Однажды призвали меня в этот суд и, возвращая мне бумаги, сказали:

— Ступай, брат, куда хочешь, потому что ты ничего не доказал.

Я пошел пешком в Херсон. Но недолго здесь пробыл и отправился в Яссы. Отсюда 18 августа прибыл в Бухарест. Знакомого должника моего, который просил меня приехать за получением денег, здесь не оказалось: он выбыл в Константинополь. Благодаря помощи и содействию знакомых скопцов, я добрался кое-как до Херсона. Старший сын мой был уже в 7-м классе.

В январе следующего (1852) года со мною приключился такой случай: однажды на базаре встретился со мной кум мой, отставной унтер-офицер, с каким-то неизвестным мне человеком. Они пригласили меня в винный погреб и стали расспрашивать меня: каким манером переезжал я границу? Потом кум отвел меня в сторону и сказал, что пришедший с ним человек просит каким-то людям написать билеты для проезда. Я смекнул, что дело не чисто, и посоветовал куму:

— Смотри, это не для тех ли людей он хлопочет, что недавно бежали от какого-то полковника, обокравши его. Разузнай хорошенько, и в случае чего немедленно дай знать полиции.

После этого я ушел домой. Кум же отправился с неизвестным человеком к тем людям, которым нужны были подложные паспорта на выезд за границу, — будто для определения их роста и снятия примет, а когда это было исполнено, то он пошел домой будто писать билеты, но вместо того оповестил полицию. Подозрительных взяли и посадили в острог. Прошло четыре дня. Тут потребовали меня с кумом в полицию и в свою очередь засадили в тот же острог. Оказалось, что неизвестные лица утверждали на допросе, будто я с кумом хотел перевезти их за границу. Кума предали суду военно-судной комиссии; он был оправдан. А я без всякого суда просидел в остроге три недели и выпущен: иди, мол, себе с богом, не поминай лихом. А как не помянуть?

Сын мой окончил гимназический курс и в августе намеревался ехать в лицей в Одессу. Я

же 29 июня отправился пешком в Москву, а может быть и в Петербург, с тем намерением — не продам ли кому-нибудь свои тяжебные дела хоть за бесценок.

Денег со мною было два рубля. Шел на Николаев до Кременчуга. Денег у меня осталось 20 коп. Но бог не без милости и солдат не без счастья.

В Кременчуге нашлись попутчики-извозчики с обозом до самой Москвы. Так как мне заплатить было нечем, чтобы сесть на воз, то я шел при обозе. В дороге один из извозчиков сильно заболел лихорадкой, почему он не мог своих 4 лошадей впрягать и выпрягать, поить их и мазать колеса и проч. По просьбе больного извозчика, я эту работу исполнял (мне не привыкать стать), за что он позволил мне сидеть на одном возу, поил и кормил меня.

В конце июля добрались до Москвы белокаменной.

Здесь старые приятели одарили меня кой-какими деньжонками, и я за три рубля, на тяжелой машине, через 48 часов прибыл в Петербург. Свои тяжебные дела продать мне тут не удалось. Через несколько дней вернулся в Москву; но и здесь я ничего не мог поделать с своими тяжебными делами. Поэтому скоро отправился в Нижний-Новгород для свидания со своей замужней дочерью, которую я давно не видал; да к тому же было и время ярмарки. Прибыл в Вязники, денег у меня осталось 25 коп. Но тут неожиданно нашел на постоялом дворе серебряную монету в 3 руб. Порадовался. В конце августа добрался до Нижнего. Свидание

с дочерью было для меня трогательное: ведь я не видел ее 9 лет!

Прожив здесь неделю, добрался до родины — Выездной слободы. Поклонился праху родительскому, повидался с родными и знакомыми. Скоро я узнал, что бурмистр разыскивает меня через полицию. Зачем так? «Но ведь за деньги все можно сделать», подумал я и сказал себе: «удались от зла и сотворишь благо». Потому я вернулся к дочери в Нижний, а через три дня опять отправился в Москву.

Здесь получил из Одессы от сына письмо, с известием, что он не выдержал экзамена для поступления в лицей. Это, конечно, было для меня грустно, но подумал и то: выдержит в следующем году; а между тем спознается с нуждой — это лучшая наука.

В Москве я столкнулся с одним знакомым, который пригласил меня быть участником в торговле; только в руках у него денег не было; за ними следовало съездить в Петербург. Отправились. Но здесь денег мой товарищ не получил. Проживать мне в северной столице было не на что да и не из чего.

Я вернулся в Белокаменную. Это было в октябре месяце. Наступили морозы. Пришлось издержать последние деньги на ватную шинель, которую я купил на толкучем рынке за 5 руб. 50 коп. Собрал кое-как от знакомых доброхотных дателей 14 руб. и договорился с извозчиком до Харькова за 10 руб.

Вместе со мною должны были ехать еще трое: офицер, проезжавший из Швеции в Полтаву на службу, старуха-богомолка и девица-немка,

ни слова не говорившая по-русски, до Харькова же.

12 октября, в просторной, обшитой рогожами колымаге мы двинулись в путь. Погода подула холодная, с большим снегом; а на нас, пассажирах, шубного и лоскута не видно. В Серпухове извозчик посадил еще одного пассажира — какого-то булочника, тоже не хитро одетого. Мороз стоял градусов в 20; снег на дороге был глубокий. Ехали ужасно медленно, а зябли очень быстро. В Орле отогрелись. Из Курска двинулись вечером. Отъехали верст 10 — стемнело.

Поднялся снежный бурун. Ветер жестоко продувал нас в колымаге; рогожи и легкие одеяния защищали плохо. Но вот колымага остановилась: извозчик сбился с дороги.

Тут нам пришлось изведать знаменитый наполеоновский марш из Москвы 1812 г. Долго разыскивали дорогу, а когда нашли и добрались до постоялого двора в деревне, то насилу отогрелись.

25 октября приехали в Харьков. Денег у меня не осталось ни гроша. Я пошел на толкучий рынок и продал свой суконный сюртук за 5 руб. Отправился в Полтаву, а отсюда в Херсон, куда прибыл в конце ноября месяца.

Жена с двоими детьми жила незавидно; она порядочно задолжала. Я продал свой дом, расплатился с долгами, жену поместил у двоюродного брата, а сам 15 декабря выехал в Одессу к сыну, который был учителем в частном пансионе за 50 руб. в год. Переправляясь через Буг на шаланде, чуть не утонул. У сына пробыл

недолго. Здесь, в Одессе, прошел слух, что скоро должна быть у нас с Турцией война. Этот слух я на всякий случай принял к сведению и в конце декабря пошел в Кишинев.

1853 — 1856 гг.

В Кишиневе я встретил большое движение, — говор и суету на улицах: ждали и приготовлялись к войне.

16 марта, с одним рублем в кармане, я отправился пешком в Черновиц для того: не получу ли от поверенного моего Ламиковского за розовое масло деньги, в которых мне предстояла теперь настоятельная надобность. Через города Оргеев и Бельцы я прошел в пограничное местечко Новоселицу. Здесь отыскал одного комиссионера, по обыкновению еврея, к которому у меня было рекомендательное письмо из Кишинева. Еврей прочитал письмо, посмотрел мой паспорт и сказал, что он может препроводить меня за границу, только я должен заплатить ему за это 10 руб.

— Хорошо, — согласился я. — Но у меня теперь нет денег. Как возвращусь из Черновца — заплачу. Вот извольте посмотреть мои бумаги, зачем я иду в Черновиц.

Еврей не хуже меня читал по-русски, но понимал, разумеется, по-жидовски.

Он просмотрел бумаги и согласился исхлопотать мне пропуск за границу.

В таможне меня держали недолго, и я пошел в местечко Буяны. Переправившись на легкой лодочке через реку Прут за 3 крейцера, я стал подниматься в Черновиц.

День был прекрасный. Мне повстречался молодой человек, повидимому студент, который прогуливался по зеленому лугу. Как умел, я начал спрашивать его о моем поверенном Ламиковском — по-польски, по-немецки, наконец, по-молдавански. Молодой человек на последнем наречии отвечал мне, что поверенный мой здесь, в Черновце, живет в собственном доме, и показал мне с горы его дом. Но дома я Ламиковского не застал; встретился с ним по улице. Он совсем не узнал меня. И то сказать: ведь не видались около 20 лет. Потом он сказал:

— Я бы рад просить вас к себе в дом; но у меня большое семейство. Остановитесь в трактире под названием «Золотая грушка», я скоро приду к вам.

Пошел я в указанный трактир, нанял номер за 20 коп. в сутки и спросил себе чаю да порцию супу. «Мне можно теперь и пороскошествовать, — подумал я. — Скоро разбогатею».

Через несколько времени пришел Ламиковский. Побеседовали о прошедшем. Когда коснулись предмета настоящего нашего свидания, то поверенный мой рассказал, что из таможни он розовое масло мое получил, но далеко не сполна, и продал дешево, а деньги давным-давно прожил; теперь он находится в отставке с небольшой пенсией, на которую должен содержать многочисленное семейство, и в настоящее время никаких денег не имеет.

«Вот тебе и богатство!» — подумал я; но все-таки объяснил ему свои крайние недостатки в средствах к жизни и прибавил, что я пришел к нему из Одессы пешком, чуть ли не христовым

именем, и теперь у меня нет ни гроша. После этого Ламиковский вздохнул, сказал, что он у кого-нибудь займет денег хоть на дорогу мне, и, обещавшись притти на другой день, удалился.

Я вышел на базар. Побеседовал с гостеприимными скопцами и встретился с одним знакомым австрийским помещиком. От этих лиц я узнал, что Ламиковский действительно находится ныне в бедственном положении. Как тут быть?

На следующее утро пришел Ламиковский и, отдавая мне 14 руб., примолвил, что больше дать не может. Как ни прискорбно мне это было, но — делать нечего. После этого он удалился прописать мой паспорт для выезда в Россию, а я рассчитался с хозяином гостиницы, отдав за все 1 руб. 20 коп. Потом я пошел к Ламиковскому в его дом, куда через несколько времени явился и сам хозяин с моим прописанным паспортом. Когда Ламиковский рассказал домашним наше дело и что я не имею к нему никаких более претензий, то все семейство очень радовалось и благодарило меня. После скромного угощения, мы расстались. «Где мое не пропадало», подумал я. «А тут, видимо, на пользу. За это бог не оставит меня», и пошел к перевозу через Прут.

В Новоселице отыскал известного комиссионера-еврея и объяснил свои обстоятельства. Еврей взял с меня вместо 10 руб. только половину.

В половине апреля пришел в Одессу, куда скоро прибыла и моя жена и поступила смотрительницею в пансион, где мой сын был учителем. С одного должника случайно получил небольшую сумму денег.

Проведя с родными праздник пасху, 23 мая я снова пошел в Кишинев. Дорогою попадалось множество войска, направлявшегося в Бессарабию. Придя в Кишинев, я думал поступить маркитантом в какой-нибудь полк, но без денег это трудно было устроить, да жиды уже и успели захватить почти все места.

Я призадумался. Полки наши стягивались к молдавской границе, в местечке Лёвы, на реке Пруте, в 100 верстах от Кишинева. Я сходил в это местечко, но и здесь места не нашел. Возвратился опять в Кишинев. Тут я повстречался с одним кишиневским мещанином, моим давним приятелем, который ехал в Яссы для продажи нескольких лошадей. А так как дорога в молдавскую столицу мне была хорошо знакома, то он пригласил меня сопровождать его. Я охотно согласился, и 21 июня мы с работником втроем выехали из Кишинева. Переночевав в местечке Каралаш, поднялись на отроги Карпатских гор. Надобно было верст 6 спускаться под гору, довольно круто, в большой овраг, на дне которого находился колодезь, называемый по-молдавски: «фонтан толгарь» (воровской колодезь).[1]

Я советовал затормозить колеса; но спутник мой понадеялся на лошадей. Я убедил его, по крайней мере, слезть с повозки. И недаром: на половине спуска лошади с повозкой полетели в овраг к воровскому колодцу. Хлопот нам было не мало; управились лишь к вечеру и успели

[1] По рассказам местных жителей, колодезь этот вырыт разбойниками, некогда бушевавшими в этом диком месте. Впрочем, и нынче, поздней порой, ездить небезопасно. — *Н. Ш.*

доехать до ближайшей корчмы, стоящей близ небольшой речки, вытекающей из Карпатских гор. Эта корчма носит название «Светлейший» — потому, вероятно, что невдалеке от нее, на горе, по дороге к Скулянам, проездом из Ясс, помер князь Потемкин-Таврический. На том месте и до днесь стоит памятник — высокий каменный столб, обнесенный железной решеткой. При памятнике жил солдат в небольшой будке. Переночевав в корчме «Светлейший», направили путь в Скуляны.

Здесь все было дешево: водка, вино, ром и пр. Спутники мои загуляли. Я, видя дело плохо, ушел от них в Яссы. Здесь один из знакомых мне скопцов подыскал из своих человека с деньгами, чтобы торговать при нашем войске, и просил меня быть участником в этом деле: прибыль и убытки пополам. Я, разумеется, согласился с удовольствием, — и вот я снова маркитант!

Запасшись товаром и всеми маркитантскими принадлежностями, мы с двумя работниками 5 июля выехали из Ясс вместе с войском, по дороге в Бухарест. Сюда прибыли 16 июля. Но тут оставались только три дня и выехали к Журже. Недалеко от Гальтеницы, на реке Аржисе, собралось много разного войска — пехоты, артиллерии, казаков и Нассауский уланский полк. Расположились лагерем. Я ходил являться к командиру этого последнего полка, полковнику Радину; он принял меня очень ласково и просил быть при его полку. Я согласился охотно. Стали торговать. На той стороне Дуная при Туртукае находился турецкий ла-

герь, откуда доносились до нас музыка, бой утренней и вечерней зари, а перед зарями — выстрелы из орудий по одному разу.

Неприязненных действий не происходило. Впрочем, в этом месте мы и оставались недолго; да к тому же был слух, что войны вовсе не будет. В августе и сентябре (1853 г.) наши войска имели постоянные передвижения. Чуть ли не все войско собралось лагерем близ селения Питешты. Здесь князь Горчаков делал смотр войскам, и затем все они разошлись по разным местам на теплые квартиры. Нассауский полк был расквартирован в 20 верстах от Бухареста. Наступил октябрь месяц. Тут товарищ мой по торговле от меня отделился; я остался полным хозяином.

В конце этого октября получен был приказ о выступлении нашему полку на сборный пункт со всем полковым обозом. На сборном пункте товар был весь распродан, и я поехал в Бухарест для покупки нового. Возвращаясь отсюда, я узнал, что Нассауский полк направился к Галтенице, где на третий день я нашел его расположенным на бивуаках. В один день у меня все было раскуплено. И немудрено: люди голодали, так как подвоза съестных припасов по нестерпимо грязной дороге (от проливных дождей) ниоткуда не было. Скоро полк ушел на зимовку в селение Кривцах; а я опять в Бухарест за товаром, и так ездил сюда довольно часто.

Торговать было можно, да только осторожно. Труда, хлопот, беспокойства и забот было очень много. Главное, приходилось продавать больше в долг, на книжки. Нельзя сказать, чтобы у

офицеров денег было мало; нет. они получали хорошее жалованье. Но как-то так случалось, что им никак недоставало этого жалованья. Лагерная или поквартирная жизнь весьма однообразна и скучна. Надо же чем-нибудь развлечься. Вот и являются на столе карты да вино. Карточная денежная игра была очень в употреблении. Красивые волошки тоже обходились не дешево. Частые поездки в Бухарест опять-таки требовали довольно русского золота. Да от скуки-то мало ли каких расходов представлялось... Ну и приходилось бедному горемыке-маркитанту отпускать товар в долг.

Но с офицерами еще можно было ладить: при получении третного жалованья редко кто из них не платил долгу. А вот юнкера — другое дело. За свою службу они получали очень мало, какие-то гроши, и потому рассчитывали на деньги из дому, от родных. Придут, бывало, в мою палатку и начнут мне рассказывать о своих отцах, об их доходах и богатствах; у одного отец был какой-то генерал, у другого — богатый помещик, у третьего — купец именитый и т. д. А сами все пьют и едят без денег. Подожди. Но вот наступило время расплаты; тут уж пошли другие разговоры: то из дому не прислали, то пропали на почте, то хранятся в полковом ящике, то вчера в карты проиграл, то выиграл, да не получил, и так без конца. А не дал в долг — и не только ничего не получишь, но ожидай себе еще какого-нибудь посрамления. А то войдет в палатку партия солдат; один кричит — давай, другой — давай, а третий сзади даром взял. Случалось: у солдата брюхо болит, коли где плохо лежит.

Иной выпьет, закусит, скажет: «завтра отдам» да и пошел. Догонять его не будешь: пропадет еще больше. Вечером пожалует вахмистр; надо с ним заняться, угостить как следует (он подчас человек необходимый). А тут идет взводный, и его надобно почестить; за ним привалит обход, человек 12, скажут: «гаси огонь», и их необходимо чем-нибудь задобрить. Да всего и не пересчитаешь, сколько расходу для маркитанта. Какой же прибыток мог быть от такой торговли?

Но как бы то ни было, только я торговал при Нассауском полку до 1 марта 1854 г. Накануне этого числа получен был приказ: полку повелевалось выступить на Дунай, в Турно.

Ночью собрались, а рано утром двинулись в поход. Сделалось тепло, снег растаял, грязь увеличилась. 3 марта пришли в Журжу, а отсюда через три дня прибыли в небольшой городок Александрию. Тут полк наш разделился: два эскадрона пошли на Дунай, к городу Зимнице, а 4 эскадрона следовали в Турно. С этими последними был и я. В Турно войска собралось довольно; из наших три эскадрона остались здесь же, а один эскадрон, к которому и я примкнул, пошел за реку Голту, в местечко Излазы, расстоянием от Турно верст 12. Это селение стояло на левом берегу Дуная, по которому у нас устроены были шанцы с небольшим бастионом и двумя амбразурами; в укреплениях постоянно находились солдаты. Против самого селения был остров, с большим лесом, по берегу коего тянулись небольшие турецкие укрепления, а за островом, по ту сторону Дуная, на горе, близ молдавских селений, находился турецкий лагерь.

Через Дунай ежедневно происходила перестрелка; но от турецких пуль нам не происходило никакого вреда. Впрочем, было не без опасности. 10 марта мне вздумалось пройти по нашим шанцам. Я пригласил с собой вахмистра. Остановились на одном месте близ шанца, и перед нами открылся прелестный вид на Дунай. Мы стали любоваться. Вдруг откуда ни возьмись унтер-офицер, толкнул нас за какой-то молдаванской постройки плетневый чулан, где и сам остановился. Не прошло минуты, как мимо нас со свистом пролетела пуля, потом — другая, третья. Мы укрылись в шанце. Последовали выстрелы и с нашей стороны. Через четверть часа перестрелка прекратилась.

«Вот тут и любуйся веселым Дунаем, — раздумывал я, возвращаясь в свою палатку. — А унтер-офицер, верно, смекает свое дело. Спасибо ему».

Жители в Излазах очень боялись турок; они зарывали свое имущество в землю или вывозили его в другие деревни.

Великим постом я поехал в Турно для покупки провизии. Этот городок — новый; заведен он, как я слышал, в 1830 г. нашим генералом Киселевым, который находился тогда в Валахии главным представителем от русского правительства. Турно стоит на небольшой возвышенности, в полуверсте от Дуная, а на противоположном берегу была незначительная крепость Никополь. Рассказывали местные жители, будто в этом маленьком городке была древняя молдаванская церковь и в ней чудотворный образ св. Николая; отсюда и название городка — Никополь

Здесь, по рассказам, ходившим в Турно, находилось довольно много турецкого войска; но это было не регулярное войско, а какой-то сброд, с башибузуками во главе. В справедливости таких рассказов нам скоро пришлось убедиться воочию.

Запасшись товаром, я возвратился из Излазы, где, поторговав недолго, поехал в город Каракуль, расстоянием от Излаз около 45 верст. Тут торговля моя пошла хорошо, потому что нашего войска стояло здесь довольно и много проходило его в Калафат, что на Дунае.

На возвратном пути из Каракуля я увидел Балканские горы; после виденных мною разных гор прежде они меня мало удивляли.

11 апреля наступила пасха. После заутрени и обедни, отслуженной молдаванским священником в местном маленьком деревянном храме, я пошел по начальству христосоваться. К полудню началось в селении гулянье, а у меня в палатке — торговля. Все в этот день радовались и веселились; повидимому, и забыли о турках, что они близко. На другой день пришел к нам Подольский полк, бывший в Четати на Дунае и участвовавший в сражении при Калафате. Побыв в Излазах немного, полк отправился в Турно. На 3-й день пасхи мы увидели на турецкой стороне спускавшихся с горы к молдавской деревне несколько орудий большого калибра. Скоро раздались из этих орудий выстрелы. К счастью, ядра перелетали и наши шанцы и селение, почему и не делали нам никакого вреда. Но страху все натерпелись вдоволь. Сделав выстрелов 50, орудия двинулись по дороге к Никополю. На

4-й день был убит один артиллерист: это единственная жертва турецкой пули. В ночь на 15 апреля вся находившаяся в Излазах пехота выступила в Турно; остался только наш уланский эскадрон, а днем этого 15 числа последовало распоряжение, чтобы и этот эскадрон был наготове к походу опять-таки в Турно.

Уланы засуетились, а вместе с тем поднялась суматоха во всем селении. Жители догадывались, что дело, должно быть, не ладно, и с плачем собирались с нами итти — куда глаза глядят.

Ночь на 16 апреля мы не спали, чего-то ждали. Мой фургон был совсем готов в дорогу.

Наступило утро. Уланы начали приготовлять себе завтрак. У меня в палатке сидел вахмистр, мы пили чай. Было около 8 часов. Вдруг, по направлению к Турно, послышалась пальба из орудий. Минут через пять прискакал донской казак с приказом, чтобы эскадрон сейчас же отправился в Турно. Мой вахмистр опрометью бросился к ротмистру; уланы торопливо садились на коней и съезжались в одно место на улице. Ротмистр прибежал ко мне как угорелый, прося меня посадить к себе в фургон одну прекрасную особу. Я взял эту спутницу и поспешно выехал. Мы перебрались через реку Голту; эскадрон нас не догонял. «Что бы это значило? Верно он поскакал ближайшей дорогой», — подумал я. Между тем в Турно, на Дунае, происходила страшная пальба; лес и окрестности наполнились пороховым дымом. Моя спутница от страха не переставала плакать и просто не знала, что с собой делать. Я погонял лошадей: хотелось быть на месте битвы. Когда

фургон мой поднимался на гору к Турно, пальба прекратилась. Оставив на квартире фургон и спутницу, сам поспешил на базарную площадь. Наш эскадрон из Излаз только что пришел. На площадь шли войска с музыкой и песнями. За ними вели пленных турок, которых было 130 человек. Потом везли наших раненых и убитых, в числе всего 58 человек. У турок же, — говорили, — убитые потоплены в Дунае — более 1000 человек. После всего солдаты угощаемы были по кружке водки.

В этот же день с частью войск, а в том числе и с уланским эскадроном мы возвратились в Излазы. У всех только и рассказов и разговоров было, что про сегодняшнюю битву. Мне хотелось узнать: с чего произошла эта самая битва? И узнал, за достоверное, следующее: по распоряжению отрядного командира, генерала Липранди, в Никополь к туркам подослан был фальшивый переметчик с известием, что русские оставили Турно; турки, как любители грабить и жечь беззащитные города и селения и резать мирных жителей, обрадовались этому известию и решили напасть на Турно именно 16 апреля, о чем переметчик известил генерала Липранди.

Ночью на помянутое число пехота и артиллерия были действительно выведены из Турно и размещены в засадах, главным образом в лесу, который тянется от Турно до берега Дуная, к которому турки должны были пристать при своей переправе. Турки утром переправились и, как упомянуто, были жестоко наказаны.

В конце апреля войску, расположенному в Излазах, приказано было перейти в селение

Одай, в 5 верстах от Турно. 8 мая я отправился в полковой штаб, который стоял в городе Зимнице на Дунае, против турецкого городка Систова; отправился для получения с офицеров долгов, так как в это время им выдавалось жалованье. Надобно было уследить тот именно день, в который раздавалось жалованье, а то случалось так, что на другой день у иного ничего не оставалось. Приехал я в Зимницу вечером и узнал, что жалованье еще роздано не было по случаю завтрашнего (Николая чудотворца) полкового праздника, а будет раздаваться 10-го числа. В праздник поутру был развод за городом, а вечером бал — у полкового командира. На другой день роздали жалованье, и мне в этот раз так посчастливилось, что со всех получил свои долги.

Полагая, что Нассауский полк постоит еще в здешних местах, я 23 мая поехал в Бухарест за товаром. На возвратном пути, в городе Александрии, узнал, что полк мой из Одай вышел и расположился лагерем в селении Чуланештах (верст 60 от Александрии).

Я приехал сюда. Через неделю, именно 12 июня, Нассауского полка два дивизиона, легкая батарея и несколько донских казаков, под командою полковника Рейсиха, выступили в город Гаешты, который был верстах в 40 от австрийской границы. Я потащился с этим небольшим отрядом. Расположились лагерем. При разъездах казаки достигали иногда до границы и сказывали, что там стояло в лагерях очень много австрийского войска. Наш отряд был осторожен. 17 июля мы оставили Гаешты и шли близ

австрийской границы до города Бузеева. Здесь собралась тогда, кажется, вся русская армия в присутствии князя Горчакова. Из Бузеева двинулись на Рымник. Когда армия пришла сюда, то во всех фонтанах города не оказалось воды. Это было очень странно, и скоро разведали, что жители завалили все водопроводы. Разумеется, эти завалы были разысканы и уничтожены. Воды стало в изобилии. От Рымника, с незначительными остановками, двигались на Фокшаны, через реку Серет, потом на город Текучи и верстах в 15 от Галац, в Волконештах, переправились через реку Прут 26 августа (1854 г.).

Тут последовало разделение армии: часть ее, именно Нассауский полк расположился на квартирах около Сатунова; Бугский уланский полк, под командою генерал-майора Госферта, направлен был к югу. Я решился торговать при Бугском полку. 29 августа полк этот переправился через Дунай и двинулся к городу Исакче, а отсюда — в Бабадаг. Не доходя до последнего 15 верст, расположились лагерем в большой деревне Желави.

Я нанял двух работников и начали торговать. Мне приходилось быть больше в разъездах, по случаю покупки товаров, то в Бабадаге, то в Тульчи.

Торговля шла у меня не обидно. Однажды — это было в половине сентября — я возвращался из Тульчи с провиантом в свой лагерь. При мне был улан, данный от полка, чтобы сопровождать меня. Приближался вечер. Хотя на дороге нам и встретилась небольшая болгарская деревня, но мы не решились ночевать в ней, боясь,

как бы нас не обокрали. Солнце уже закатилось. Дорога пролегала лесом. Пошел сильный холодный дождь. Темнота — ужасная. По едва проходимой грязи я шел впереди лошадей и разыскивал дорогу. Дождь не переставал; лошади едва двигались. К довершению несчастья мы как будто сбились с дороги. Остановили лошадей и стали с уланом думать: что теперь делать? На нас могли наткнуться турки при своих ночных набегах. При всем том мы ничего не могли придумать, кроме того, что надобно в лесу ночевать. О пище нам нечего было заботиться; был и спирт, да в бочке, и достать его мы не находили способа. А надо бы, — не ради себя, но мне жаль было улана, в одной шинели, жестоко промокшего и прозябшего. Мы уже хотели выпрягать лошадей, как вдруг впереди заслышали конский топот, который прямо приближался к нам. Мы с уланом так и замерли, — думали, что это — турки. Через несколько минут в темноте раздался окрик: «Кто здесь?» Мы обрадовались, и я отвечал, что полковой маркитант. Оказалось, что это были разъездные казаки с офицером. Последний справился: нет ли у меня водки? Я сказал, что в бочке есть спирт, но достать нечем. Офицер послал казака сыскать в лесу бурьяную дудочку. Затем я узнал от него, что мы находимся близ самой дороги, в 5 верстах от лагеря, и что нам стоило бы немного подняться на гору, как показались бы лагерные огни. Скоро казак вернулся с бурьяной дудочкой, посредством которой я довольно легко натянул из бочки спирту и угостил офицера с казаками. Не забыл и моего бедного улана.

Казаки поскакали далее, а мы потащились в гору. Дождь перестал, но дул холодный ветер. Не прошло и часу, как мы были в лагере.

18 сентября получен был приказ о выступлении нашего лагеря в Бессарабию. Мы двинулись на Белгард и в 15 верстах за ним остановились в местечке Татар-Кипчак. 1 октября я ездил в Измаил для покупки товару. Здесь, по письму моему, дожидалась меня жена с 8-летним сыном. Втроем возвратились в полк. Торговля моя становилась хуже. Офицеры стали меньше против прежнего выпивать, потому что им жалованье выдавалось уже не заграничное, да и водка в России сравнительно с заграничной была дороже и притом качеством хуже.

В конце этого (1854) года я отправился с сыном в Одессу, оставив торговать жену с работником.

В Татар-Кипчак возвратился 5 января и узнал, что во время моего отсутствия один дивизион нашего полка, вместе с другими, ходил за Дунай, участвовал в битве близ Бабадага и отличился. По этому случаю я написал стихи и поднес их генералу Гасферту, за что получил благодарность.

Зима стояла необыкновенно теплая; весна наступила ранняя, так что 9 марта уже расцвели все плодовые деревья. 30 марта полк двинулся из Татар-Кипчака к Днестру и остановился в немецких колониях — Париж и Розенкрейц. Тогда в этих колониях свирепствовала холера. Но в нашем полку умерли немногие. Торговля моя пошла уже очень неудовлетворительно. Однако все ждали похода в Молдавию или в

Севастополь; этого и я ждал, почему и не оставлял торговлю при полку. Но вот прошли четыре месяца, а походу нет. Наконец в августе полк передвинулся в колонию Кульмы, 80 верст от Кишинева, а через месяц — на Днестр, в селение Аланешты, расстоянием от Одессы 70 верст.

В первых числах ноября полк выступил к Кишиневу на зимние квартиры. Дела мои совершенно стали; торговля прекратилась. Я снял в Кишиневе квартиру и ждал — не будет ли похода.

Тут наш полковой командир, добрый генерал Гасферт, назначен был начальником бригады в одну из тех частей войск, которые находились в Крыму. На прощание офицеры дали в честь любимого начальника бал. На этом бале я был и, обращаясь к Гасферту, прочел следующие моего сочинения стихи:

Настал нам час с тобой расстаться,
Добрейший Гасферт, навсегда.
Мы сошлись с тобой прощаться —
Вспомянуть твои дела.

* * *

На поле битвы, воин славный,
Ты с нами стужу, жар терпел.
В огне, в сражениях — отважный —
Ты нас, как деточек, жалел...

и т. д.

Эти стихи, повидимому, понравились всем, даже и самому Гасферту. Проводы были шумные, задушевные, искренние.

Это было 20 марта 1856 г.

Вскоре после этого разнеслась весть о мире.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие — *Н. Яковлев* 7

В. Н. Карпов. — Воспоминания 23

В. Н. Карпов. — Село Кочеток теперь и пятьдесят лет назад 322

Н. Шипов. — История моей жизни и моих странствий. Рассказ бывшего крепостного крестьянина 363

1802 — 1813 гг. 366
1814 — 1819 » 368
1820 — 1823 » 379
1824 — 1827 » 393
1828 — 1831 » 399
1831 — 1832 » 410
1832 — 1835 » 412
1835 — 1836 » 426
1837 — 1841 » 435
1842 — 1844 » 444
1845 г. 458
1846 — 1852 » 498

Редактор П. Жаткин.
Тех. ред. А. Соловейчик.

✲

Сдана в набор 21/XII 1932 г.
Подписана к печати 8/IX 1933 г. Тираж 5 300. Уполномоч. Главлита № Б-24092.
Индекс А-2. Издат. № 78.
Бумага 74 × 105 в 1/32. Печ. листов 16,5. Бумажных л. 8,25 по 100 000 т. зн. в 1 б. л.

✲

Отпечатано во 2-й типографии „Печатный Двор" треста „Полиграфкнига". Ленинград. Гатчинская, 26.

✲

Цена Р. 7.
Переплет Р. 2.

РУССКИЕ МЕМУАРЫ

А. И. ГЕРЦЕН

БЫЛОЕ И ДУМЫ
тт. I, II, III

П. А. КРОПОТКИН

ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

А. Ф. КОНИ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕЛЕ ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ

М. А. АНТОНОВИЧ и Г. З. ЕЛИСЕЕВ

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ В ВОСПОМИНАНИЯХ

М. П. ЧЕХОВ

ВОКРУГ ЧЕХОВА

A C A D E M I A

Москва. Покровский бульвар
Б. Вузовский пер., № 1

Ленинград. Проспект 25 Октября, 28
Дом книги

ACADEMIA